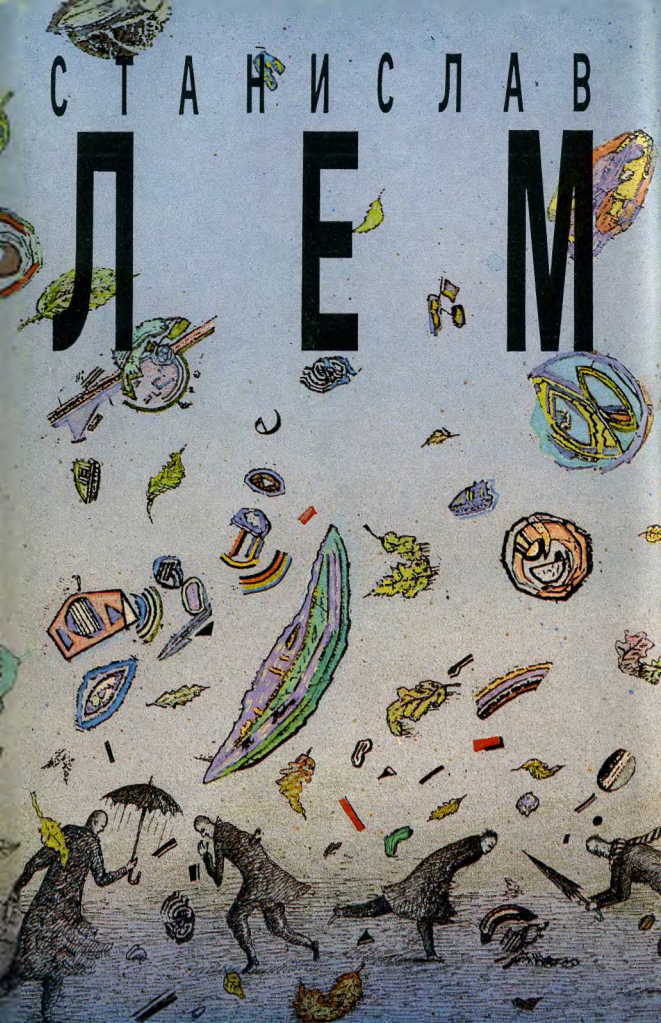


СТАНИСЛАВ ЛЕМ



S T A N I S Ł A W
L E M

DZIEŁA ZEBRANE

СТАНИСЛАВ
ЛЕМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ОДИННАДЦАТЫЙ
дополнительный



МАГЕЛЛАНОВО ОБЛАКО *роман*

МОСКВА «ТЕКСТ» 1995

84.4П
Л44

Художник Владимир Галиев

Ответственный редактор Александр Мирер

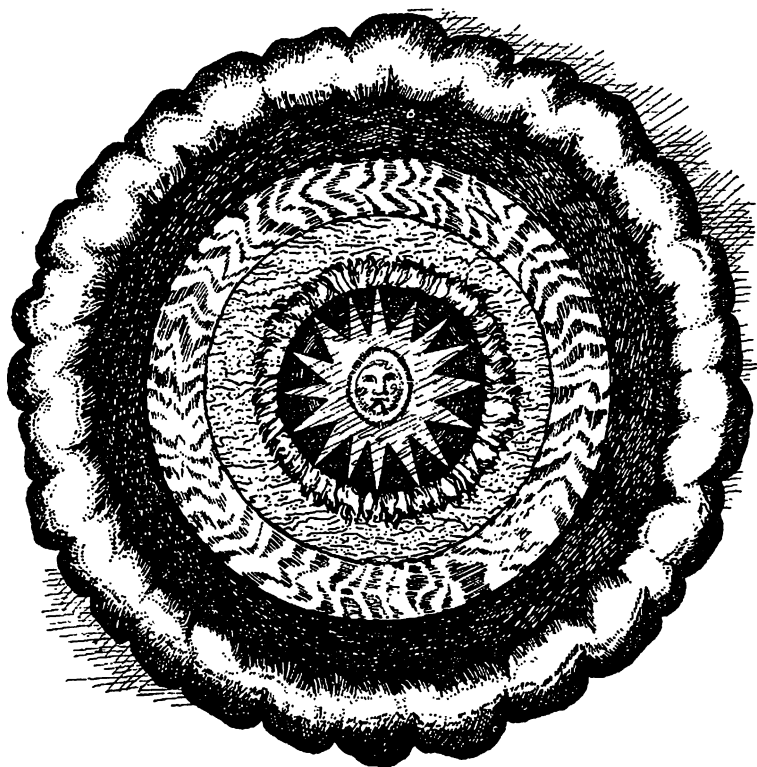
Л 4703010100-042 подп.
95

ISBN 5-7516-0039-8

© С.Лем, 1955
© «Текст», 1995

МАГЕЛЛАНОВО ОБЛАКО

роман



ВСТУПЛЕНИЕ

Я — один из тех двухсот двадцати семи человек, что покинули Землю и устремились за пределы Солнечной системы. Мы достигли намеченной цели и теперь, на десятом году путешествия, отправляемся в обратный путь.

Вскоре наш корабль достигнет половины скорости света. Однако пройдут годы, прежде чем, подобно голубой пылинке среди звезд, возникнет из мрака Земля, невидимая сейчас в самые мощные телескопы.

Мы привезем вам дневники экспедиции — огромный, еще не осмысленный и не систематизированный материал, в точности запечатленный в механической памяти нашей аппаратуры.

Мы привезем вам ценнейшие научные труды, созданные за время полета. Открываются новые, непредвиденные, безграничные перспективы дальнейших исследований в глубинах Вселенной.

Но в этом путешествии мы познали и нечто более трудное и прекрасное, чем научные открытия и тайны миров, — что неподвластно никаким теориям, чего не может зарегистрировать самая совершенная аппаратура.

Я сижу один. В полумраке, заполняющем кабину, едва различимы контуры оборудования и стоящее передо мною небольшое устройство. Внутри него мерцает крошечный, как крупинка, кристалл: на нем будет записываться мой голос. Прежде чем начать говорить, я закрыл глаза, чтобы ощутить вашу близость. В эти мгновения я вслушивался в великую

черную тишину — без конца и края. Я попытаюсь рассказать вам, как мы ее победили. Это будет история о том, как, удаляясь от Земли на световые расстояния, мы становились все ближе к ней, как боролись со страхом, который гораздо страшнее любых порождений материального мира, со страхом пустоты, в безднах которой огромное солнце превращалось в мерцающую искорку и маленькими казались любые громадины.

Я расскажу о том, как мелькавшие недели, месяцы, годы стирали в памяти самые дорогие, самые сокровенные воспоминания — бессильные перед всепоглощающей чернотой. Как в попытках найти точку опоры мы отчаянно хватались за все новые и новые дела и мысли, как рушились и уходили в небытие представления, в свете которых на Земле наша экспедиция казалась безусловно оправданной и необходимой; как в поисках ее высшего смысла мы обращались к минувшим эпохам и, лишь осознав, какой тернистый путь пройден человечеством, обрели себя, а наше время — настоящее, отделяющее бездонное прошлое от неведомого будущего, — исполнилось при этом такой мощи, что мы сумели выстоять и в победах, и в поражениях.

Чтобы вы смогли понять это хотя бы частично, хотя бы приблизительно, я должен дать вам ощутить хоть малую толику трудностей, которые тяжким бременем ложились на нас и нас терзали. Вместе со мной вам предстоит пережить множество событий и провести в черной пустоте те долгие годы, когда нам доводилось слушать внутри корабля самое страшное из всего сущего — безмолвие Вселенной, видств в небесах, то черных, то багровых, рождения и угасания солнц; годы, когда за стальными стенами раздавался вой раздираемых атмосферных покровов встречных планет — мертвых, или населенных разумными существами, или таких, на которых жизнь еще зарождается.

К кому из вас я обращаюсь с рассказом о том, что нам довелось испытать, о том, как мы жили и умирали?

Мне хотелось поведать об этом моим близким — матери, отцу, друзьям юности, — людям, с которыми меня соединяло мимолетное, но самое прочное: шум деревьев, шепот воды, общие мечты и голубое небо, по которому ветер гнал облака над нашими головами. Однако, восстанавливая в памяти их образы, я понял, что не вправе так поступать. Этих людей я люблю не меньше, чем прежде, хотя теперь мне это труднее выразить, но рассказ я адресую не только им: с течением времени, по мере того как

росло расстояние между Землей и нами, круг близких ширился и рос.

Все эти годы на разных континентах, в городах и маленьких селениях, в лабораториях на горных вершинах и искусственных спутниках Земли, в обсерваториях на Луне и в ракетах, бороздивших межпланетное пространство, миллионы людей каждую ночь устремляли взоры в сектор неба, где мерцала слабая звездочка — цель нашей экспедиции. Ведь когда мы скрылись в бездне — за гранью солнечного тяготения, с каждой секундой удаляясь от Земли на десятки миль, — ваша память продолжала сопутствовать нам. Если бы не вера миллиардов людей в наше возвращение, чем бы мы были в этой металлической скорлупе среди мрака, усеянного звездами, когда, подчиняясь законам физики, наша связь с Землей прервалась?

Поэтому круг моих друзей охватывает людей близких и далеких, забытых и неизвестных, родившихся уже после нашего отлета и тех, кого я уже не увижу никогда. Все вы мне одинаково дороги, и в эту минуту я обращаюсь ко всем вам. Наверное, необходимы были именно такие расстояния, такие страдания и все эти долгие годы, чтобы я понял, как велико то, что нас объединяет, и как ничтожно то, что нас разделяет.

В моем распоряжении немного времени. Я тороплюсь рассказать обо всем, что с нами случилось, поэтому мое повествование временами может становиться сумбурным, но стремиться я буду к одному. К тому, чтобы показать вам, как обстоятельства, с которыми мы стремились совладать, подтолкнули нас к необходимости окинуть хотя бы беглым взором путь, пройденный человеком с начала его истории.

Эта экспедиция кажется нам покорением огромной вершины, с которой становятся доступными взору все времена, однако на деле это всего лишь подъем на одну из ступеней неизмеримой возвышенности, пик которой скрывается в будущем. Пройдут сотни и тысячи лет, на фоне которых наша история сконденсируется до размеров крошечного, хотя и непрсменного этапа, и все эти события, сегодня нашей кровью оплачиваемые, станут мертвой буквой в забытых летописях. Мы станем безымянными, как далекие звездные россыпи, среди которых только огромные скопления обретают названия. По сравнению с человеческой жизнью звезды — огромные, сильные, вечные. Ведь это звезды породили человека, и звезды его убивают. Но вот человек взлетел к звездам, познал пространство и время, познал и самые звез-

ды, истоки своей жизни. Противостоять человеку не может ничто. Чем бóльшие преграды возникают на его пути, тем сильнее он становится. Даже звезды стареют и гаснут, а мы остаемся.

Когда-нибудь, спустя века, наша фантастически развившаяся цивилизация после эпохи бурного, стремительного прогресса столкнется с новыми трудностями, неизвестными, грозными для самого человеческого бытия, и тогда люди еще раз оглянутся назад и вновь нас откроют — так же, как мы открывали для себя эпоху великого прошлого.

ДОМ

Я родился в Гренландии, недалеко от Полярного круга, в той части острова, где тропический климат сменяется умеренным, а пальмовые рощи уступают место высокоствольным лиственным лесам. У нас был старый дом со множеством сверкающих стеклами окон и веранд; такие строения часто встречаются в тех местах. Окружавший его сад сквозь открытые почти круглый год двери и окна проникал в комнаты нижнего этажа. Тесное соседство цветов, все ближе подступавших к дому, причиняло нам разного рода неудобства, и отец даже пытался бороться против чрезмерного, как он говорил, засорения жилища цветами, но бабушка, при поддержке мамы и сестер, одержала верх, и отцу в конце концов пришлось переселиться на второй этаж.

У этого дома была долгая и достойная история. Он был построен в конце XXVIII века и стоял на автостраде, ведущей в Меорию; но, когда в этом районе воздушные сообщения окончательно вытеснили наземный транспорт, на дорогу стал наступать лес, и место, где она когда-то проходила, можно было отличить лишь по тому, что тут росли более молодые деревья.

Каким дом был внутри, я почти не помню. Закрыв глаза, я вижу его лишь издали, сквозь листву деревьев. Это, впрочем, легко понять, потому что я постоянно находился в саду будто жил в нем. Там был искусственный лабиринт из кустарников, у входа стояли на часах два стройных тополя; далее начиналось хаотическое переплетение тенистых тропинок, по которым надо было очень долго идти — вернее, бежать (кто же ходит степенно в четыре года!), — чтобы попасть в высокую беседку, обвитую плющом. Сквозь просветы между листьями был виден лесистый горизонт. На за-

паде каждые несколько секунд взмывали в небо огненные линии: от нашего дома до ракетного терминала в Меории было меньше восьмидесяти километров. Еще и сегодня я с закрытыми глазами мог бы отыскать каждый сучок, каждую ветку, которую видел в этой беседке. Здесь я взмывал выше туч, плавал по океанам, был капитаном дальнего плавания, водителем ракеты, астрогатором и путешественником, открывавшим новые планеты и живущих на них людей или терпевшим крушение в межпланетном пространстве, а временами — всем сразу.

С братьями и сестрами я не играл: слишком велика была между нами разница в возрасте. Больше всего времени уделяла мне бабушка, и мои первые воспоминания связаны именно с ней. После обеда она выходила в сад, разыскивала меня в самых глухих зарослях, брала на руки и усаживалась на террасе. Вместе с ней я всматривался в небо, пытаюсь разглядеть маленький, розовый и круглый, как пионы перед домом, самолет, на котором должен был прилететь отец. Я всегда боялся, как бы он не заблудился в пути.

— Не бойся, глупыш, — говорила бабушка, — папа найдет нас: он летит по ниточке, которая тянется из радиоклубка. — И она показывала на антенну, серебряной тростинкой поднимавшуюся над крышей дома.

Я от удивления широко раскрывал глаза.

— Бабушка, там нет никакой нитки!

— Это у тебя еще очень маленькие глазки. Подрастешь — увидишь.

Бабушке было всего восемьдесят шесть лет, но мне она казалась невероятно старой. Я думал, что бабушка была такой всегда. Она гладко зачесывала седые волосы и завязывала их сзади тугим узлом, носила синие или фиолетовые платья и не носила никаких украшений, кроме узенького перстня на среднем пальце. Моя старшая сестра Ута сказала мне однажды, что в кристаллике, вделанном в этот перстень, спрятали голос дедушки — когда тот еще был жив, молод и любил бабушку. Это меня удивило до глубины души. Однажды за игрой я незаметно приложил ухо к перстню, но ничего не услышал и пожаловался бабушке, что Ута сказала неправду. Та, смеясь, пыталась уверить меня, что Ута не солгала, а когда увидела, что я все же не верю, немного поколебавшись, вынула из столика маленькую коробочку, приложила к ней перстень, и в комнате послышался мужской голос. Я не понял того, что он говорил, но был очень доволен и удивился, увидев, что бабушка плачет. По-

думав немного, я тоже заплакал. Тут вошла мама и застала нас обоих в горьких слезах.

При жизни дедушки (это было еще до моего рождения) бабушка была модельером женской одежды. После его смерти она оставила работу и переехала к младшему сыну — моему отцу. От прежних лет у нее остались кипы папок с рисунками платьев. Я любил их рассматривать — среди них попадались удивительные рисунки. Время от времени бабушка придумывала какое-нибудь платье маме, ее сестрам, а иногда и себе. Это обычно было модное платье, из материала, менявшего цвет и рисунок в зависимости от температуры воздуха. Я смеялся до слез, пытаясь угадать, какого цвета будет материя и какой на ней появится узор, если ее разостлать на солнце.

Отец мой был врачом, и ему приходилось отлучаться из дому в любое время дня, а иногда и по ночам. Его любимым местом отдыха была веранда, где он лежал, всматриваясь сквозь цветные стекла в облака. При этом он чуть заметно улыбался, словно его радовала изменчивость их очертаний. Когда я играл около дома, он иногда подходил ко мне, рассматривал с высоты своего роста мои постройки из песка и потом молча удалялся. Мне это казалось проявлением его суровости; теперь же я думаю, что он просто был деликатен. За столом маме и бабушке приходилось не раз повторять сказанное, потому что он всегда был немного рассеян; когда собиралось более многочисленное общество, например, когда к нам приезжали его братья, он предпочитал не говорить, а слушать других. Только однажды он удивил и даже напугал меня. Не помню точно, при каких обстоятельствах я увидел по телевизору, как папа оперирует больного. Меня немедленно вывели из комнаты, но у меня в памяти запечатлелось нечто пульсирующее, кровавое и над этим страшным лицом отца, как бы застывшее в гневе, с мучительно напряженным взглядом. Эта сцена возвращалась ко мне в снах, которых я боялся.

Отца по вечерам навещали его братья. Иногда они собирались все вместе — это называлось «заседанием семейного совета» — и сидели до поздней ночи в столовой под большим лилиодендромом, разлапистые листья которого простирались над их креслами. Я никогда не забуду своего первого выступления на этом совете. Однажды, проснувшись среди ночи, я испугался и начал плакать. Никто не приходил, и я в отчаянии бросился бежать по темному коридору в столовую. Мамы в комнате не было, и я решил влезть на колени к дяде

Нариану, который сидел ближе всех. Но когда мои протянутые руки прошли как пустоту фигуру дяди, я в ужасе, с отчаянным криком бросился к отцу. Он подхватил меня и долго укачивал, объясняя:

— Ну, ну, сынок, не надо бояться. Ты же видишь, дяди Нарияна в действительности здесь нет: он у себя дома, в Австралии, а к нам пришел всего лишь с телевизитом. Ты ведь знаешь, что такое телевизор? Вот он, на столике. Когда я его выключу, то дяди не будет видно. Вот — трак! — видишь?

Отец считал, что, если подробно разъяснить ребенку суть непонятого явления, у него пропадет страх. Однако должен признаться, что до четырех лет я не мог освоиться с телевизитами дядей, — Нариян жил в Австралии, близ Канберры, Амизель — за Уралом, а третий, Орхильд, — иногда в Трансваале, а иногда — на южном склоне лунного кратера Эратосфен. Он был инженером и выполнял какие-то крупные работы в межпланетном пространстве, в бездонных пропастях пустоты, где проводил половину жизни, и из-за этого отец окрестил его «Пропащим» или «Пустошным». Четвертый, старший из братьев, Мерлин, жил на Шпицбергене, всего в тысяче трехстах километрах от нас, и еженедельно по субботам являлся к нам собственной персоной.

Теперь я должен рассказать вам о семейном предании, сочиненном дедом и переходившем от одного поколения нашей семьи к другому. Моя бабушка при всем богатстве ее ума и сердца отличалась исключительной рассеянностью, что причиняло ей немало огорчений. Дедушка — не знаю, хотел ли он утешить бабушку или сам верил в то, что говорил, — утверждал, что рассеянность присуща только артистическим натурам. Исходя из этой теории, бабушка с дедушкой ожидали, что у кого-нибудь из их детей обязательно проявятся незаурядные художественные способности, а когда эта надежда не сбылась, дед внес в свою теорию поправку: способности передаются через поколение, великими художниками будут не дети, а внуки.

Мои сестры не оправдали этих ожиданий. Брат уже с детских лет питал особое пристрастие к технике. Не исключено, что у нас на крыше до сих пор сохранилась сконструированная им «воздушная кровать» — система вентиляторов, выбрасывающих вверх сильную воздушную струю, способную свободно держать на весу тело человека. Свое изобретение брат испытал на мне — впрочем, без особого моего на то желания: находясь в метре над полом в объятиях ураган-

ной струи, невозможно было не только отдыхать, но и просто дышать. Истории, подобные этой, позволяли предполагать, что брат станет изобретателем. Разочарованная бабушка пришла к выводу, что искусству — теперь уж наверное — посвятит себя самый младший из внуков, то есть я. Поэтому, хотя я и доставлял родителям немало хлопот, мне сходили с рук многие проделки, за которые отшлепали бы других детей. Например, когда мне исполнилось три года, меня привели в хранилище игрушек; я этого события не помню, но много раз слышал рассказы о нем. Ошеломленный огромным количеством сокровищ, которые могли стать моими, я бегал по зеркальному залу и хватал все, что попадалось под руку — модели ракет, воздушные шары, радиоволчки, куклы, — и не только не мог расстаться ни с одной из этих прекрасных игрушек, но набирал все новые — одну за другой. Я столько всего навьючил на себя, что наконец свалился под этим бременем, крича и плача от охватившего меня гнева. Бабушка начала что-то говорить об импульсивной натуре артистов и художников, но точка зрения отца была более прозаичной.

— Этот бутуз просто дик, потому что вырос в лесу, — сказал он и, повернувшись ко мне, добавил: — Если бы ты родился в древности, то стал бы пиратом или конквистадором.

Как я уже говорил, другие дети в нашей семье были много старше меня. Я еще только начинал читать по слогам, когда обе мои сестры окончили курс метеотехники. Старшая, Ута, как-то в порыве снисходительности рассказала мне о чудесных возможностях ее профессии: во время дежурств на местной климатической станции она управляла погодой.

— А если бы ты не пошла на дежурство, что бы тогда было? — спросил я ее.

— Тогда не было бы никакой погоды.

Не знаю почему, но из этого разговора я сделал вывод, что от Уты зависит не только погода, но и вообще существование мира. Будучи уверен, что, если бы не Ута, с миром произошло бы нечто ужасное, я преисполнился уважением к сестре. Но вскоре она подарила мне прибор «Юный метеотехник», при помощи которого я мог управлять движениями небольшой тучки. Тут во мне проснулись смутные подозрения. Я обиняками выпросил у сестры, зависит ли от нее еще что-нибудь, кроме движения туч и ветра. Не догадываясь, к чему я клоню, она сказала, что не зависит, и вместе

с другой сестрой — Лидией, лишилась в моих глазах ореола могущества.

— Да-а? — протянул я. — Тогда знаешь что? Метеотехника тогда вообще никому не нужна. Не знаю, как вам, женщинам, — великодушно добавил я, — но нам, мужчинам, как раз нужны бури, ураганы, вихри, а не какой-то искусственный конфетный климат.

Ута насупила брови и лаконично ответила:

— Смотри-ка лучше свои штаны не потеряй.

Я долго не мог ей этого забыть.

Брат с высоты своего положения — ученика четвертого класса — пренебрегал мною. А мне было уже шесть лет, и я горел неугасимой жадой приключений. В Меорию, во дворец детей, меня, как малыша, одного не отпускали, хотя от нас до города было недалеко, а давали в провожатые старшего брата. В свои четырнадцать лет он презирал инсценировки сказок и, когда на сцене происходили неслыханные чудеса, шепотом насмешливо рассказывал мне на ухо, что будет дальше, — хотя я его об этом не просил.

Бывая в Меории, я останавливался у витрины каждого магазина-автомата. Особенно сильно меня привлекали отделы игрушек и кондитерские. Я спрашивал маму, могла бы она взять себе все торты и все чудесные вещи, выставленные в витринах.

— Конечно.

— Почему же ты не берешь все?

Мама смеялась и говорила, что «все» ей не нужно. Этого я не мог понять. «Вот вырасту, — мечтал я, — тогда возьму себе и игрушки, и торты, и вообще все. У меня будет целая ванна крема!»

Однако прежде надо было вырасти, и я всеми силами старался ускорить этот процесс. Поэтому, когда ничего интересного не предстояло, я с удовольствием уходил спать пораньше.

— И не стыдно тебе, такому большому мальчику, забираться засветло в постель? — спрашивала мать.

Я хитро помалкивал: мне-то было известно, что во сне время проходит быстрее, чем наяву.

На восьмом году жизни я впервые попытался навязать свое мнение близким. Тогда мы обсуждали, как отметить приближавшийся день рождения отца.

Вычитав в книгах что-то о древних властителях, я предложил построить отцу королевский дворец. Надо мной посмеялись, и я решил выполнить этот план своими силами.

Мама попыталась втолковать мне, что отцу дворец не нужен.

— У него не было времени думать о дворце, — возразил я, — однако он, наверно, обрадуется, когда у него будет дворец.

— Да нет же. Подарок не может быть ни маленьким, ни большим. Давным-давно, в древности, существовал обычай дарить друг другу различные вещи, но теперь их дарят только детям, так как каждый взрослый может иметь все, что захочет.

Я считал такое неравенство очень обидным. Взрослые могли получить все, а что происходило, например, когда я за обедом настойчиво просил третий кусочек торта? Однако, не желая противоречить матери, я промолчал.

— Позавчера в саду, — продолжала она, — у тебя на коленях заснула собачка, помнишь? Тебе было неудобно, но ты не пошевелился, потому что не хотел, чтобы ей было неприятно. Тебе доставляло удовольствие то, что ты делал для собачки, правда? Вот и отцу ты должен сделать что-нибудь такое, что ему было бы приятно. Увидишь, как он обрадуется.

— Хорошо, — возразил я. — Но отец ведь не спит у меня на коленях.

— Допустим. Но зачем тебе шуметь и пускать фейерверк у него под окнами вечером, когда он читает?

— Фейерверк я могу и не зажигать, — сказал я, — но этого очень мало.

От мамы я ушел в задумчивости. Голова была занята проектом королевского дворца.

У нас, как и в любом доме, было много автоматов. Они делали уборку, занимались хозяйственными делами, работали на кухне и в саду. Садовые автоматы, которые ухаживали за цветами и деревьями, назывались монотами. Первый монот появился у нас еще при дедушке. Он часто сажал меня на шею и носил, чего терпеть не могла наша овчарка Плутон. Впрочем, собаки вообще не любят автоматов. Бабушка говорила, что все низшие существа, как правило, боятся автоматов, потому что не понимают, как может двигаться неживой предмет. Это замечание запало мне в сердце — я ведь тоже не понимал, почему автоматы двигаются и выполняют разные поручения; так, значит, я тоже низшее существо? Поэтому, прежде чем приступить к строительству дворца — а вести его должны были наши автоматы, — я забрался с обоими монотами в самую глушь сада и приказал одному из них

разбить живот у другого, чтобы посмотреть, что у него внутри. Автомат отказался мне повиноваться. Весьма рассерженный, я разыскал самый большой молоток, какой только мог найти дома, и сам принялся за работу, но не смог ничего поделаться с металлическим панцирем автомата. Увлечшись работой, я совсем забыл, что наступило время послеобеденного отдыха отца, и бил молотком так, что грохот разносился по всей округе. Вдруг я услышал над собой чей-то голос. Красный как рак, еле живой от усталости, я поднял глаза и увидел отца, горестно качавшего головой.

— Если бы хоть часть этой энергии ты тратил на занятия! — сказал он и отошел от меня.

Когда мне должно было исполниться девять лет — это событие пришлось на весну 3098 года, — мама сказала, что, если я буду вести себя хорошо, мы через две недели всей семьей отправимся на Венеру. Это будет мое первое межпланетное путешествие! В оставшееся время я вел себя чрезвычайно примерно. Вечером накануне отъезда к нам самолично заявились все дяди. Мама ознаменовала это событие чудом кулинарного искусства — лунным тортом, изготовленным по секрету от всех. Его поставили на стол, и в какой-то момент он зашумел и выбросил из кратера крем, потекший по шоколадным склонам.

Я тайне надеялся, что во время путешествия на Венеру с нами произойдет катастрофа и мы, потерпев крушение, высадимся на какой-нибудь встречный астероид. Чтобы не быть захваченным врасплох, я решил запастись продовольствием; самым подходящим для этого мне показался торт. Я стащил из кладовой огромный кусок и спрятал на дно моего маленького чемодана.

На следующий день рано утром мы отправились на ракетный терминал в Меорию. Полет на Венеру продолжался недолго и обошелся без всяких катастроф. Глубоко разочарованный, я не стал глазеть на черное небо со смотровой палубы, забился в угол каюты и, чтобы не испортились запасы, ел свой торт, пока динамики не сообщили, что мы приближаемся к ракетодрому Венеры. Последствия были печальны: от посещения Венеры мне запомнились лишь боль в животе, разрисованный цветочками и птичками кабинет детской поликлиники да толстяк доктор, который шел ко мне, заранее смеясь и спрашивая, как мне понравилось у них на планете.

На другой день надо было возвращаться домой. Меня, заливавшегося слезами, посадили в ракету. У меня уже было

достаточно сил, чтобы переживать случившееся, которое — этого я больше всего боялся. — могло стать предметом насмешек брата и сестер. Поэтому на обратном пути я хранил таинственное, мрачное молчание, которого, впрочем, никто не заметил. Так закончилось мое первое космическое путешествие.

Я не буду множить подобные истории, беспорядочно сохранившиеся в памяти, как ненужные безделушки, с которыми трудно расстаться. Я их хорошо помню, но не могу отыскать в себе ничего от ребенка, который был их героем. Что осталось у меня от всего этого? Любовь к сказкам? Нелюбовь к тортам? Пожалуй, и все. Но в том немногом, что осталось, таится отсвет затерянного где-то на самом дне моего существования непонятного и недостижимого мира, который изредка, вызывая в душе легкую грусть, возвращается ко мне с оттенками вечернего неба, с шумом дождя, забытым запахом или видом затененного уголка.

Когда много лет спустя я вернулся домой, наш сад поразили и почти испугал меня. Я узнавал каждую клумбу, каждое дерево, но там, где прежде передо мной открывались целые страны, в которых происходили волнующие события, теперь не было ничего. Обычный сад — с цветами, беседкой, яблонями, кустарником... И каким маленьким все это оказалось. Путь от дома до калитки некогда был путешествием куда более захватывающим, чем теперь полет вокруг земного шара! Да, за несколько лет вся Земля стала для меня меньше того сада, в котором прошло мое детство. Потому что исполнились заветные мечты: я вырос и мог делать все, что хотел... Но это уже другая история.

МОЛОДОСТЬ

Подростком я сделал для себя несколько открытий. Самые важные были связаны с братьями моего отца. Я давно знал, что старший из них, дядя Мерлин, изучал камни. И сомневался — в своем ли он уме: что интересного могло быть в камнях? Однако потом оказалось, что он умеет рассказывать о камнях истории, которые в тысячу раз интереснее сказок. В его рассказах плагиоклазы магмовых скал, хризолиты и мелоподобные мергели приобретали таинственные, романтические черты. При помощи яблока и салфетки он умел показать, как возникают горные хребты, а когда рассказывал

о мантиях лавы, которыми покрыты остывающие планеты, я видел небесных гигантов, одетых в развевающиеся плащи из багрового пламени. Другой дядя, Нарриан, тот самый австралиец, который когда-то перепугал меня во время телевизита, создавал искусственный климат на больших планетах, был властелином метановых ураганов и повелителем бурь, вздымающих океаны углеводородного льда. А какие миры раскрывались в его рассказах! Он говорил мне о Летающем континенте Гондвана, об удивительном небе Юпитера, похожем на опрокинутую чашу, в которой маленькое солнце светит днем и ночью, об экваториальных пространствах Сатурна, на которые большую часть года падает тень гигантских вращающихся колец, о своих юношеских экспедициях на холодные спутники этой планеты, носящие имена, похожие на заклинания: Титан, Рея, Диана.

И все же, хотя и с тяжелым сердцем, я изменил им обоим и решил пойти по стопам третьего дяди — Орхильда, по семейным прозвищам — Пропащего или Пустошного. Зная, что дядя Орхильд бомбардирует атом, я представлял себе, как он без устали корпит где-нибудь в межпланетной лаборатории и пытается наконец поймать эту мельчайшую частицу материи. Что же оказалось в действительности? Этот исследователь бесконечно малого занимался как раз тем, что строил объекты, по своим размерам во много раз превосходящие любое сооружение на Земле и даже самую Землю. Разве не было поразительно, что путь в глубь Космоса, как и в глубь атома, одинаково приводил к бесконечности? Дядя Орхильд строил машину для бомбардировки атомов. Это было кольцо из труб; магнитные поля ускоряли в нем нуклоны — снаряды, стрелявшие в ядра атомов. Самый большой ускоритель ХХХ века выглядел как замкнутая окружность диаметром в три тысячи километров: его изогнутая труба бежала по туннелям, проложенным сквозь горные цепи, по мостам, пересекающим долины. Следующим этапом мог быть, пожалуй, только ускоритель, опоясывающий весь земной шар. Значит, конструкторы дошли до предела, через который невозможно перешагнуть? Нет, возник совершенно новый замысел: было решено построить новый гелиотрон в космическом пространстве. Мне казалось, что гелиотрон должен был быть кольцеобразной системой труб, плавающей где-то между Землей и Луной. Но дядя Орхильд вывел меня из заблуждения: основной материал для конструкции — отличного качества пустота — имелся в космическом пространстве в избытке. Ракеты доставили с Земли многие ты-

сячи магнитных катушек. Их расположили в пространстве так, чтобы они образовали идеальную окружность. Что же делал дядя? Может быть, следил за этой работой? Нет, он как раз занимался тем, что было между магнитными катушками, то есть пустотой. Значит — ничем? Вовсе не так. Из того, что он говорил, вытекало, что нет более богатого возможностями объекта, чем эта «пустота», через которую проходят электромагнитные поля — гонцы и посланники далеких миров.

Он не наносил нам телезитов, потому что при этом нельзя было влезать на деревья, что он очень любил. Зато, когда он приезжал, мы взбирались на одну из самых высоких яблонь в саду, усаживались в развилине между сучьями и, грызя твердые яблоки, вели ожесточенные споры о фотонах — самых быстрых и невесомых частицах материи. Было бесповоротно решено, что я стану энергетиком космического пространства.

Но наступили летние каникулы 3103 года, и эти планы неожиданно рухнули. Мне исполнилось четырнадцать лет, и родители разрешили мне самостоятельно совершать экскурсии на расстояния в несколько сот километров.

Однажды я полетел на Гельголанд. Знаете ли вы этот маленький островок в Северном море, древнюю базу и одновременно музей космических кораблей? Там, среди стройных елей и выветренных доломитовых скал, высится огромный ангар с высокими окнами, покрытыми чем-то похожим на иней: это налет соли, приносимой ветром с океана. В середине ангара, под сводами, нависшими над скоплением подъемных кранов, напоминающими позвонки и ребра допотопного кита, стоят рядами на покое огромные корабли.

Хранителем музея был краснолицый старик с окладистой бородой, в которой, словно забытые, сверкали кое-где золотистые волосы. Я обнаружил его в реакторном отделении одной из ракет. Теперь здесь царил запах пыли и ржавчины. Старик стоял над кварцевыми ваннами, в которых некогда бурлил жидкий металл. Свет, проникавший снизу через незакрытый люк, вырывал из темноты его белую бороду. Я сначала перепугался, когда он вырос передо мною, — мне казалось, что во всем огромном сооружении, кроме меня, нет никого. Я вздрогнул и спросил, что он тут делает.

— Да вот смотрю за ними... чтобы не улетели, — ответил старик после столь длительного молчания, что я начал сомневаться, ответит ли он вообще. Он постоял надо мной —

я слышал его напряженное, тяжелое дыхание — и молча спустился по трапу в нижнюю часть зала.

После этого я стал часто ходить в музей. Я пытался сблизиться со стариком, но он, казалось, избегал меня, скрываясь в лабиринте кораблей; когда наконец я его находил, он отвечал на вопросы лаконично, с примесью непонятого сарказма. Однако, по мере того как мы знакомились ближе, старик оттаивал и становился все разговорчивее. Благодаря ему я постепенно изучил биографии судов, стоявших в зале, и многих других звездных кораблей, потому что он — я непоколебимо верил в это — знал судьбы всех судов, какие когда-либо курсировали в пределах Солнечной системы за последние шесть веков.

На Гельголанде я гостил в семье дяди, брата матери, и почти каждый день ездил в ангар. Старик смотритель все больше углублялся в недра своей, как мне казалось, неистощимой памяти, но сам он для меня оставался загадкой: о себе он не рассказывал никогда. Я предполагал, что он был капитаном межпланетного корабля, может быть, даже руководителем крупных экспедиций, но не спрашивал об этом: мне нужен был именно такой человек — окруженный ореолом таинственности.

У самого входа в зал, между колоннами, стояли четыре древние ракеты, построенные на судостроительных верфях тысячу лет назад, — архаичные, стройные веретена с острыми носами и хвостовым оперением, как у стрелы. Первые две ракеты тяжело опирались своими шасси на покатую бетонную площадку; третья была приподнята. Ее правый костыль касался края фундамента; левый был выпущен лишь наполовину и торчал в воздухе, подогнутый, как лапа мертвой птицы. Этот старейший межпланетный корабль высоко задирал клюв, словно готовый к старту, который почему-то откладывался, хотя его время уже наступило. Дальше лежали похожие на трехгранных рыб ракеты, построенные в XXIII веке. Я поначалу думал, что все они выкрашены в черный цвет, но оказалось, что их заботливо окутывал мрак, как бы стремясь из жалости скрыть ржавые пятна и вмятины на боках.

Я хотел сказать, что старик руководил моим осмотром ракет, но это было бы неправдой. Мы вместе поднимались по крутым лестницам на узкую металлическую галерею, откуда были видны ряды темных хребтов с зияющими колодцами люков. Перед нами открывались створки шлюзов, круглые люки, каюты, багажные отсеки и межпалубные тра-

пы. По ним мы спускались до самого дна трюмов, в которых, по-старинному сверкая рубиновой смазкой, размещались похожие на ножницы подъемники шасси. По темным суживающимся туннелям, разделенным свинцовыми защитными переборками, мы добирались до атомных камер. У почерневших стен, шероховатых от высоких температур, стояли согнутые скелеты магнитов. Между ними когда-то бушевали атомные частицы, рождая силу и движение, теперь же все было покрыто пылью.

Во время наших прогулок старик оставался безучастным и хмурым, во всяком случае постоянно равнодушным к взрывам моего восторга, как и вообще к тому, что я говорил. А говорил я, пожалуй, без умолку. И лишь когда, осмотрев все закоулки ракеты, мы возвращались в ее центральные помещения, роли наши менялись.

Куда позже я понял, что он ждал, чтобы я, удовлетворив самое поверхностное, крикливое любопытство, пожелал узнать нечто более важное, чем особенности древних атомных конструкций. Когда я познакомился со всеми кораблями и побывал в самых укромных их уголках, настало время его рассказов.

Старик как бы случайно встречал меня у входа. Мы проходили пустой, обширный ангар, миновали неподвижные корпуса судов, вздымавшиеся на высоту в несколько этажей — с раскрытыми настежь люками, из которых веяло холодом, — и поднимались по гулким металлическим ступеням внутрь длинноклювого серебристого гиганта, великого «Астронавта», внешне как бы даже нетронутого временем. Подходя к центральной штурманской рубке, где на возвышении, между посеребрившими экранами телевизоров и распределительными щитами, размещалась рулевая аппаратура, старик как бы случайно останавливался и начинал говорить — отрывисто роняя фразу за фразой, вначале с невыносимо долгими паузами, затем все более быстро и плавно. Потом он открывал двери рубки — при этом на потолке автоматически вспыхивали лампы, — и тогда начиналось повествование одной из тех невероятных историй, которые запали в мое юношеское сознание и остались на всю жизнь.

Передо мной проходили сцены событий давних времен, когда полет на ближайшую планету был экспедицией в неизвестное, драмой с непредвиденным развитием и запутанным сюжетом, которая разыгрывалась в бесконечных пространствах Космоса, между двумя мирами: Землей, оставленной, быть может, навсегда, и таинственным, зага-

дочным миром неведомой планеты. Это были легенды о кораблях, которых сила тяготения заставила обращаться вокруг неизвестных, не отмеченных на небесных картах астероидов, об отчаянной борьбе с мощным притяжением планеты-гиганта Юпитера, о пределах выносливости экипажей и прочности кораблей, саги о борьбе, о полетах в глубины Космоса и возвращении оттуда.

Я помню рассказ об одном корабле. В его машинное отделение ударил осколок распавшейся кометы, и корабль потерял управление. Двигаясь вслепую, он уходил в бесконечное пространство, посылая по радио отчаянные сигналы о помощи. На Землю эти сигналы поступали, отражаясь от Луны или какого-то другого космического тела. Они были искажены, и по ним нельзя было запеленговать корабль. Шли недели за неделями, сигналы становились все слабее, пока наконец не умолкли навсегда.

Другой рассказ был о том, как пассажирская ракета прямого сообщения Марс — Земля, возвращаясь в свой порт, не смогла миновать встреченное на пути скопление космической пыли и, выйдя из него, повлекла за собой пылевое облако. Во время полета этот своеобразный ореол не причинял ракете вреда, но стоило ей войти в пределы земной атмосферы, как туча окружавшей ее пыли вспыхнула, и в несколько мгновений ракета сгорела со всеми пассажирами и грузом.

Рассказывая эти истории, старик время от времени вставал с удобного кресла, приближался к рычагам рулевого управления, протягивал руки, словно намереваясь положить их на черные рукоятки, но никогда до них не дотрагивался. Иногда он умолкал и мрачнел, его глаза рассеянно блуждали по каюте, как бы в бесплодных поисках того, что должно было появиться именно в этом месте рассказа; и я вместе с ним начинал видеть предметы, еще теплые от прикосновения рук астронавтов, медные пломбы гравитационных предохранителей, торопливо сорванные в минуту опасности рукой рулевого, слышал шаги вахтенного и, как и он, был наедине с великим и неустрашимым одиночеством среди звезд, мерцающих на черных дисках экранов. Пару раз мной овладевало беспокойство: мне казалось, что старик, излагая историю экспедиций, отступает от исторической хронологии, — но это скоро прошло. Я поддавался его влиянию, закрывал глаза на неточности, неправдоподобие и даже невероятность событий, о которых он рассказывал. Я верил ему, потому что хотел верить. Я неясно ощущал, хотя и не умел

этого выразить, что, изменяя и переиначивая некоторые подробности, он делает это только для того, чтобы убедительнее выглядела правда о тех, кто первым отправился в область вечной ночи.

Я решил стать астронавтом. Меня удивляло — как вышло, что я до сих пор не замечал всей прелести этой увлекательной профессии. Дело, вероятно, было в том, что одной из специальностей межпланетных сообщений занимался мой брат, а наши отношения, выражаясь его языком, языком инженера-электрика, были всегда «под слишком высоким напряжением».

Когда я решился рассказать старому капитану о своем решении, он сначала не обратил на это внимания. Его молчание больно задело меня. Вскоре, однако, он сухо сказал, что таким астронавтом, какими были герои прошлых эпох, я уже не смогу стать. Тсперь нет доблестных экипажей, которым приходилось бы сражаться с метеоритными тучами — этими лавинами межпланетного пространства; нет штурманов, прочерчивающих каждую ночь отрезок пройденного пути на картах неба. Нет уже капитанов, без усталости шагающих по металлическим палубам в час, когда измученная команда забывается сном; нет вахтенных и рулевых, устремляющих поверх звездных компасов свой взгляд к звездам. Десятки тысяч автоматически управляемых ракет кружат без людей по орбитам нашей Солнечной системы. Эти длинные поезда межпланетного пространства перевозят с планеты на планету сырье, минералы, руду, машины. Если на них и находятся люди, то это пассажиры, привыкшие к чудесам путешествий и пользующиеся услугами машин, которые следят за безопасностью полета.

Я робко заметил, что брат мой изучает астронавтику.

— Э! — Старик пренебрежительно махнул рукой. — Он учится строить пилоты-автоматы. Это все равно что назвать композитором человека, который делает трубы для оркестра.

Я поспешил повторить это изречение брату.

— Сам ты труба! — ответил тот.

Я остался наедине с моим душевным смятением.

У отца был друг, профессор-астроном Мурах, с которым я поделился своими сомнениями. В моем представлении он был на короткой ноге со звездами.

— Я не хочу строить роботы, управляющие ракетами. Хочу быть настоящим астронавтом, рулевым или капитаном космического корабля.

— Романтика старины! — терпеливо выслушав меня, во-

скликнул Мурах и печально покачал головой. — Слов нет, астронавтика — это прекрасно. Ну конечно, конечно! А читал ли ты книгу Руфуса «Атмосферы планет и звездоплавание»?

Этой книги я не знал. Профессор был очень доволен.

— Великолепно! Вот возьми и прочитай. Замечательная книга. Она полна неясностей, как туманный вечер. Огромная свобода для фантазии, для воображения! Да, да, астронавтика когда-то была очень трудным делом. Человек доходил до границ психической выносливости. Сколько в этой книге великолепных страниц, описывающих победу человека над самим собой! Как красиво сказал Руфус: «Наш мир очень хорош для астронавтов: на каждые сто триллионов частей пустоты приходится одна часть твердой земли, есть где развернуться звездоплавателям. Да к тому же в пространстве столько звезд — этих огромных портовых огней среди оксана тьмы!» Но знаешь ли ты, мой дорогой, почему именно астронавтика была таким трудным делом?

Этого я не знал.

— Как же так? — удивился Мурах и взглянул на меня сверху вниз. Там, где у других людей брови, у него были два маленьких взъерошенных кустика седых волос, которые живо шевелились, будто участвовали в беседе. Они смешили меня, внушая сомнения насчет убедительности слов профессора. — Я попробую объяснить, мой незрелый звездоплаватель, твою ошибку. Известно ли тебе, что в свое время люди плавали по морям?

— На так называемых парокладах? — поспешил ответить я.

— Правильно. Но еще раньше, в древности, они плавали на парусниках, используя движущую силу ветра. Так вот, пока они не усвоили точно гидростатику, гидродинамику, теорию волнообразования и другие науки, они строили корабли, понимаешь ли, на глазок, поэтому созданные ими суда обладали индивидуальностью. Нельзя было найти двух кораблей, которые были бы абсолютно схожи между собой, а самая незначительная разница в устройстве мачт, килей, в форме корпуса приводила к тому, что суда по-разному слушались руля. Испытывая опасности, приключения, терпя катастрофы, мореплаватели накапливали опыт, из которого возникло великое искусство кораблевождения. Это было, понимаешь ли, искусство, а не наука, потому что оно включало, помимо действительно научных данных, немало догадок, преданий, предрассудков. Чтобы водить суда, нужны были не только знания, но и личная храбрость, мастерство

и талант. Однако позднее наука вытеснила все это, и для искусства осталось мало места. Подобная же история повторилась сто лет назад в звездоплавании.

— Значит, человек уже не может управлять ракетой? — спросил я. — Но я хочу управлять ею! Неужели это кому-нибудь повредит?

— Да, повредит, — возразил профессор, и его брови задыгались, как бородки невидимых гномов. — Повредит, потому что ты будешь делать это медленнее и не так точно, как автомат, а значит — хуже автомата, не говоря уж о том, что человеку не пристало заниматься работой, которую могут выполнить автоматы. Впрочем, ты сам знаешь, что это не годится.

— Но на экскурсиях или в горах мы часто сами пилим дрова, разводим костры, варим пищу, а ведь ее можно приготовить при помощи кухонного автомата...

— Во время экскурсий мы делаем то, что полезно для здоровья человека, восстанавливает психику, радует его и так далее. А если ты поведешь ракету, то подвергнешь опасности груз, не говоря уже о самом себе.

— Большое дело — одна ракета! — вырвалось у меня.

Профессор довольно рассмеялся:

— Видишь ли, ты сам сделал невольное признание — мечтая о звездоплавании, ты не думаешь о труде и ответственности, тебе важна лишь их видимость, такая их доля, которая придаст полету «серьезность» и тем увеличит удовольствие. Двести лет назад звездоплавание было большим и трудным искусством, достойным настоящих мужчин, требовавшим всей жизни от тех, кто ему отдавался, и имена великих астронавтов стали достоянием истории. Но то, что было тогда необходимостью, сегодня в лучшем случае будет забавой, а в худшем — бессмыслицей.

Я был зол и на профессора с его непререкаемой логикой, и на старого хранителя кораблей, и на брата, словом — на весь мир. Однако от своего намерения не отказался: буду астронавтом, что-нибудь и для меня осталось. Профессора я попытался обмануть тем, что ничего ему не ответил, но он, очевидно, догадался о моих мыслях по скромно опущенным глазам.

— Значит, ты все-таки хочешь стать капитаном дальнего звездоплавания? — настойчиво спросил он.

И я, несмотря на данную себе клятву молчать, невольно выпалил:

— Хочу!

Профессор сначала широко раскрыл глаза, потом рассмеялся. Смеялся он долго. Наконец заговорил серьезно:

— Верно ли, что ты недавно перегрыз зубами свинцовый кабель?

— Верно, — мрачно ответил я.

Хотя никто из взрослых не выразил ни малейшего восторга по поводу этого поступка, я все же гордился им.

— Зачем ты это сделал?

— На спор, — ответил я, еще больше мрачнел.

— Ты очень упрям... Я слышал об этом от других, а теперь сам вижу. Гм!.. Что ж, может, со временем успокоишься... А пока почитай Руфуса...

Мурах смотрел на меня строго, но подвижные брови ясно говорили, что он на моей стороне..

Это были годы горячих споров, годы активной подготовки к первому полету за пределы Солнечной системы. По всему земному шару возникали специальные учреждения, в которых добровольцы подвергались тяжелым и опасным испытаниям: никто не знал, как будет воздействовать на человеческий организм скорость, превышающая 10 000 километров в секунду. А ведь было уже очевидно, что ракета, которая полетит на ближайшую звезду, должна двигаться по крайней мере в десять раз быстрее.

Я отправился в Институт скоростных полетов, расположенный в ближайшем городе, и предложил свои услуги в качестве добровольца. Ребенком я часто встречал одетых в белое работников таких институтов. На левом рукаве у них была нашита эмблема института — маленький серебряный луч. Они обычно пользовались большим уважением, подобно самым известным людям науки и искусства. В институте ко мне отнеслись с подчеркнутой любезностью: вероятно, добровольцев, подобных мне, приходилось принимать по нескольку десятков в день. Помимо горячего желания, у меня, пожалуй, не было никаких других данных, поэтому со мной попрощались с заверениями, что если я буду хорошо учиться, то через пять лет могу явиться вновь и тогда меня допустят к вступительному экзамену.

Так и ушел я ни с чем. Жестоко разочарованный, я строил самые фантастические планы: мечтал полететь в космическое пространство на одноместной ракете, надеясь на то, что прежде чем кончатся припасы, я повстречаю какое-нибудь судно, которое окажет мне, как потерпевшему бедствие, помощь. Потом стал обдумывать следующий план. Я тайно поберусь на одну из ракет, совершающих рейс на самые от-

даленные планеты, а когда она оставит позади, скажем, орбиту Марса, выйду из укрытия. Я рассчитывал на то, что восхищенный моим горячим энтузиазмом руководитель экспедиции сделает меня по крайней мере своим помощником. Я даже приготовил несколько — в зависимости от обстоятельств — вариантов речи, которая должна была прозвучать для него убедительно. Все эти проекты были пустыми грезами, но отнимали у меня много времени. Я запоем читал космические романы, но учился неважно и, когда в классе меня выводили из «космической» задумчивости каким-нибудь вопросом, отвечал невпопад. Мне и в голову не приходило, что добрая бабушка весьма своеобразно толкует мое поведение. То, что я за обедом, поднеся ложку ко рту, внезапно застывал и устремлял взгляд в пространство, не блистал успехами в учении, сторонился людей, в ее глазах было несомненным признаком созревающего художественного таланта. Полная самых радужных предчувствий, она подарила мне ко дню рождения прекрасный белый генетофор, на котором сама иногда упражнялась одним пальцем. Поначалу я попробовал на нем свои силы, чтобы доставить бабушке удовольствие, но затем меня действительно заинтересовала видеопластика. Это искусство возникло в прежние времена из сочетания так называемого кино, литературы, объемного и цветного телевидения. При помощи генетофора художник, для которого этот аппарат — то же самое, что для композитора фортепьяно, может воспроизвести образ, возникающий в его воображении. Он может создавать картины, действие которых разворачивается в придуманных мирах, может конструировать любые воображаемые существа — полурастения и полуживотные. Все это — результат комбинаций световых полей, создающихся при игре на генетофоре.

Сначала это занятие очень меня занимало. Я запирался в комнате и усаживался перед широким экраном, положив руки на клавиатуру, состоящую из нескольких рядов клавиш. Пройдясь пальцами по десятку-другому клавиш, я нажимал пуск, и вот в глубине экрана появлялся созданный мной образ. Но потрясло меня не первое его явление; потрясло то, что это создание было наделено определенной, хотя поначалу и незначительной самостоятельностью: оно двигалось, ходило, словно изучая пространство, в котором было замкнуто. Правда, в нем обычно обнаруживались серьезные изъяны — говоря языком художников, была нарушена гармония. И я одним прикосновением пальца к клавишу стирал этот образ с экрана и приступал к новым попыткам.

Конечно, каждый начинающий художник, упражняясь, терпит много неудач, создавая неполноценные образы, но я в этом отношении побивал рекорды. Должен признаться, что мне даже во сне являлись целые толпы созданных мной существ, страшных, дышащих местью за неумелое оживление и грубое устранение из этого минутного бытия.

Видеопластика нисколько не отличается от различных форм искусства древности, и генетофор представляет как бы усовершенствованную палитру или перо; познав его устройство, начинающий творец уравнивается с писателями прошлых времен, овладевшими принципами правописания. Более удачным мне кажется сравнение видеопластики с музыкой: видеопластик гармонизирует, согласовывает различные психические черты, как музыкант — звуки; у музыканта возникает мелодия, а у видеопластика появляется герой драмы. Композитор, оркеструющий симфоническую тему, прежде чем записать на нотной бумаге хотя бы один знак, заранее слышит в своем воображении общее звучание всех инструментов. Так и у видеопластика самая трудная, самая творческая часть работы происходит до того, как он нажмет на первый клавиш генетофора: он должен раньше создать героев в своем воображении, только тогда могут возникнуть образы, которые подчинятся его воле и судьбы которых будут волновать зрителей. Однако этому никто не может научить, если человек лишен таланта. А сама по себе сноровка в обращении с аппаратом годится единственно лишь для создания дергающихся манекенов и жутких, надуманных сценариев, что, собственно, и произошло со мной.

Многие лишь несколько лет спустя после начала занятий видеопластикой понимают, насколько обманчив мираж творческого всесилия, которым их соблазнило это искусство, какой огромной ложью становится оно, когда человек забывает о подлинных судьбах человечества ради мсчты о воображаемых мирах. К счастью, отсутствие таланта у меня было столь явным, что я ни минуты не думал о том, чтобы серьезно заняться видеопластикой, и мои художественные опыты завершились тем, что я разобрал генетофор на части, чтобы ознакомиться с его устройством. Бедная бабушка, увидев результаты моих стараний, испытала горькое разочарование, на этот раз — последнее; теперь в семье не на кого уже было надеяться.

Обычно молодой человек, получив среднее образование, проводит по нескольку месяцев в различных свободно избираемых институтах и университетах, где в тесном контакте

с учеными, инженерами и техниками выявляет свои симпатии и склонности. Окончив школу в семнадцать лет, я долго колебался, не зная, куда идти, пока не поступил в меорийский филиал Института планирования будущего. Здесь я впервые встретился с людьми, работавшими над проектами экспедиции за пределы Солнечной системы.

В те времена еще не достигали таких скоростей, которые позволили бы преодолеть расстояние от Земли до отдаленных звезд на протяжении одной человеческой жизни. Вы, наверное, помните ожесточенные дискуссии, которые велись в начале нашего века вокруг проектов строительства космических кораблей для полетов в глубь Галактики. Поскольку путешествие предстояло долгое, предполагалось, что на космических кораблях должна происходить «смена поколений», то есть цели могли достичь лишь внуки и даже правнуки людей, отправившихся с Земли. Это казалось в то время неизбежностью, продиктованной уровнем звездоплавательной техники. Но такое решение проблемы вызывало резкое и всеобщее сопротивление. Было что-то унижительное и недостойное в животном прозябании людей, запертых на десятки лет в металлической скорлупке и брошенных в бесконечную пустоту. Помимо эмоционального неприятия, против такого положения восставал и разум.

«Какими, — размышляли одни участники споров, — будут люди, вынужденные десятки лет соприкасаться с пустотой? Не превратятся ли они в морально и умственно неполноценные существа? И сколь унижительна по сути своей роль подопытных насекомых, которая выпадет на долю так называемых «промежуточных» поколений, вынужденных провести всю жизнь, от рождения и до смерти, в ракете? Чему научат, как воспитают они тех, кто в конце концов доберется до звезд?!»

«Все это верно, — отвечали им другие. — Трудности и опасности такого путешествия исключительно велики. Однако лететь к звездам необходимо. После того как мы освоим Солнечную систему, хозяйственно обустроим сначала близкие, а потом, во второй половине третьего тысячелетия, и далекие планеты, вплоть до последней из них — Цербера и его спутников, человечество должно осуществить следующий шаг вперед — прыжок через Океан Пустоты, отделяющий нас от ближайшего солнца другой системы. Можно на некоторое время отложить экспедицию, но предпринять ее необходимо; если мы от нее откажемся, неизбежен застой, а через десяток-другой веков — и гибель земной цивилизации».

Открытие новых видов атомного горючего и методов высвобождения атомной энергии из любого вида материи сделало технически возможным полет со скоростью, близкой к скорости света, но вместе с тем поставило новый вопрос: может ли человек вообще, даже применяя любые средства предосторожности, передвигаться со скоростью ста или двухсот тысяч километров в секунду?

Оптимисты допускали, что эту задачу можно будет сравнительно легко решить в пространстве, удаленном на большое расстояние от полей тяготения планет, и при условии, что ракеты будут ускорять ход постепенно. Они напоминали, что уже многие века тому назад возникали теории, будто пределом биологических возможностей человека являются скорости сначала в 30, затем в 100, а впоследствии в 1000 километров в час. Из одного столетия в другое эта граница отодвигалась все дальше.

Более осторожные люди говорили, что при скоростях, приближающихся к скорости света, начнут действовать определенные последствия теории относительности, влияние которых на жизненные процессы совершенно неизвестно и может быть выявлено лишь на основе опыта.

Так возникли Институты скоростных полетов, разбросанные по всей Земле и другим планетам, и филиалы Института планирования будущего. Сотрудники этих институтов обнаружили таинственное явление, известное под названием «мерцание сознания»: человек, находящийся в ракете, скорость которой достигает ста семидесяти — ста восьмидесяти тысяч километров в секунду, испытывает особое помутнение сознания, которое при дальнейшем ускорении приводит к обмороку, грозящему смертью. Скорость в 170 000 километров в секунду получила название «около-светового порога»; с такой именно скоростью должна лететь ракета, направляемая на ближайшую звезду.

Таково было положение в науке, когда я впервые познакомился с коллективом Института планирования будущего. Ошеломленный перспективами, какие открывала работа этих людей, я решил постараться любой ценой быть принятым в институт. Для этого надо было стать специалистом либо по кибернетике, либо по звездоплаванию или медицине. Немного поразмыслив, я начал заниматься в известном своими замечательными традициями Институте общей кибернетики в Мэриии. Занятия шли хорошо, но через год я стал жалеть о том, что избранный предмет не имеет ничего общего с полюбившимся мне звездоплаванием, и после не-

которых колебаний дополнительно записался на курс космодромии. Нагрузка увеличивалась тем, что тайны кибернетики я постигал в Меории, а лекции по звездоплаванью слушал в университете, расположенном у подножия Лунных Апеннин. Хотя я легко мог попасть в любое учебное заведение Земли, но тот факт, что мне ежедневно приходилось летать на Луну, поднимал меня в собственных глазах и как бы подчеркивал мою неординарность. Каждый день я проводил два часа в ракете и лишь в ней находил время утолить голод. Все это было, конечно, чистым безумием. Я недоедал и недосыпал под гнетом добровольно взваленных на себя обязательств, но вместе с тем мне было так хорошо, что об этом периоде моей жизни я не могу подумать без улыбки. Я считал себя человеком разносторонним, наделенным большими способностями и, главное, загадочным и принимал все меры к тому, чтобы никто из моих коллег на Луне не знал о моих занятиях в Гренландии и наоборот.

Так прошло два года. Завершив начальный цикл занятий кибернетикой, я неплохо сдал экзамены по теории ракетных полетов и отправился на летние каникулы домой. Я прилетел поздним вечером. Мама сказала, что я разминулся с отцом, — его только что вызвали на операцию. Мы долго сидели на веранде, любуясь звездными дождями на июльском небе. Время от времени с западного края горизонта навстречу им устремлялись огненные перпендикуляры. Это ракетный терминал в Меории, казалось, салютовал вспышками стартующих ракет посланцам Космоса — метеоритам.

Далеко за полночь отец сообщил, что вернется поздно, и просил его не ждать. Мама устроила мне постель в комнате, где когда-то была детская, и, едва улегшись, я уснул как убитый. Проснулся, когда уже был белый день. Во всем доме стояла тишина. Я спустился в столовую, чтобы пройти через нее в сад, и в дверях столкнулся с отцом. Я застыл, удивленный этой встречей, так как был уверен, что он еще спит. Оказалось, что отец вернулся в третьем часу утра и сейчас поднялся лишь для того, чтобы связаться с госпиталем. Мы постояли с минуту, как бы не зная, что делать в этой комнате, залитой зеленым, похожим на подводный светом, проникавшим сюда сквозь завесу выющихся растений. В своем длинном домашнем халате отец казался старше, чем обычно. Бледный, с темными кругами под глазами, он, казалось, еще не вышел из ночи — так был далек его облик от светлого, солнечного дня, уже властвующего на дворе. Отец казался ниже, чем раньше, — но, может быть, это вырос я? В

голове мелькнула мысль, что он на пороге старости, и сердце у меня сжалось от нежности и грусти. Кем он был? Он не создал ничего — не провел ни одной выдающейся операции, не предложил ни одного нового метода лечения, не сделал ни одного открытия; он не был даже известным хирургом. О нем говорили: «хорошие руки», «хороший глаз», но более ничего — он был обычный врач-хирург. Его братья изменяли климат планет, создавали гигантские конструкции в космическом пространстве, оставляли осязаемые, прочные следы своей работы. А он?.. Молча, мимоходом я поцеловал его в небритую щеку и хотел выйти в сад.

Он остановил меня.

— Ты, кажется, хочешь поступить в Институт планирования будущего?

Я подтвердил это.

— Прежде ты хотел получить все, а теперь хочешь стать всем...

На лице отца не было улыбки. Он стоял, ожидая ответа, но я промолчал. Отец вздохнул, но тоже ничего не сказал. Протянул руку, кончиками пальцев слегка коснулся моего плеча и ушел в кабинет. Я остался один, выведенный из душевного равновесия, немного взволнованный, немного злой. Вышел в сад, но мне уже не хотелось слоняться по местам детских игр. Я лег на теплую траву и через минуту перестал думать об отце, подставляя лицо лучам стоявшего в зените над Гренландией искусственного атомного солнца, излучавшего яркий платиновый свет, и солнца настоящего, бледный диск которого поднимался над горизонтом. Мне вдруг припомнился эпизод моего последнего восхождения на Лунс: трос застрял в расщелине скалы, и если бы человек не весил там в шесть раз меньше, чем на Земле...

Какая-то тень проплыла по моему лицу, за ней вторая, третья. К нам кто-то прилетел: вертолеты приземлялись на лужайках в глубине сада. Приподнявшись на локтях, я увидел первых людей, выбиравшихся из машин, а высоко над домом заметил стайку новых машин, сверкающих винтами. Несколько минут спустя с запада прибыли еще десятка два. Опустившись, они зависли над верхушками деревьев. Прибывших становилось все больше, руками они давали знаки вновь прилетающим, некоторые что-то прятали за спиной. Удивляясь этому все сильнее, я встал, а вертолеты все садились на лужайках. Гости толпились как-то беспорядочно, вроде бы нерешительно и наконец направились к дому.

Я настолько опешил, что, когда они приблизились ко мне, вместо ответа на приветствия пробормотал:

— Что... что тут будет?

— Мы прилетели на юбилей, — ответили несколько голосов сразу.

— Что?

— Мы прилетели на пятидесятилетие работы доктора...

— Ты его сын? — спросила низкорослая седая женщина.

Ее волосы в лучах солнца отливали живым серебром. У меня возникло безумное желание нырнуть в кусты, но ноги словно приросли к земле. Значит, сегодня пятидесятилетний юбилей врачебной деятельности отца, а я об этом ничего не знал... А он? Он, пожалуй, помнил...

Около дома собирался народ, по саду по-прежнему проплывали тени идущих на посадку вертолетов. Этот звездный слет продолжался. Теперь машины приземлялись уже за пределами сада, потому что на дорожках и газонах не было места. Отовсюду доносился приглушенный говор. Вдруг открылись двери, и на пороге показался отец. Он инстинктивно запахнул полы халата и замер с непокрытой головой и растрепанными волосами; на щеке у него отпечатался узор ткани — он, вероятно, дремал, прислонившись к спинке кресла. Он стоял, глядя на море голов, а вокруг воцарилась такая тишина, что слышен был замирающий шелест опускающихся машин. Внезапно отец рванулся вниз, как бы собираясь броситься навстречу всем, но на середине лестницы остановился. Он поднял руки и опустил их, приоткрыл рот и ничего не сказал. В толпе началось движение; люди стали подходить к лестнице, протягивать ему цветы — по большей части это были небольшие букеты, — но вскоре он уже не мог удержать их, и новые гости клали цветы на ступеньки. Тут были маки и васильки из австралийских пшеничных заповедников, белые магнолии, африканские лотосы, орхидеи, букетики маргариток, цветущие яблоневые ветки из Антарктиды, где только начиналась весна, и крупные белые розы, которые росли лишь в оранжереях Луны. Тот, кто положил свой дар, молча отодвигался в сторону, и отец провожал его взглядом, в котором иногда мелькало смутное воспоминание. Тогда его губы начинали беззвучно шевелиться, но к нему уже подходил другой человек. Над садом, как тяжелые птицы, взмывали улетающие вертолеты. И по мере того, как толпа уменьшалась, гряда цветов на лестнице росла.

В какой-то момент в глубине сада появились девять стариков в блестящих белых скафандрах; они шли, обнажив се-

дые головы, с трудом справляясь с тяжестью одежды, предназначенной для межпланетных полетов, — они давно отвыкли от скафандров. У меня замерло сердце: на груди у каждого из них был значок пилота с Нептуна. А ведь и правда, отец когда-то, еще до того, как познакомился с матерью, работал врачом на ракетах; правда, об этом он никогда не говорил. Пилоты, подойдя к веранде, отцепили серебряные значки и один за другим ударами ладони вбили их остриями в доску нижней ступеньки, так что доска, потемневшая и вытертая тысячами ног, вдруг засверкала, словно украшенная серебряными гвоздями.

Потом мы остались одни в пустом, залитом солнцем саду. Отец, до сих пор стоявший неподвижно, вдруг вздрогнул и сделал шаг назад. Цветы посыпались из его рук. Найдя опущенную дверь, он скрылся в доме.

А я все вслушивался в шум удаляющихся машин. Через несколько мгновений появилась еще одна, пролетела с мягким шумом над деревьями и приземлилась. Из нее выскочил человек в комбинезоне; быстро оглядевшись вокруг, он пробежал к веранде, бросил что-то на груды цветов и так же быстро вернулся в вертолет.

У меня было отличное зрение, и я издали рассмотрел этот последний подарок: связка красноватых сухих и колючих веток ареозы — единственного цветущего растения на Марсе.

МАРАФОНСКИЙ БЕГ

«Люди славят мудреца за его любовь к ним, однако, если бы они не сказали об этом, мудрец так и не узнал бы, что любит их». Эти слова древнего философа говорят о моем отце лучше, чем любое определение, какое я мог бы придумать. Многие спрашивают себя: «Правильно ли я избрал профессию, счастлив ли я, хорошо ли мне жить?» — и не единожды отвечают: «Да». Отец никогда не задавал себе подобных вопросов: они не приходили ему в голову, и он, наверное, счел бы их такими же бессмысленными, как вопрос: «Живу ли я?»

Его братья служили обществу своими знаниями. Он делал то же, а когда наука оказывалась бессильной и битва за жизнь больного была проиграна, он оставался при умирающем, но уже не как врач, а как страдающий человек. Его братья испытывали то радость успехов, то горечь пораже-

ний. Отец всегда оставался самым собою, и его никогда не покидала тяжесть ответственности — она была для него тем же, что для наших тел — зсмное тяготение, которое заставляет мускулы совершать усилия, постоянно напрягаться, преодолевать тяжесть тела, но без которого жизнь была бы немислимой.

После глубоко врезавшихся мне в память летних каникул я ушел со старшего курса Института кибернетики и занялся медициной. Это новое ршение, принятое с такой же головокружительной быстротой, с какой я принимал предыдущие, было попыткой проникнуть в смысл основных ценностей жизни и хоть немного искупить свою вину перед отцом — попыткой запальчивой и наивной, поскольку я не имел понятия о том, что, собственно, такое профессия врача. Оправдать меня может лишь то, что я окончил медицинский факультет и в то же время не оставил главной своей цели: участвовать в звездной экспедиции.

Годы занятий медициной остепенили меня. От предыдущего периода жизни осталось немного: чертежи и проекты, хранимые не потому, что они могли пригодиться, а для самоуспокоения — что те годы я не потерял совсем уж понапрасну. Бабушка нашла некоторос утешение в том, что хоть я и не стал художником, однако у меня проявился талант, правда, совсем неожиданный: в университете меня стали считать восходящей звездой в беге на длинные дистанции. Я завоевал звание чемпиона континента среди студентов, а к концу занятий — чемпиона Северного полушария.

Получив диплом, я поступил в хирургическую клинику. Когда полгода спустя руководство экспедиции к созвездию Центавра объявило о наборе экипажа, я стал добиваться должности ассистента профессора Шрея, назначенного первым хирургом межзвездного корабля. Тому имелось препятствие: у меня не было профессионального опыта, но, поскольку в экспедицию подбирали людей с разносторонней подготовкой, я рассчитывал, что мои занятия звездоплаванием и кибернетикой получают решающее значение. Когда я выдвинул свою кандидатуру, один из астронавтов сказал мне, что ответа придется ждать долго, — дескать, наплыв желающих очень велик и каждое заявление рассматривается весьма тщательно. «Однако, — тут он улыбнулся, — такой урок терпения может оказаться крайне полезным на будущее, потому что в ракете нам придется много лет ожидать достижения цели...» Он сказал: «Нам придется», и, хотя это был лишь случайный оборот речи, я жил этими словами четыре месяца.

Дома я не находил себе места и надолго уходил в лес. Была осень, деревья с голыми ветками, резко выделявшимися на фоне голубого неба, неподвижно стояли в желтоватых лучах словно постаревшего солнца. Так ходил я целыми часами, пока не наступала ночь и на небосклоне не высыпали звезды; я останавливался, поднимал голову и долго вглядывался в звездное небо. Уже ударил первый мороз, под ногами шуршали сухие листья, отовсюду тянуло холодным терпким запахом гниения, запахом разложения мертвых растений, но ни в одну весну у меня не билось сердце так сильно, как этой поздней осенью в безлистом лесу.

Какими странными путями идет история человечества! Как часто то, что живущим вчера казалось непонятным сплетением запутанных, противоречивых обстоятельств, в которых люди с трудом продвигаются вперед и отступают под воздействием ошибок, их потомкам в перспективе времени представляется очевидной необходимостью, а повороты, подъемы и спуски на пройденном пути становятся такими же понятными, как строки письма, составленные из простых и ясных слов.

Когда-то, много веков назад, задолго до эры звездоплавания, люди считали, что межпланетные путешествия невозможны без промежуточных станций за пределами земной атмосферы — так называемых искусственных спутников. Затем с развитием техники оказалось, что такой взгляд неверен: межпланетное сообщение развивалось в течение семисот лет совершенно независимо от искусственных спутников, на которых размещались лишь астрономические обсерватории и станции регулирования погоды. Однако пришло время, когда — на новом этапе развития — все-таки возникла необходимость создания промежуточных станций. Это произошло, когда человечество созрело для межзвездных полетов. Настало время создавать межзвездный корабль, и оказалось, что его надо строить во внеземном пространстве: его гигантские размеры не позволяли ни стартовать, ни приземляться на нашей планете. Ведь когда-то и крупные океанские корабли не могли входить в небольшие порты и становились на якорь далеко от берега, сообщаясь с портом посредством маленьких судов. Подобно этому и «Гея», первый межзвездный корабль, построенный в межпланетном пространстве на расстоянии 180 000 тысяч километров от Земли, не была рассчитана на то, чтобы приземляться на какой-либо планете. Она должна была лишь снижаться до верхних слоев атмосферы и, плавая в них, вы-

брасывать из себя ракеты связи. Так уже в мое время в безвоздушном пространстве возникла первая верфь, где строили корабли для межзвездных полетов.

За одной из первых фаз постройки звездного корабля мне удалось наблюдать с четвертого искусственного спутника. Я стоял на остекленной смотровой палубе, на вершине металлического корпуса, в толпе любопытных. Ракеты прямого сообщения непрерывно доставляли сюда все новых туристов.

Верфь была покрыта тенью, которую отбрасывала Земля — ее ночное полушарие зияло в небе, словно огромный колодец, наполненный чернотой. Стройку освещали размещенные в пустоте и передвигавшиеся то в одну, то в другую сторону, подобно маятникам, юпитеры; каждый отбрасывал двенадцать лучей, и они сверкали молниями далеко внизу, отражаясь от зеркально отполированных стальных плит, уложенных рядами на корпус корабля. На его поверхности работали автоматы: одни сновали без устали вперед и назад подобно челнокам гигантского ткацкого станка, другие ежеминутно поднимались над корпусом, то вспыхивая в лучах прожекторов, то исчезая во мраке. В бинокль можно было рассмотреть огромные арки и балки конструкций, которые эти маленькис создания легко переносили с места на место — все предметы здесь были невесомыми. Над строительной площадкой вились разноцветные полосы дыма, выбивавшегося из-под сварочных аппаратов. Длинные хвосты цветных искр, свешиваясь по бокам строящегося корабля, собирались в облака, которые лениво тянулись вслед за ракетами, мигающими бортовыми огнями; облака были пронизаны в разных направлениях десятками лучей. В этом буйстве света утрачивали свою яркость и казались бледными звезды, создававшие фон стройки. Вся площадка совершала по отношению к нашему наблюдательному пункту, отстоявшему от нее в тридцати километрах, величественно-медленное вращение, из-за чего рефлекторы, которые поначалу свестили «наверху», под конец оказывались «внизу» — при всей условности этих понятий в пространстве, лишенном силы тяжести.

Прошло одиннадцать месяцев непрерывных работ, и автоматы исчезли: те, что принадлежали к его механической прислуге, вползли внутрь корабля, остальные удалились на одну из своих баз. «Гейя», освобожденная от лессов, двигалась подобно искусственной Луне вокруг Земли — огромная, серебристая, молчаливая. В ее бездонных соплах еще ни разу не сверкнули вспышки атомного огня.

Отец мой любил поэзию, но эта любовь проявлялась довольно своеобразно: он называл стихи «помощью», говорил, что помощь нужна не всегда, и потому очень редко читал любимых поэтов. Лишь иногда ночью в окне его комнаты загорался свет: отец брался за томик стихов. Такой же помощью для меня в течение многих месяцев ожидания был альпинизм. Когда мне становилось очень не по себе, я просил друзей заменить меня в клинике и совершал в одиночку восхождения на труднодоступные горные вершины.

И вдруг, как-то неожиданно, над моей головой разразился ливень событий: я получил от первого астрогатора экспедиции извещение, что включен в состав экипажа, увидел свое имя в списке участников летних Олимпийских игр и... познакомился с Анной.

У нее были светлые умные глаза, выразительные, чуть полноватые губы. Она изучала геологию, любила музыку и старые книги — больше я о ней почти ничего не знал. Не видя ее, я был уверен, что очень ее люблю; когда мы встречались, я терял эту уверенность. Сознательно и бессознательно мы причиняли друг другу мелкие, но чувствительные огорчения, между нами непрерывно происходили недоразумения — сегодня трагические, завтра пустяковые. Но я страдал от них, а страдания — об этом я знал из книг — всегда сопутствуют большому чувству. Так omkring, хотя логически точным путем я приходил к выводу, что люблю Анну. А она? Я не знал об этом ничего определенного. Когда мы бывали вместе, ее взгляд часто уходил куда-то вдаль, открытый и отчужденный, словно она веряла его чему-то, мне не доступному. Это сердило меня. Когда она была уступчивой, становился покорным и я. Наши отношения были какими-то туманными, полными недоумков, предположений и ожиданий, невыносимыми и вместе с тем прекрасными.

Все это происходило весной. Мы ходили по садам, слушали, как птицы учатся петь песни, сидели на скамьях у кустов, осыпанных зелеными почками; я рвал их, вертел в пальцах и бессмысленно крошил, как будто собирался придать еще неразвернувшимся, склеенным почкам образ будущих цветов. Нам больше всего не хватало единственного, что позволило бы развиться нашим чувствам, — времени. Только время могло все прояснить, связать нас или развести. Но у нас его не было. Срок отлета приближался. Я не раз собирался окончательно поговорить с Анной и каждый раз откладывал этот разговор.

А тут еще близились Олимпийские игры. То и другое гнало от меня сон. Странное сочетание? Может быть, но так уж складывалась моя жизнь! Я знал, что мой первый марафонский бег на Олимпийских играх станет последним: возвратившись из экспедиции, я буду слишком стар. Победить перед отлетом — каким бы это было великолепным прощанием с Землей! Отправиться к звездам с лавровым венком на челе!

В свои двадцать пять лет я был склонен к философским обобщениям и сказал себе: вот у тебя есть все, чего ты хотел — диплом об образовании, участие в космической экспедиции, олимпийские соревнования и любовь, — и все же ты не счастлив. Действительно, какое мудрое изречение: «Дай человеку все, чего он желает, и ты погубишь его!»

В таком настроении я приходил на тренировки. Бегал по круговой дорожке стадиона и по поросшим травами холмам побережья, по широким аллеям университетского парка, всегда один, с секундомером в руке, под палящим июньским солнцем, в сопровождении непрерывного шума океана. Я тренировался только по утрам; пробежав свои двадцать километров, мчался в отборочный лагерь, где уже месяц жили будущие участники экспедиции. Это был городок, расположенный среди старых кедровых лесов у подножия горного хребта Каракорум. Городок назывался Кериам, однако к нему пристало неизвестно кем пущенное в обращение название «Чистилище», поскольку для его обитателей лагерь был промежуточным пунктом между Землей и палубой ракеты.

Нелегко описать атмосферу, царившую в Чистилище. Много времени уходило на подготовительные занятия и лекции по самым разнообразным отраслям знания. Целью их была всесторонняя подготовка участников экспедиции к предстоящему путешествию. Одновременно проводилось обследование будущих звездоплавателей: физиологи, биологи и врачи в ослепительно белых халатах сновали по лабораториям, из которых вырывался свист вращающихся скоростных кабин. Время от времени среди сияющих лиц попадались и опечаленные: это врачи вынесли кому-то безапелляционный приговор, закрывавший бедняге дорогу к звездам.

В то же время земная жизнь настойчиво стучалась в ворота городка. Хотя многие отправлялись в экспедицию вместе с женами и детьми, почти у каждого на Земле оставался кто-то близкий, и, пожалуй, не было мгновения, в котором бы радость и ожидание приближавшихся событий не смешивались с горечью разлуки.

Мне приходилось делить время между стадионом и Чистилищем, поэтому я не встречался с Анной несколько дней. Лишь вырвав минутку перед сном, наносил ей телезит. Во время последнего свидания совершенно случайно и неожиданно дело дошло до решительного объяснения. Как я и опасался, Анна заявила, что ее специальность в экспедиции не нужна и что она может работать только на Земле. Я стал говорить о силе чувства, сокрушающего все препятствия. В ответ на это она спросила: если бы я был в ее положении, отказался бы ради нее от медицины? Что мог я ответить? Чувствуя, что все рушится, что Анна потеряна для меня, я стал нести какую-то чушь, упрекать ее. Если она действительно любит меня, говорил я, она бы переменяла профессию и вообще перестала работать... на некоторое время, поспешно добавил я, замстив, как побледнела Анна.

— Ты хотел причинить мне боль? — сказала она. — Тебе это удалось.

Есть такое старое выражение: хочется провалиться сквозь землю. Во время телезита это можно осуществить почти буквально. Вбешенный и пристыженный, я нажал выключатель, и комната Анны, ее лицо, глаза, голос — все исчезло, как по волшебству. Я твердо решил больше не видеться с ней, но уже на другой день нашел предлог — извиниться за вчерашнее поведение. Она не сердилась на меня. Мы уговорились встретиться на следующий день после состязаний. Надеялся ли я в глубине души, что она переменит решение? Честно говоря, в какие-то мгновения — да. Пока же я вернулся на беговую дорожку и тренировался в одиночестве. Должен сознаться, что иногда я опускал веки, ожидая, что мне привидится Анна, но этого не случилось. Как обычно, я бегал с секундомером, и, когда движение его стрелки совпадало с ударами моего пульса, возникало впечатление, что мои усилия толкают вперед время, иначе оно остановилось бы, и что, изо всех сил стремясь к финишу, я подгоняю время к трем великим дням: двадцатого июля мне предстояло принять участие в марафонском беге, двадцать первого утром увидеться с Анной, а вечером двадцать второго подняться на палубу ракеты.

Я все больше интересовался возможными победителями в беге. Самыми страшными из моих соперников были Гергардт, Мегилла и Эль Туни. Я не мог наглядеться на Мегиллу: из-за высокого роста его легкий шаг был шире моего почти на пять сантиметров. У Мегиллы был излюбленный прием: между двадцатым и тридцатым километром он обыч-

но отрывался от своих соперников и, не оглядываясь, устремлялся вперед легкими длинными бросками, как бы плыл в воздухе, становясь все более невесомым. Как-то под конец тренировок я один раз бсжал с ним полную дистанцию, и, хотя я выжал из себя все, он пришел к финишу, обогнав меня на шестьсот метров. Помню, как в тот вечер, принимая ванну, я мрачно смотрел на свои ноги, ощупывая глазами узлы мускулов на бедрах и икрах, подобно музыканту, который доискивается, в чем недостатки и скрытые возможности его инструмента. У меня были совсем неплохие ноги, но они не могли сравниться с ногами Мегиллы.

Приближался день старта. Друзья не скрывали от меня своих сомнений: утешение, подобное обману, у нас было не в почете. В ночь накануне состязания меня постигла самая большая неудача, какая может грозить бегуну: то ли выявилось скрытое до той поры беспокойство, то ли в последние дни я перетренировался, но спал я очень плохо, поднялся рано, чувствуя себя усталым и измученным сще до начала состязаний! Отказаться от участия в них мне и в голову не приходило. Я поехал на стадион, повторяя себе, что надо научиться проигрывать.

Стадион представлял собой ровную как стол, очень большую равнину. Солнце над ней затмевали десятки тысяч вертолетов. Распорядители на маленьких быстроходных красных самолетах показывали места, где вертолеты могли неподвижно зависнуть над землей. Наконец все успокоились; над стадионом слышался лишь легкий гул многих тысяч вращающихся винтов, а по обеим сторонам беговой дорожки в воздухе неподвижно висела разноцветная масса вертолетов, образовавших правильный чстырехугольник. Над овальным полем стадиона проносились лишь одноместные самолеты судей и контролеров. И вот из укрытого деревьями здания стали выходить участники состязания. На этот день метеотехникам была заказана нежаркая погода; облака должны были закрыть трассу от солнца. За пределами стадиона трасса пересекала, извиваясь, обширные парки и сады института, тянулась к приморскому пляжу (это был самый трудный участок) и вела назад по восемнадцатикилометровой аллее, окаймленной по обеим сторонам пальмами и итальянскими каштанами.

В состязании участвовали более восьмидесяти спортсменов. Мы стартовали тремя шеренгами; на длинной дистанции это, разумеется, не имело значения. Когда мы рванулись вперед, вертолеты с обеих сторон беговой дорожки

одновременно взвыли, дрогнули и двинулись вслед за нами до границы, обозначенной двумя рядами красных воздушных шаров. Дальше нас сопровождали лишь контрольные и санитарные машины.

Старое правило гласит: тот, кто ведет марафонский бег на первой половине дистанции, в итоге проигрывает. До десятого километра участники соревнования бежали тесно сбившимися группами, и все происходило почти так, как я предполагал: возникла ведущая группа, в которой было около восемнадцати спортсменов; разрыв между этой группой и остальными медленно увеличивался.

Я бежал одним из последних в головной группе, стараясь следить за тремя спортсменами из нашей школы, о которых я говорил раньше, и, кроме того, за Джафаром и Элешем, воспитанниками других школ. Худощавый, светлокожий Джафар был похож на Мегиллу, хотя ему недоставало собранности этого бегуна; Элеш, плотный, черноглазый, бежал, как машина, равномерно выбрасывая локти. Я решил держаться за этой пятеркой между двадцатым и тридцатым километрами, потом вырваться вперед и бежать в полную силу.

Я вспомнил о своих тренировках на приморских холмах. Обычно я бежал на солнцепеке; солнце, казалось, прожигало насквозь прикрытую белой шапочкой голову. Во время бега я совсем не пил, и пот, все более густой и соленый, заливал мне глаза. Тогда я говорил себе: «Вот тебе, вот тебе, мало тебе еще?» — и, преодолевая сравнительно медленно ровные участки, ускорял бег, когда дорога шла в гору, словно ненавидел себя и хотел измучить свое тело. Эти тренировки тогда не прибавили мне скорости, но добавили выносливости, и она оказалась крайне необходимой в критический день. Метеотехники, как обычно, рассчитали хорошо, а выполнили значительно хуже; до одиннадцати часов, когда мы миновали километровую отметку с цифрой «19», по голубому небу плыли большие кучевые облака, но, когда вытянувшаяся цепочка бегунов начала спускаться по широкому виражу дороги к приморскому пляжу, где не было ни кусочка тени, облака поредели. Я бежал то последним, то предпоследним в головной группе и чувствовал себя вполне нормально, хотя плохо спал ночь. Временами, однако, у меня возникало ощущение, будто мои ноги преодолевают среду более густую, чем воздух. Я старался бежать по возможности шире и плавнее. Сердце и легкие работали безотказно, весь мир немного покачивался в такт равномерному ритму бега, пульс был

правильный, небыстрый и полный, но его толчки все больше отдавались в голове. Я дышал носом, закусив в зубах платок.

Когда последнее большое облако скрылось за горизонтом, солнце обрушило на нас всю мощь своих отвесных лучей, и уже через пять минут в головной группе произошли драматические перемены. Первым отстал Элеш; казалось, его плотная фигура отступила под прикрытие бегущих рядом спортсменов. Вскоре после того, как он поравнялся со мной, я потерял его из виду. Затем я сосредоточил внимание на Гергардте и Эль Туни.

Эль Туни, смуглый, великолепно сложенный спортсмен с широкой и с виду плоской, но на самом деле емкой грудью настоящего стайера, последние восемь километров шел впереди. Он и сейчас держался впереди, однако по тем трудно уловимым, но очевидным признакам, которые мне удалось заметить, я понял, что лидерство стоит ему с каждым шагом все большего напряжения, — он отказался от экономии усилий, а это было началом конца. Вдруг желтое пятно его майки как бы заколебалось, а затем начало отодвигаться назад, пропуская вперед цепочку бегунов, сохранявших прежний темп. Джафар шел позади, я не мог его видеть, а оглядываться не решался, боясь выбиться из ритма. Солнце палило все сильнее. Я чувствовал, как оно обжигает плечи и бедра, но невыносимый жар приносил мне и утешение. Я знал: то, что плохо для меня, еще хуже для моих соперников.

Трасса шла мимо песчаных холмов и около последнего из них, самого большого и пологого, описывала широкую дугу. Тут, по раскаленному добела песку, над которым воздух переливался и смазывал отдаленную линию горизонта, я начал пробиваться к центру головной группы. На вершине холма кончался двадцать первый километр. Я добежал до его отметки девятым; до меня доносилось тяжелое дыхание соперников. Несколько секунд я шел рядом с Джафаром. Он делал судорожные вдохи, широко раскрывая рот. Мне удалось обойти его, и я даже удивился тому, как это оказалось легко.

Дорога уходила в сторону, приближалась длинная аллея, затененная ветвистыми каштанами. Все, словно сговорившись, одновременно усилили темп. Для меня это было опасно. Я боялся, что такой убийственной скорости не смогу долго выдержать. Однако надо было бежать — под тенистыми деревьями у меня было меньше шансов, чем на открытом месте. Я выплюнул в руку платок, сделал резкий вдох и ус-

корил бег. Как это легко сказать! Хотя ноги стали двигаться быстрее, под сердцем зародилась слабая боль. «И не думай сбавлять скорость», — приказал я себе. Боль усиливалась и словно бы разливалась по телу. Мы уже были между деревьями. Я поднял голову, так было легче бежать. Эта перемена дала по крайней мере на минуту иллюзию облегчения. Над нами проплывали целые этажи холодной зелени; сверкающие заливы голубизны вклинивались между кронами пальм. Неподвижность и тишина, казалось, затаились в лиственных массивах. Дорога снова пошла под гору.

Кончился двадцать шестой километр. Я бежал то восьмым, то девятым. За моей спиной разыгрывалась борьба, о которой я ничего не знал; в нагретом воздухе до меня доносились лишь ритмичный топот, удары подошв о землю и судорожное дыхание. Иногда с вершины каштана медленно слетал листок да птица срывалась с ветки и неуклюже хлопала крыльями над головами бегунов. Сонный, жаркий покой этих мест, дышащий полуденной тишиной, составлял поразительный контраст с молчаливой яростью нашей борьбы.

Как прошли шесть следующих километров, я почти не помню, настолько мое внимание было обращено внутрь себя; я иступленно умирал бунтующее тело, в котором то здесь, то там возникала острая боль. Когда я пришел в себя, впереди меня бежали трое: Гергардт, какой-то совсем незнакомый блондин в голубой майке и лсгногий Мегилла. Блондин постепенно, сантиметр за сантиметром отодвигался назад. Когда он поравнялся со мной, я услышал судорожный свист, вырывавшийся из его легких. Он сделал рывок, но это был жест отчаяния; вскоре он отказался от борьбы. Я не обращал внимания ни на это, ни на то, что вообще происходило вокруг, потому что уже не хватало сил, чтобы автоматически удерживать темп. Чем слабее становились мускулы, тем большее психическое усилие требовалось мне.

Так километр уходил за километром, дорога разматывалась пологими извилинами, холмы лсниво передвигались вдаль, закрывали друг друга и отступали назад под неустанный топот ног. Передо мной в десяти—двенадцати метрах бежал Гергардт, а далеко впереди то появлялась на солнце, то уходила в тень белая майка Мегиллы.

Гергардт несколько раз оглянулся, мне почудилось, что на его лице мелькнуло что-то похожее на удивление, однако это, вероятно, мне просто показалось: что может выражать на сороковом километре марафонского бега лицо человека, залитое потом, засыхающим на коже соленой пыльной мас-

кой, лицо человека с измученным сердцем и разрывающимися легкими?

Когда Гергардт снова оглянулся, мне показалось, что он улыбнулся, как бы говоря: «Погоди, ты сейчас увидишь, как я могу бежать!» И вдруг все вокруг потемнело. Было такое ощущение, будто на ресницах осела пыль. Это было, вероятно, переутомление или перебой в питании сетчатки, но я потерял какую-то долю секунды, безрезультатно пытаюсь стереть туман с глаз. Меня охватила ярость. «Ладно, — подумал я, — пусть ослепну, но буду бежать дальше».

Когда я открыл глаза, Гергардта уже не было. Огромные пальмы отодвигались назад, подошвы хлопали по беговой дорожке, вокруг было пусто и безлюдно, и лишь в ста метрах впереди белела майка Мегиллы, который, казалось, не бежал, а летел совсем низко над землей, взмахивая жилистыми руками. Он по-прежнему был далеко и удерживал разделявший нас интервал с таким холодным равнодушием, с каким отодвигался горизонт. Когда я попытался ускорить бег, он сделал то же, не повернув головы. Топот далеко разносился в чистом воздухе.

Вдруг я перестал ощущать ноги. Пришлось посмотреть вниз, чтобы убедиться, что они по-прежнему двигаются. Воздух, проникавший в легкие сквозь широко раскрытый рот, казалось, резал горло, как раскаленный нож. И еще я чувствовал сердце, вернее, судорожную, все возрастающую боль в груди. Перед глазами прыгали какие-то фигуры и круги. Впереди мелькало и раскачивалось белое пятно; я не знал, я уже не соображал, что это майка Мегиллы, — я не мог думать, словно и мой мозг вместе со всеми мускулами был крепко стиснут, как кулак, занесенный для удара. Мне казалось, что я уже не бегу, а еду, оседлав какого-то зверя, и все его понукаю, понукаю безжалостно, и бессловесно проклиная его за медлительность; я ненавидел и его, и ту жестокую боль, которая грызла меня изнутри.

Тут послышался пронзительный, высокий звук: фанфары у входа на стадион возвестили о приближении первых бегунов. Меня словно ударили кнутом. На какое-то мгновение я прозрел. Шагах в десяти-одиннадцати передо мной бежал Мегилла.

Майка у него взмокла, он качался, как пьяный, и лишь его ноги неутомимо отбивали такт. Я наклонился и снова рванулся вперед. Под пилонами у входа на стадион Мегилла оглянулся, и я успел заметить выражение ужаса на его лице. Он споткнулся и сбился с шага. У меня снова потемнело в

глазах; показалось, что вены на висках сейчас взорвутся. Мутное белесое пятно впереди разрасталось. Я уже ощущал тепло его разгоряченного тела. Грудь в грудь мы вбежали на стадион. Тогда с неба ударил железный гром, словно оно разверзлось и возвестило трубными звуками Страшный Суд, — это все, кто сидел в переполненных до отказа кабинках вертолетов, пустили в ход сирены, аварийные свистки и открыли глушители моторов. Я продолжал бег, нырнув в этот адский вой, словно на дно океана. Казалось, что кто-то раскаленной пятерней выкручивает мое тело, вцепившись в мускулы ног, и заставляет их сокращаться все быстрее. Мне хотелось кричать от боли и просить защиты от того, кто так жестоко терзал меня; вдруг что-то закрутилось вокруг моей головы, вспыхнули прожекторы, и помутневшими глазами я увидел белую ленту. Подняв руки, я рванулся к ней, и, когда она осталась за спиной, ноги сами понесли меня дальше. Я продолжал бежать. С обеих сторон ко мне подскочили какие-то расплывчатые фигуры, я увидел какие-то крылья — это были трепещущие на ветру одеяла, которыми меня обмахивали. Тогда я понял, что пришел первым, и, потеряв сознание, рухнул, будто кто-то подсек мне ноги.

Много позже, придя в себя в помещении «Скорой медицинской помощи», я узнал, что именно поразило на финише Мегиллу до такой степени, что он сбился с шага: это было мое лицо.

ПРОЩАНИЕ С ЗЕМЛЕЙ

После финиша я был как во сне: видел толпы людей и залитое потом лицо целовавшего меня Мегиллы, чувствовал объятия, пожатия рук, слышал возгласы — но так, будто меня это совершенно не касалось. Потом сидел высоко на трибуне и смотрел вниз на стадион; что происходило там, не знаю. Вечером меня окружила группа студентов-болельщиков; они улетали в Азию, и я не помню, как оказался вместе с ними в ракете; возможно, сам вызвался проводить их. Потом начался длинный, бессвязный разговор, приходилось отвечать на несколько вопросов сразу, было много шума и смеха, ракета приземлялась и вновь отправлялась в полет, менялись спутники, а я продолжал оставаться в центре всеобщего внимания.

Вдруг я заметил, что в кабине осталось всего четыре пассажира. Я встряхнулся, словно прогоняя сон. Заговорили ре-

продукторы: ракета шла на посадку. Мы подходили к небольшой сибирской станции Калете. Растерянный, не понимая, как я дал завезти себя сюда, на край света, я быстро вышел на пустой перрон; вместе со мной на этой станции сошел и молодой астронавт, с которым я познакомился в пути. Он посмотрел на часы, подал мне руку и сказал, что отправляется завтра на Фобос, а сейчас хочет попрощаться с другом, который живет неподалеку, и был таков. Последнее слово, которое он произнес — оно почему-то запомнилось, — было «прощай». И я остался один, не зная, что делать на маленькой, безлюдной станции в эти тихие теплые сумерки, наполненные запахом мокрых листьев — только что перестал идти дождь; я не знал, что делать здесь, среди темных полей, на которые надвигалась ночь.

И тогда я совершил еще один необдуманный поступок. Я не хотел этой ночи — нет, не боялся ее, просто не хотел — и, поддавшись своему настроению, спустился на нижний этаж вокзала, где помещалась станция наземных сообщений. Несколько минут ходил взад и вперед по пустому перрону, бессмысленно скользя взглядом по зеркальным плитам стен, в которых смутно отражалась моя фигура. Вдруг рука случайно нащупала в кармане какой-то маленький, гибкий и шелестящий предмет: это была веточка из моего олимпийского венка.

С низким, пронзительным воем из туннеля выскочил аэропоезд, сверкнул сталью вагонов, взвыл тормозами и замер на месте. Двадцать секунд спустя я ехал на запад, догоняя солнце, скрывшееся недавно за горизонтом. Вагон еле заметно покачивался и, набирая скорость, обгонял вращение Земли. В купе, кроме меня, не было ни души, и я включил радио. После заключительной фразы вечернего выпуска последних известий послышались первые величественные звуки Прощальной симфонии Крескаты.

— Да что же это все заладили с прощанием?! — взъярился я и выключил радио.

Поезд уже не покачивался и не вибрировал, а мчался с огромной скоростью, поглощая пространство. Неожиданно колея вынырнула на поверхность земли; свет за окнами стал ярче, живее: я догонял уходивший на запад день. В тишине, не нарушаемой никакими звуками, всплыли в сознании четыре медленных такта вступления Прощальной симфонии. Я встал и начал ходить между рядами кресел. В жемчужных глазках настенных информаторов поминутно загорались названия станций, которые мы проезжали, потом вновь стало

темно: поезд достиг берега Европы и, направляясь в Гренландию, нырнул в глубь проложенного под Атлантическим океаном огромного туннеля.

Когда в информаторах цепочками светящихся букв стали появляться первые знакомые названия, я вдруг подумал, что надо увидаться с отцом. Конечно, именно за этим я и ехал сюда! Это было как откровение. Я справился о самом удобном маршруте и вскоре вышел на станции, расположенной в открытом поле, а поезд нырнул в прозрачную трубу, которая уменьшалась, уходя вдаль, и на востоке скрывалась во мраке, в то время как на западе ее еще освещал багряный отблеск зари. Из нее доносился удаляющийся, слабеющий высокий звук, подобный тому, который издает струна; этот звук вновь напомнил мне симфонию. Я пожал плечами.

По другую сторону станции на лужайке возле перрона меня уже ждал вертолет, вызванный из аэропоезда. Высокая трава была покрыта росой, и я замочил брюки по самые колени. Ругаясь про себя, сел в кабину и полетел прямо домой. Когда машина опускалась на площадку в нашем саду, день, который я нагнал в неустанном беге на запад, вновь начал угасать, но я не обратил на это внимания. Даже не хлопнув за собой дверцу, бросился в дом. В нем было пусто. И снова разговор с информатором (сегодня я, наверное, обречен беседовать только с автоматами! — подумал я с горечью). Оказалось, что бабушка и мама в городе, а отец на съезде врачей в Антарктиде. Я решил немедленно найти его. Вертолет, конечно, был слишком медленным средством сообщения, поэтому я отправился на ракетный терминал в северном предместье Меории. Уже издали я увидел его купол, сверкавший в последних лучах заходящего солнца. Оставив вертолет на верхней платформе терминала, я направился к эскалаторам; рядом с ними на стеклянном глобусе информатора мелькали цветные светлячки. Прямого сообщения с Антарктидой в ближайшие минуты не было, и мне приходилось лететь на Третий искусственный спутник и там пересесть на ракету, отправлявшуюся на Южный полюс. Я встал на лестницу, спускавшуюся вниз, к перронам. На стенах первого яруса светились надписи:

ТАЙМЫР — КАМЧАТКА — НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ —
четыре минуты

БРАЗИЛИЯ — ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ —
семь минут

Я сообразил, что мог бы лететь в Патагонию, а там воспользоваться местным сообщением с Антарктидой, но не тронулся с места. Эскалатор продолжал двигаться вниз, я миновал второй, третий и четвертый ярусы. Людей становилось все больше. Сверкнула надпись:

МАЛАЙСКИЙ АРХИПЕЛАГ — ОТПРАВЛЕНИЕ

Одновременно послышался приглушенный шум, он сразу же стих, откуда-то сверху донесся свист ракеты,брякнули захлопнувшиеся люки, вдали послышался голос, объявлявший: «Ракета прямого сообщения Марс — Деймос — Земля — опоздание на восемь секунд». За прозрачными перегородками двигались непрерывным потоком люди, а я спускался все ниже. Вот уже белый свет, заливавший перроны местного сообщения Земли, сменился голубым: мы были на перроне, откуда отправлялись ракеты на спутники. Вместе с толпой, спешившей на посадку, я направился к ракете, но где-то по пути растерял всю свою энергию — она словно исчезла с последним лучом дневного света, проникавшим в глубь зала сквозь стеклянные стены.

Вот прилечу на Антарктиду, разыщу место, где проходит съезд, и вызову отца из зала; он обрадуется и удивится, спросит, не нужно ли мне чего-нибудь, — что ответить ему? Сказать, что мне было необходимо видеть его? Но для этого не нужно лететь: существуют же телесвидетели! Сказать, что хотел прикоснуться к его темному костюму, почувствовать тепло его рук? Но это придется говорить в каком-нибудь коридоре, из-за дверей будет доноситься голос докладчика, отец из всех сил будет делать вид, что не спешит вернуться в зал, а я буду стоять и молча смотреть на него. Что мне ему сказать? Ведь «Гейя» отправляется в полет лишь через десять с лишним дней, и поэтому эта спешка, эти прыжки с ракеты на ракету, которые я проделывал сегодня ночью, вообще лишены смысла.

Итак, решено. Отказываясь от намерения лететь в Антарктиду, я поступал в согласии со здравым смыслом. Но когда я стал медленно удаляться от площадки, откуда отправлялись ракеты, меня охватила глубокая грусть. Я оперся о балюстраду и смотрел, как зеленые сигнальные огоньки выскакивают на телефорах, как набирают скорость ракеты и ярко-красные буквы на их боках сливаются в мелькающие полосы, как их корпуса с пронзительным свистом втягиваются в стартовую трубу и на полной скорости вылетают из нее на высоте девятнадцати этажей, оставляя позади полосы

огня. Секунда — и ракета исчезла в темнеющем небе. В лицо мне повесело душным запахом нагретого металла. Потом гул умолк, и я остался в одиночестве. Вдоль перронов у входа на эскалаторы ярко горели указатели, за стеклянными стенами все больше сгущались сумерки — вторые сумерки для меня за сегодняшний день.

На свободные пути подавались межпланетные ракеты: длинные, обтекаемые, похожие на рыб с приплюснутыми головами, а в глубине зала засверкали надписи:

ЛУНА: МОРЕ ДОЖДЕЙ — АПЕННИНЫ — МОРЕ ОБЛАКОВ —
ЮЖНЫЙ ПОЛЮС — четыре минуты

Нахлынул новый поток людей. Несколько девушек бежали по медленно двигавшейся вниз лестнице; у той, что была позади, раскрылась сумочка, и разноцветные безделушки рассыпались по ступенькам. Девушка сделала отчаянный жест, как бы намереваясь вернуться, но подружки закричали на нее, она махнула рукой и побежала к ракете. Минуту спустя в телефорах вспыхнул зеленый свет, а в воздухе послышался гул: ракетный поезд на Луну отправился в путь. Платформы почти совсем опустели. Блуждая взглядом по залу, я вздрогнул, увидев дату, светившуюся над глобусом информатора. Ведь сегодня Праздник уничтожения границ! Потому-то мама и отправилась в город! Любопытно, надела ли бабушка свое новое платье или, всполошившись, по обыкновению, в последнюю минуту оделась в будничное фиолетовое, которое носит каждый день? Видели ли они марафонский бег? Я шел к выходу и думал об этом, пока не задел ногой о какой-то предмет. Это был шарик, светло-золотистый с голубыми крапинками, — его потеряла одна из девушек, улетевших на Луну. Мне стало жаль этот шарик, сиротливо лежавший в огромном зале, наполненном отголосками непрерывного движения. Я спрятал его в карман, и лавровая ветка напомнила о себе мягким шелестом листьев. У самого выхода я увидел человека. Презрев кресла, он вытянул ноги прямо на ступеньках, рядом с большим свертком, и, скрестив руки на груди, громко и фальшиво насвистывал Прощальную симфонию.

«Пришло же чудачу в голову давать здесь концерт!» — подумал я. Наши взгляды встретились, и мы одновременно вскрикнули от удивления: это был Пеутан, мой коллега по занятиям кибернетикой. Началась бессвязная беседа; мы дергали друг друга за рукава, то приближались, то отступали, хлопали друг друга по плечам и непрерывно повторяли:

«А помнишь, как профессор?...», «А помнишь?...», «А помнишь?..»

— Ну и сюрприз! — сказал я наконец. — Однако, позовь, что ты тут делаешь в такую пору, да еще в праздник?

Он торжественно рассмеялся.

— Жду Ниту. Она сегодня возвращается. Меньше чем через час будет здесь. Я уже поговорил с ней, знаешь?

Нита была его девушка. Она окончила занятия год назад и проходила шестимесячную практику на звездоплавательской станции на Титане, одной из самых отдаленных во всей Солнечной системе.

— Очень рад, — сказал я, чувствуя, что эти слова никак не соответствуют действительности.

Веселое настроение, вызванное неожиданной встречей, сразу покинуло меня. Пеутан этого совсем не заметил.

— У меня для нее сюрприз. — Он легонько подтолкнул ногой сверток. — Это Ниагара, ее кот. Он родился как раз в день ее отъезда. Но пока что успел подрасти. Чтобы не удрал, пришлось упрятать его в коробку.

— Так ты взял с собой на свидание кота? — сказал я, с трудом подавляя раздражение. — На твоём месте я пришел бы с цветами.

— Там есть и цветы. — Пеутан вновь толкнул ногой сверток; в ответ раздалось нервное мяуканье. — Ну, а ты-то зачем здесь, олимпийский победитель? Ты себе не представляешь, как мы все орали, когда ты финишировал, хотя и жалели, что выступаешь не от нашей команды. Ну-ка, вернись на свет, дай посмотреть на тебя, ведь я...

Его тираду прервал возглас удивления, пререшедший в протяжный свист.

— А это что у тебя? Так ты на Центавра летишь? Звезды покорять? Марафонский победитель! Врач! Ах ты, такой-сякой! И ни единым словечком не обмолвился!

Осторожно, словно это была очень хрупкая вещь, он дотронулся до маленькой белой эмблемы «Гей», приколотой к моей куртке. Теперь полагалось рассказать все в подробностях, но этого я не мог и лишь обронил:

— Завидуешь?

— Еще как! — выпалил он и коротко засмеялся.

— Знаешь, я тебе тоже завидую! — вырвалось у меня.

Я сказал это таким тоном, что Пеутан ни о чем больше не спрашивал. Несколько секунд мы молча глядели друг на друга, наконец он протянул руку и как-то торжественно пожал мою.

— Ну что ж, простимся, пожалуй. Будешь наносить нам телезидиты?

— Конечно, пока будет возможно.

— Смотри, не забывай!

Мы еще раз взглянули друг другу в глаза, и я двинулся к выходу. Воздух снова наполнился шумом и свистом стартовой ракеты, а когда шум утих, далеко позади послышалось насвистывание Пеутана.

От вокзала в разные стороны расходились ярусы движущихся тротуаров. Я выбрал тот, что вел к парку на берегу реки, и, опсршись о поручни, смотрел на проплывавшую мимо панораму большого города. В широких аллеях сверкали окнами небоскребы, окруженные кольцами садов. На фоне ярко освещенных белых стен резко выделялись черные, как уголь, ветки дсревьев. Внизу расстилались улицы — гладкие, широкие, прозрачные, как лед, с пульсирующей под землей сетью туннелей. Каждую площадь, каждую улицу наполняли стремительно мчавшиеся машины, сливавшиеся в сплошные многоцветные полосы. Все это напоминало кровообращение в сосудах гигантского организма. Свет, проникавший из хрустальных подземелий города, смешивался с водопадом красок, изливавшимся сверху. Золотые и фиолетовые фейерверки реклам взлетали ввысь по стенам, на самых верхних этажах алмазными огнями сверкали вывески. Люди выходили из магазинов, нагруженные свертками, вскакивали в ожидающие их вертолеты, и те взлетали в лучах света и зависали у разных этажей домов подобно пчелам, клубящимся у гигантского улья. На перекрестках воздушных магистралей стремительно мигали телефоры, под матово-зеленой поверхностью улиц проносились лавины поездов, всюду царила возбужденно-торопливая атмосфера праздничного вечера. А я плыл сквозь этот бурлящий поток, невозмутимый, безучастный, равнодушно наблюдая, как сжимавшие перила руки окрашиваются попеременно в желто-лимонный, голубой или пурпурный цвета, будто ненароком погружаясь в кровь.

Через некоторое время уличные фонари стали встречаться реже, движение сократилось, вместо гигантских башен появились дома, затем — домики. Зато все обширнее становились сады; наконец движущийся тротуар кончился. Оставив далеко позади зеленоватый фонарь его конечной станции, я пошел вперед, с удовольствием ощущая под ногами мягкую влажную землю. За воротами парка меня окружили деревья. В центре города при ярком свете уличного освеще-

ния казалось, что уже наступила глубокая ночь. Теперь я увидел темно-синее, но еще беззвездное небо. На западе догорала, остывающая, красноватая заря, припорошенная серебристой мглой. Был час, когда в садах, выбрав места поукромнее, сидят на скамейках пары и шепчут друг другу слова, которых никто в мире не знает. Ведь если даже ты сам их говоришь не раз, содержание таких бесед странным образом улстучивается из памяти — незаметно, как испаряется эфир. После этого остается лишь одурманивающий сладковато-горький осадок, воспоминание о наполнявшем душу взгляде больших темных глаз, широко раскрытых, совсем рядом с твоим лицом, да о шепоте, который, кроме аромата дыхания и тона слов, не значит ничего — подобно музыке; но ведь музыка, даже неслышимая, может выразить все, что угодно.

Я шел через парк. Вдали над черневшими во мраке деревьями время от времени возникали сверкающие силуэты высотных домов. По аллеям гуляли пары, усаживались на скамейках вдали от ламп, пылающих среди ветвей, прижимались друг к другу, а я шагал мимо, отводя взгляд и сжимая кулаки в карманах, как два тяжелых камня. Я прошел через весь парк и вышел на огромную, пустынную набережную, украшенную ожерельями многочисленных фонарей, отражавшихся в черной воде. В голове вновь зазвучали высокие ноты все тех же четырех тактов вступления симфонии Крескаты.

Я остановился у берега. Река описывала широкую дугу, окаймляя залитый огнями город; внизу подо мной неслышно текла вода, гладкая, молчаливая, покачивая с бесконечной нежностью отражения фонарей. Я вынул руку из кармана, раскрыл ладонь. Из нее выпал смятый лавровый листок.

— Какой же я дурак! — произнес я вслух и пошел дальше, ускоряя шаг.

В нескольких сотнях метров отсюда, у излучины реки, высился памятник Неизвестному астронавту. У этой возвышавшейся над городом старинной скульптуры обычно заканчивались мои мальчишеские прогулки. Почти наугад я направился к эскалатору, он поднимался к подножию скульптуры, установленной на огромной скале. Я встал на первую ступеньку, и он беззвучно тронулся, унося меня вверх; город плавно и решительно уходил все дальше из-под ног, вырастая на горизонте цепочкой светящихся домов-башен. Эскалатор остановился; я стоял на плоской усеченной вершине пирамиды у памятника Неизвестному астронавту.

На гигантском осколке метеорита, таком черном, будто на нем запекся мрак бездны, в которой он кружил несчетные века, лежал навзничь человек. Днем этот упавший колосс был виден из самых отдаленных точек города. Обломок ракетного оперения пронзал его грудь. Сейчас, в отблесках зарева отдаленного города, гигант утратил свои очертания. Складки его каменного скафандра темнели, как расселины скалы. Человеческой была лишь голова — огромная, тяжело закинутая назад, касающаяся виском выпуклой поверхности камня.

Позади Неизвестного господствовал полный мрак. Я обошел статую кругом и остановился против ее лица. Оно было так велико, что я не мог окинуть его одним взглядом. В разлитой вокруг глухой тишине я вновь услышал звуки Прощальной симфонии. Я сказал себе: «Вот твой товарищ на эту ночь», — и, подойдя к краю метеорита, сел у глаза гиганта. Позади меня, на расстоянии вытянутой руки, слабо и таинственно мерцало опущенное на глаз веко.

Внизу под нами лежала Меория. Над безбрежным морем света возвышались два мощных его источника. В центре старинного научного квартала сияло здание университета, построенное еще в конце XXI века, — огромное сооружение с прямыми, устремленными вверх линиями. В этих линиях ощущался какой-то неукротимо-радостный бунт, вызов, брошенный силе тяжести архитекторами, стиль которых формировался под влиянием наступившей эпохи ракет, каплевидных самолетов, летавших быстрее звука, и кривых, по которым эти самолеты взлетали. Против этого тысячелетнего колосса с его хрустальными колоннами, словно выстреленными в небо, смеющегося над земным тяготением, стояло другое, уже современное здание Дворца кибернетики. Университет казался примитивным по сравнению с его сосредоточенной простотой — это был луч света, застывший в почти неслесомой конструкции. Контуры здания свидетельствовали о том, что нашим архитекторам удалось преодолеть манеру своих предшественников, напрягавших строительный материал до последних пределов сопротивления. Десятью веками разделены эти произведения строительного искусства на Земле. Но каким ничтожным был этот отрезок времени по сравнению с возрастом метеоритного камня, на котором я сидел! На его поверхности, остекленевшей от жара, сейчас отдыхали двое людей. Один, каменный, воплощал всех, кто не вернулся из бездны. Другой, живой, должен был направиться в бездну. Что за встреча! Какой круг истории замыкался здесь! Какой

круг, обращенный в неведомое, открывался вновь! Так думал я, положив голову на руки и устремив взгляд во тьму. Вдруг поверхность метеорита выступила из мрака, озаренная трепещущим светом. Над Дворцом кибернетики в воздухе возник огненный занавес, погасивший звезды: с земли в небо серебряным водопадом поднялось искусственное полярное сияние; на его волнистом фоне невидимая рука писала огненные буквы: «Бал начинается!»

И вдруг город, вздрогнув, выбросил в небо сотни, тысячи, десятки тысяч фейерверков, ракет, бенгальских огней. Они взрывались и трепетали над самыми высокими зданиями, а из парков, им навстречу, поднимались воздушные шары, сделанные в виде паяцев и фантастических масок. В наполненном серебряным полумраком пространстве между дворцом и университетом задрожали мириады синих, голубых и фиолетовых колец: это студенты устроили воздушный хоровод — стайки украшенных лампочками вертолетов описывали сверкающие круги. Я был оскорблен: Земля могла бы дать мне возможность подумать о бесконечности, но вместо этого она приглашала меня на шутовскую карнавальную игру! Ветер донес отзвук отдаленных криков толпы. Я еще пытался сохранить ощущение трагического одиночества, но при мысли о том, какой шумный прием оказали бы мои друзья победителю марафонского бега и исследователю звезд, заколебался. Мне становилось все более досадно, что я не с ними. Я боролся с искушением еще минуту, затем вскочил, прыгнул на плоскую вершину пирамиды и вызвал вертолет. Минуту спустя он вынырнул из тьмы и медленно опустился около меня, увитый гирляндами цветов, с гостеприимно освещенной пустой кабиной. Однако не успел я сесть в нее, как в голову пришла новая мысль: а что, если я встречу там Анну и она увидит, как я, радостный, смеющийся, танцую накануне завтрашнего прощания?

Я поспешно переменял направление полета, и вскоре лишь серебристый отблеск на тучах указывал место, где скрылась из виду Мсория.

Не знаю, как долго я летел. По временам внизу проплывали города, похожие на огненные пятна, от которых в темноте отходили тонкие, освещенные нити дорог; моя машина иногда попадала в воздушную яму, стекла мутнели от оседавшей на них влаги, несколько раз я видел над собой звезды. Потом впечатления этой ночной поездки стали смешиваться с сонными видениями. Когда я очнулся, за стеклами громоздились огромные тучи — сверху черные, внизу ярко

освещенные. Я решил, что приближаюсь к какому-то городу, и начал опускаться. Тучи расступились, я увидел землю, залитую светом, но это не был город. Со слабым толчком вертолет приземлился.

Выйдя из машины, я очутился на аллее пустого парка, наполненного голубым сиянием. Группы елей пламенили подобно холодным факелам, а возвышавшиеся надо мной кроны каштанов излучали свет, как звездные скопления. Это под воздействием невидимых источников ультрафиолетовых лучей светились зеленые части растений. Каждый лист, каждый побег, каждый стебель травы был источником фосфорического излучения. Я двинулся по тропинке, темневшей в море света, как черный поток в расплавленных берегах. Мертвыми, темными были лишь стволы и, как бы наперекор празднику, чашечки цветов. Вездесущий, льющийся отовсюду свет придавал всему сказочные очертания: при малейшем ветерке неподвижные гроздья света распадалась, над кустарником бились волны пламени, а высокие кроны деревьев качались, как охваченные огнем корабли.

Я дошел до фонтана, окруженного цветочными клумбами. Тысяча радуг отражалась в его струях. У бассейна стояла каменная скамья. Я сел на нее и стал рассматривать парк. Его серебряные массивы были прочерчены черными кружевами веток. Вновь мной овладело сонное оцепенение. Я принял его как благоденствие, каменная скамья показалась мне вождленным ложем, и я закрыл глаза.

...Я лежал на горячем песке пляжа. Солнце стояло высоко, был час отлива, море удалялось от берега, и лишь одинокие волны возвращались с шумом, обливали меня и вновь отступали, пока наконец не ушла последняя, оставив меня одного на сухом берегу.

Я открыл глаза. Откуда-то донесся слабый плач. Я поднял голову — плач слышался где-то близко. Совершенно разбитый, с затекшими ногами, я встал и обошел круглый бассейн. На такой же каменной скамье по другую сторону фонтана, свернувшись калачиком, лежал мальчик лет четырех. Увидев меня, он перестал плакать. Мы хмуро, в недоумении, долго смотрели друг на друга. Ему первому это надоело.

— Ты что тут делаешь? — спросил он.

— А что ты тут делаешь? — сказал я, стараясь придать голосу серьезность.

— Я заблудился.

— Где же твои родители?

- Не знаю.
- Как ты попал сюда?
- Прилетел.

Задав еще несколько вопросов, я узнал, что он приехал с родителями на экскурсию и обязательно хотел посмотреть коня.

— Какого коня?

— Разве ты не знаешь? А я думал, ты тоже смотрел коня.

Оказалось, что рядом с парком был зоологический сад. Мальчик побывал в нем с родителями, но до коня они не дошли. Отец сказал: «Пора возвращаться. Садись в самолет. Во время полета посмотришь коня по телевизору».

Но мальчик хотел погладить коня. Поэтому, войдя в самолет, он тут же вышел через другую дверь. Никто этого маневра не заметил. Свой наручный телеэкран, настроенный на волну телеэкранов родителей, чтобы те всегда могли знать, где он находится, мальчик снял с руки и спрятал под кресло. А потом пошел к коню. В сумерки вернулся в парк, но родителей там не было. Он долго ходил по аллеям парка и кричал, но не нашел никого. Наконец увидел эту скамью. Попытался уснуть на ней, но не мог.

— Боялся?

Он не ответил. Что мне было с ним делать? Я спросил, где он живет. Этого он не знал.

— Сколько солнц светит над твоим домом? — спросил я, немного подумав.

— Два.

— Точно — два?

— Нет, одно.

— Значит, не два, а только одно?

— Одно.

— Точно — одно?

— Может быть, точно.

С такими сведениями многого не сделаешь. Отвезти его в ближайший порт воздушных сообщений? Вдруг он персбил мои размышления:

— Ты тоже заблудился?

— Нет. Почему это тебе пришло в голову?

— Просто так.

— Взрослые никак не могут заблудиться, — сказал я энергичным тоном.

Мальчик посмотрел на меня внимательно, но ничего не ответил. Он громко раскашлялся. Это определило дальнейшее. Хотя мне никогда не приходилось прибегать к тревож-

ному сигналу, я знал, что делать в этом случае. Я укутал ребенка в свою куртку и достал свой телеэкран. Вытаскивая его из кармана, я обнаружил еще какой-то круглый предмет: золотистый шарик с крапинками, который я поднял на ракетном вокзале. Я дал его мальчику и нашел на краю телеэкрана кнопку, на которую мне никогда еще не приходилось нажимать. Вокруг нее краснела надпись: «Общий вызов». Я нажал на кнопку, и в аппарате послышался шум: человеческие голоса, свист автоматических станций, сигналы далеких судов, гул ракетных передатчиков, отрывки слов, музыки, песен — все это, слившееся в миллионголосый шум, доносилось из небольшого плоского ящичка. Я наклонился над аппаратом и тихо — мне не хотелось, чтобы меня услышал мальчик, — сказал:

— Внимание! Человек в опасности!

Я повторил это трижды и стал ждать. В глубине маленького динамика что-то затрепетало. Там росла тишина, расходившаяся все более широкими кругами, словно кто-то бросил камень на бескрайнюю водную поверхность. Десятки тысяч голосов умолкали, раздались сигналы ожидания.

— Прием! — слышалось в динамике. — Внимание, прием!

Еще кто-то о чем-то спрашивал, кое-где еще были слышны быстрые группы импульсов передающих станций, а мои слова передавались трансляционными станциями все дальше и дальше; казалось, что я слышу эхо собственного голоса, который в течение малой доли секунды облетел земной шар и затем через направленные передатчики был послан в бесконечные пространства. Вот через секунду ответили космодромные станции на искусственных спутниках и Луне; они приняли вызов и перешли на прием. Вся сфера, в которой господствовал человек, замерла, и легкий фоновый шум в телеэкране прерывался лишь никогда не прекращающимся тиканьем атомных часов обсерваторий. Вдруг нский пилот с Луны спросил: «Что случилось?» Какой-то голос приказал ему немедленно выключить передатчик; воцарилась тишина. Это было на пятой секунде после вызова. А через шесть секунд я начал, как полагалось, коротко, по-деловому рассказывать: найден ребенок, зовут его Пао, трех с половиной лет, глаза карие. Потом вновь наступила тишина, простреливаемая короткими сигналами трансляционных станций, и вдруг одновременно ответили две из них. Они сообщили, что есть заявления родителей, они уже пять часов ждут сведений о ребенке. А потом, на двадцать второй секунде, все станции кораблей и ракет снова заработали, автоматы за-

кончили прерванные было фразы, люди стали смеяться и разговаривать, и снова в миниатюрном динамике послышался, то усиливаясь, то замирая, привычный шум.

Родителсй мы ожидали еще два часа. Сначала мы с мальчиком играли в мячик: я бросал ему, а он — мне, серьезно, без малейшей улыбки, почти печально, и я заметил, что он опять собирается плакать. Тогда я вспомнил, что одержал победу в марафонском беге. Это была замечательная идея! Я рассказал ему все с начала и до конца самым подробным образом; он вначале выразил некоторые сомнения, но лавровая ветка убедила его. В самый драматический момент я сделал паузу, но дальше говорить не пришлось: мальчик спал, положив голову мне на плечо. На его щеках были грязные пятна — следы размазанных слез, время от времени он всхлипывал.

Когда над холмистым, покрытым лесом горизонтом поднялась розовая полоска зари, сад внезапно угас, словно на него дунули. Почти одновременно я услышал отдаленный гул: это летели родители Пао. Тогда при мысли, что придется разговаривать с ними, может быть, даже объяснять, как я очутился здесь, что они будут благодарить меня и приглашать к себе, я почувствовал испуг. Как можно осторожнее опустив мальчика на каменную скамью, я подложил ему под голову свернутые рукава куртки, вложил в руку шарик и помчался к своему вертолету, словно за мной гнались. Когда я поднимался в воздух, прямо в глаза мне сверкнул первый луч восходящего солнца.

21 июля 3114 года я в последний раз увиделся с Анной. Мы встретились на маленькой станции Порсангер, расположенной над фиордом того же названия, на линии прямого сообщения Евразия — Америка. По круто поднимавшейся извилистой тропинке мы взобрались на вершину прибрежной скалы, время от времени останавливаясь, чтобы перевести дух. Снизу доносился ропот невидимого моря. На вершине скалы дул порывистый ветер. Опустив руки, чувствуя сердцебиение, мы остановились. Внизу шла непримиримая битва двух стихий. Скала застыла, как бы в предвидении поражения, море неустанно атаковало ее шеренгами черно-белых волн, с грохотом разбивающихся о ее подножие.

— Ты попрощался с Землей? — не глядя на меня, вполголоса спросила моя подруга.

— Прощаюсь, — ответил я так же негромко.

Анна легким шагом подошла к нагромождениям скал и

нашла место, словно специально созданное для нее и ожидавшее ее много веков. Я всегда со скрытым удивлением замечал, что она без труда находила в самой дикой глуши удобные уголки.

— С кем ты виделся? — спросила она.

— Я побывал сегодня дома, у профессора Мураха, у друзей. Я оставляю здесь всех, Анна.

Эти слова прозвучали как жалоба, хотя я не собирался жаловаться.

— Так все получилось... — добавил я, как бы оправдываясь.

— А я — последняя, — сказала она.

Мы смотрели не друг на друга, а на белые гряды волн, надвигавшиеся из черного океана. Казалось, будто приближается горизонт, будто море замерло на месте, а мы несемся через него, стоя неподвижно на вершине скалистого обрыва, и волны расступаются перед нами.

Она спросила, сколько времени протянется путешествие. Я удивленно посмотрел на нее: об этом говорилось уже несколько раз.

— Около двадцати лет, — сказал я.

— Скорость «Геи» будет больше половины скорости света?

— Да.

Казалось, она вглядывается в даль, но мое внимание привлекло еле уловимое движение ее губ. Я понял: она считала.

— Путешествие продлится около двадцати земных лет, — сказала она. — Но благодаря скорости корабля вы станете старше лишь на... — Она замолкла, как бы сомневаясь в своих подсчетах.

— ...На пятнадцать или шестнадцать лет... — Я замялся, увидев ее странную улыбку.

— Когда ты вернешься, я буду старше тебя, — объяснила она.

Я не знал, что ответить. Устремив взгляд на непрестанно шумящий океан, я стоял и чувствовал, что молчание, которое недавно нас соединяло, теперь разъединяет.

— Анна! — выкрикнул я с отчаянием. — Мне кажется, я был честен с тобой, нам было хорошо вместе, и мы могли...

— Зачем ты это говоришь? — спросила она, все еще глядя прямо перед собой, как бы в полусне... Ее спокойствие усиливало мое ощущение одиночества.

— Я говорю потому, что сейчас мне кажется, будто мы чужие, Анна, но ведь это же неправда? Это не может быть правдой...

— И однако, это правда, — ответила Анна, и я бы безвольно согласился с этим, если бы она не сделала того, что так часто меня в ней поражало: она улыбнулась, то ли иронично, то ли грустно — определить я не умею.

— Анна!

Я хотел прижать ее к себе, но она мягко отстранилась.

— Если я что-нибудь значу для тебя, то потому только, что всегда держалась независимо, — проговорила она. — Если бы я была другой, то ты, наверное, не прощался бы со мной последней...

— Может, ты и права, но разве об этом нужно говорить сейчас?

— Ты хотел бы каких-то слов, нежных или печальных, чтобы они были таким симфоническим финалом нашего знакомства? — сказала она с легким оттенком насмешки. Она уже не улыбалась. — А если бы я сказала тебе сейчас, что хочу...

— Оставь, пожалуйста, шутки, — ответил я, а она засмеялась, заметив движение, с которым я совладал, замешкавшись на долю секунды.

Она смеялась, ее темные, растрепанные ветром волосы отлетали на выступ скалы, к которому она прислонилась спиной, и окаймляли его края так же, как бушующая под нами вода окаймляла камни обрыва. Ее смех было смутил меня, но это продолжалось одно мгновение. Потом пришла мысль, которая часто возникала, когда Анна была рядом. «Вот, — думал я, — женщина, среди тысяч людей выделившая меня; она — огромный, цельный, замкнутый мир, ставший для меня таинственно притягательным. И теперь этот мир уходит от меня, нас уже разделяет так много, что перед этим физическая, плотская близость беспомощна». Я прикоснулся к ее руке, она посмотрела мне в лицо. В ее глазах вспыхнул огонек — теплый, мягкий, ласковый.

— Анна, — прошептал я, — все так и есть: я мало знаю о тебе, а ты — обо мне; у нас не было ничего, кроме возможностей, и им не дано было развиваться. Но я хочу, чтобы ты знала, как много благодаря тебе...

— Какой же ты глупый и упрямый! — сказала она. — Опять эти ничего не значащие фразы?

— Так что делать? — спросил я, как ребенок.

Она коротко рассмеялась, но сразу же стала серьезной и, откинув голову назад, сказала:

— Да разве я знаю... Может, поцелуй меня... Другого выхода не вижу...

Я обнял ее. Мы смотрели друг другу в глаза. Я без труда мог бы среди всех оттенков небосклона найти цвет ее глаз, в которых, как в маленьких небесах, отражались сейчас два крохотных солнца...

Она встала, отряхнула платье и внимательно, как бы недоверчиво, осмотрела себя в маленькое зеркало, причесывая волосы моей гребенкой. Меня всегда трогало выражение суровой простоты, которое проявлялось на ее лице, когда она начинала приводить себя в порядок, но сейчас при мысли, что я вижу ее в последний раз, невыразимая грусть сдавила мне горло.

— Уже поздно, самолет улетит без тебя, — сказала она.

А когда я, поднимаясь, зацепился ногой за торчащий из земли камень, взяла меня под локоть маленькой, сильной рукой:

— Осторожней, увалень, а то как бы тебе вместо звезды не полететь в воду...

«ГЕЯ»

Когда-то, в давние времена, люди были узниками пространства. Представление о Земле для них ограничивалось теми местами, где они рождались, жили и умирали. Первым путешественникам пришлось преодолевать густые леса, ревущие реки, непроходимые горные цепи. А на континентах, разделенных океанами, жизнь складывалась — на каждом из них — обособленно, как на отдаленных планетах. Как были изумлены финикийцы, когда, очутившись на своих кораблях в Южном полушарии, увидели, что солнце движется справа налево, а за тропиком Козерога серп луны поднимается из-за горизонта двумя красноватыми рогами вверх.

Пришло время, когда на картах земного шара стали стираться белые пятна, время длительных, тяжелых и героических путешествий на утлых парусных суденышках — эпоха Колумба, Магеллана, Васко да Гамы. Но Земля продолжала оставаться огромной, и, чтобы обогнуть ее на корабле, иногда нужна была целая жизнь. Многие из тех, кто отправился вокруг света, так и не увидели больше родины. Лишь в эпоху машин наша планета начала уменьшаться. Кругосветное путешествие стало длиться месяцы, недели, потом дни, и тогда оказалось, что, завосывая пространство, человек затронул то, что всегда казалось ему самым нерушимым, — время.

Каждому из нас теперь случается, путешествуя, догонять угасающий день, удлинять или сокращать ночь, а при полете против вращения Земли перескакивать в другой день недели. Это стало настолько обычным, что никто не задумывается над такими фактами; люди, работающие на искусственных спутниках, привыкают к их местному времени с циклом сна и бодрствования меньшим, чем земные сутки, но без труда меняют привычки, возвратившись на Землю. Да, сократилось пространство, перестало быть абсолютным время, но завоеванная благодаря этому свобода пока еще незначительна. Даже на космических кораблях, возвращающихся из далеких экспедиций к орбитам Сатурна или Плутона, время отличается от земного на три, четыре, самое большее на пять дней.

С кораблем, уходящим за пределы Солнечной системы, на звезду Проксима Центавра, будет связано возникновение двойного времени. Одно, протекающее с постоянной скоростью, останется на Земле, другое, измеряемое на «Гее», будет идти тем медленнее, чем быстрее будет двигаться ракета. Разница, накопившаяся за все путешествие, составит несколько лет. Какое это странное и великое событие: теории и факты, проверенные лишь по отношению к явлениям, происходящим на звездах, начинают управлять человеческой жизнью. Мы вернемся более молодыми, чем наши сверстники-земляне, поскольку в молекулах всего, что понесет с собой «Гейя» — вещей, растений и людей, — время будет двигаться медленнее, чем на Земле. Трудно сказать заранее, чем это обернется, когда путешествия за пределы Солнечной системы станут обычным явлением.

Так рассуждал я, стоя на маленькой взлетной площадке, в сухой, покрытой травой впадине, посреди березовой и ольховой рощи. Меня уже ожидала ракета с «Геи», один из тех занятных реактивных снарядов, которые, приземляясь, расставляют в воздухе три ноги и садятся на них вертикально, образуя нечто похожее на древнюю амфору с горлышком на месте носовой части ракеты.

Я уже простился со всеми людьми, памятными местами и предметами. Внешне я был весел и спокоен, хотя чувствовал глубоко скрытое волнение, и был готов к путешествию, но все же отодвигал мгновение отлета. Укрывшись в длинной тени, отбрасываемой ракетой, я смотрел на группу елей, синевших невдалеке в лучах солнца. Все вокруг было неподвижно в этот тихий теплый вечер. Пушистые головки цветов, усталые от жары, склонялись на стеблях, какая-то

птица запела поблизости и, напуганная собственным голосом, замолкла. Мне надо было одним движением оторваться от всего этого — как пловцу, который отталкивается от берега. Под ногами росли фиолетовые цветы, я не знал, как они называются; наклонился, чтобы сорвать их, но выпрямился с пустыми руками. Зачем? Они увянут. Пусть лучше останутся такими, какими я их видел в последний раз. Я поднялся по трапу и обернулся еще раз: стройные ели уходили в небо, их темную хвою в тысячах мест пронизывал красный отблеск заката. Мне хотелось улыбнуться, сейчас это было важно. И не смог. Я был каким-то малоподвижным, словно незаметно наполнился какой-то еще непонятной тяжестью.

— Можно лететь, — машинально проговорил я, наклоня голову у входа в ракету.

— Можно лететь, — сказал или, вернее, прошипел пилот-автомат.

Ракета вздрогнула и рванулась вверх. Сквозь иллюминаторы я видел стремительно удаляющуюся Землю. В кабине стало светлее: солнце еще раз взошло для меня в этот день и величественно стало подниматься все выше и выше. Однако это продолжалось недолго — небо сначала побледнело, словно раскаленное, затем посерело и почернело. Показались звезды. Сейчас я не хотел смотреть на них и, положив руки на спинку пустого кресла впереди, так и сидел, не замечая времени, пока не раздался сигнал.

Я поднял голову.

Далеко внизу, за иллюминатором, пылал ослепительный шар в ореоле лохматых языков пламени — Солнце. Впереди, среди мириад неподвижных звезд, засверкали и стали быстро приближаться разноцветные ожерелья огоньков: световые маяки, размещенные спиралями вокруг «Геи». Они отмечали пути движения грузовых, пассажирских и индивидуальных ракет, подобных той, на которой летел я. Целые рои таких ракет вились вокруг корабля. Мы пролстсли над ним дважды, — очевидно, ракетодром «Геи» был перегружен. Наконец я принял сигнал, разрешающий посадку. Ракета описала положенный круг, и меня ослепили серебряные лучи: свет прожекторов моей ракеты, отраженный оболочкой «Геи». Висевший неподвижно корабль рос, как будто кто-то надувал гигантский баллон из чистейшего серебра. Потом он перестал сверкать и потемнел — моя ракета обогнула его сбоку. Длиной почти с километр, похожий на гигантскую рыбину корпус корабля рос с огромной быстро-

той, закрывая собой небо. Легкий толчок, затем мгновение мрака, и снова запылали огни, но уже другие.

Я вышел из ракеты; поблизости не было людей, и я пошел на эскалаторе вверх, на боковую террасу, нависавшую над лестницей. Тремя ярусами ниже нее помещался грузовой ракетодом. Среди матовых стальных лент транспортеров двигались, стучали, трещали и скрипели шагающие погрузчики и краны, передвигавшиеся утиным шагом по мосткам, над прибывающими ракетами. Круглые входные люки непрерывно открывались и закрывались, как рты судорожно дышащих рыб; грузовые ракеты вылетали из туннелей, выбрасывали груз на бесконечные конвейеры, а в глубине зала у стен искрились оранжевые, красные и зеленые лампочки сигналов. Все огромное помещение наполнял глухой, монотонный грохот. В разных местах зала виднелись похожие на улиток звукопоглотители, благодаря которым шум здесь был сравнительно невелик.

Я вошел в лифт. В его стенке виднелся микрофон информатора; я спросил, где находится технический руководитель экспедиции инженер Ирьюла. Он был на девятой палубе, и я отправился туда. Стены колодца, по которому двигался лифт, были из прозрачной стекловидной массы, и, поднимаясь, я видел лифты, сновавшие вверх и вниз в соседних колодцах. В них виднелись окруженные молочным ореолом фигуры людей, настолько туманные, что рассмотреть их было невозможно. Потом рядом, за стеклянной стеной, мелькнула освещенная клетка лифта-экспресса. Он шел вверх, обгоняя мою кабину. В нем стояли двое, один спиной ко мне, другого я смог сравнительно хорошо рассмотреть. Тот лифт уже промчался, я продолжал подниматься в своем, а перед глазами все еще стоял человек, которого я только что увидел. Это был Гообар, крупнейший ученый нашего времени, участник экспедиции.

Лифт остановился. Я очутился в просторном коридоре. Слева с интервалом в несколько метров тянулись дверные ниши, справа, сколько хватал глаз, виднелась стеклянная стена. От нее исходил тусклый свет, как от пасмурного неба. Идя по коридору, я заметил, что свет то усиливается, то ослабевает. Вдруг показалось, будто я шагаю по опушке огромного леса. «Смешная иллюзия», — подумал я и подошел ближе к стене.

Но внизу действительно расстился огромный парк. С высоты, на которой я находился, были видны кроны дубов и буков, лениво раскачиваемые ветром; ярко-зеленые газо-

ны, кустарники, цветочные клумбы; извилистые аллеи и пруды, в которых отражалось небо и тучи; рощи и лужайки, покрытые молодой еще зеленью, а вдали, посреди моря лиственных деревьев, темнели отдельные группы елей. Этот лесной пейзаж тянулся до самого горизонта, затянутого бело-молочными облаками. Приблизив лицо к стеклу, я разглядел темно-синие скалы и стекавший по ним пенистый поток, а там, где он уходил куда-то вниз, — несколько кипарисов, примостившихся на обломке горного порфира. Первое поразившее меня впечатление рассеялось. «Видеопластическая панорама», — подумал я.

В это время кто-то положил мне руку на плечо. Передо мной стоял высокий, худой, слегка сутуловатый человек с темно-рыжими вьющимися густыми волосами. У него было молодое сухощавое лицо, широкий рот с тонкими властными губами. Он улыбнулся, обнажив очень белые, острые зубы, и на лице его образовалось множество морщинок. Я узнал его раньше, чем он заговорил.

— Я Ирьола, — сказал он, — конструктор. Мы немного знакомы.

Он крепко пожал мне руку, потом легко придержал ее и пощупал ладонь.

— Гребец? — спросил он, широко улыбаясь; казалось, шире улыбаться нельзя.

Я кивнул.

— С этим делом у нас будет плохо. Но ведь ты, доктор, еще и бегун?

Этот спортивный допрос развеселил меня.

— Бегаю, — ответил я, — но боюсь, что там, — я показал рукой за стекло, — бегать нельзя. Там ведь нет ничего, правда?

— Почему же? — Мое недоверие огорчило его. — Это настоящий сад... Разве только... поменьше... чем кажется отсюда...

Ирьола вновь улыбнулся. В его лице, в сияющих глазах и в рыжей жесткой шевелюре было что-то привлекательное; в нем чувствовалась хитринка, лукавый юмор. Он смотрел на меня, часто мигая, словно обдумывая немногие слова, которые услышал от меня.

— Доктор, — сказал он, — «Гея» — дьявольски большая и сложная штука, а наше путешествие — еще более сложное дело. Знаешь что? До того, как принять власть над своим королевством, удели мне минут пятнадцать, ладно?

Удивленный таким вступлением, я кивнул еще раз. Он

взял меня за плечо и повел к ближайшей нише. Мы спустились на лифте. Я считал ярусы; лифт остановился на втором. Двери открылись. Прямо перед нами в густом полумраке свисали переплетенные листья плюща. Под подошвами за скрипел песок, повесело свежим запахом хвои. Пройдя несколько десятков шагов, я остановился в изумлении. Во все стороны, куда ни кинешь взгляд, тянулось холмистое пространство, покрытое густым кустарником, среди которого живописно возвышались известковые скалы, уходившие все дальше, к самому горизонту, где синеватыми пятнами выделялись лесные массивы.

— Великолепная иллюзия. Хорошо сделано! — вырвалось у меня.

Ирьола взглянул на меня и усмехнулся.

— Постой, — сказал он, — ты обещал уделить мне пятнадцать минут. Пойдем-ка дальше.

Мы прошли по маленькой полянке, заросшей злостью, дорогу преграждали кусты цветущей сирени. Мой проводник без колебаний нырнул в них. Я двинулся за ним. Кусты обрывались над ручьем, пенившимся в каменистых берегах. Ирьола перескочил через него одним прыжком. Я последовал его примеру. На противоположном берегу инженер без видимого усилия взобрался на большой обломок скалы и показал мне место рядом с собой.

Мы молчали довольно долго. Здесь ветер был сильнее; его смолистый запах, казалось, усиливал прохладу ручья, рассыпавшегося брызгами у наших ног. На другом берегу, в излучине, стояли величественные и мрачные канадские сосны, а подальше — огромная северная ель с серебристо-голубой хвоей; ее корни, похожие на медвежьи лапы, извиваясь, скрывались в расселинах скалы. Мне хотелось спросить, иллюзия ли это. Я все время старался обнаружить то место, где настоящий парк переходит в видеопластический мираж, созданный хорошо укрытой аппаратурой, но не мог заметить ни малейших следов такого перехода. Иллюзия была полной.

— Доктор, — тихо сказал Ирьола, — не знаю, слышал ли ты, что я один из конструкторов «Геи». Пожалуйста, не считай ее набором хорошо спроектированных машин. Неужели ты думаешь, что, вычерчивая ее будущие формы, мы забыли о самом важном — о том, что «Гея» будет единственной частицей Земли, которую мы унесем с собой?..

Ирьола говорил так тихо, что я вынужден был напрягать слух. Порывы ветра и шум воды, бурлившей в обломках скал, иногда заглушали его слова.

— Это не обычный корабль. Твой взгляд будет останавливаться на его стенах, как только ты проснешься — здоровый или больной, за работой или в часы отдыха, — день за днем, ночь за ночью, много лет подряд. Эти металлические машины и стены, вот эти камни, вода и дсревья будут единственным зрелищем для твоих глаз; этот воздух будет единственным, который смогут вдыхать твои легкие. Как бы то ни было, все, что нас сейчас окружает, будет прежде всего не кораблем, доктор, а частицей Земли. Твоей родиной.

Он помолчал.

— Так должно быть... Так должно стать... иначе тебе будет очень тяжело. Очень плохо и тяжело. Я знаю, что если даже ты испугался, то никогда не скажешь мне об этом и не откажешься от участия в путешествии. Впрочем, ты и не стал бы этого делать. Поэтому только от тебя самого зависит, станет ли это путешествие, вернее — жизнь, высшей свободой или самой тяжелой необходимостью. Я уже кончил, хотя пятнадцать минут еще не истекли. Я сказал это тебе потому, что... Говорить дальше или ты хочешь, чтобы я отправился ко всем чертям?

— Говори, Ирьола.

— Видишь ли, я немного догадываюсь, почему ты пришел к нам один... Послушай, это ведь ты победил Мегиллу?

— А какое это имеет отношение...

— Прямое. Ты победил всех, правда?

— Да.

— Дай-ка руку.

Взяв мою руку, он потянул меня за собой. За скалой, на которой мы сидели, высилась другая, за ней третья. Мы поднялись на вершину. Сбегавший по долине ручеек сверкал серебристой змейкой. Ирьола чуть подтолкнул меня под локоть, и моя рука коснулась скалы. Но я не ощутил холодной шероховатой поверхности — пальцы прошли сквозь камень как сквозь воздух и уперлись в гладкий металл. Я понял: здесь и проходит граница сада, тут кончаются настоящие деревья и скалы и начинается виденье, вызванное волшебством видсопластики: далекие леса, пасмурное небо, горы над нами...

— А этот ручей? — спросил я, указывая на змейку потока, пенившегося внизу, на камнях.

— Под нами самая настоящая вода, ты можешь купаться в ней сколько угодно, — ответил Ирьола, — а там, выше... что ж, скажу твоими же словами: «Великолепная иллюзия. Хорошо сделано».

Зрелище было необычайное: рука до самого локтя вошла в скалу, которой в действительности не существовало. Зрение лгало осязанию.

Выходя из парка, я спросил инженера:

— Откуда ты меня так хорошо знаешь?

— Я тебя совсем не знаю, — возразил он. — Я говорил тебе то, что недавно говорил самому себе.

— И все же ты знаешь обо мне...

Он улыбнулся так, что я не закончил фразы.

— Кое-что, конечно, я о тебе знаю, но пока это не совсем то, что нужно. Мне хочется, чтобы мы стали товарищами.

— Ты говорил о состязаниях по бегу. Разве здесь можно бегать?

— А как иначе? Вокруг парка идет беговая дорожка, и неплохая к тому же. Будем бегать... и, может быть, ты сумеешь победить меня, хотя я в этом совсем не уверен... Я бегаю на более короткие дистанции: на три и пять километров. — Он посмотрел на меня, лукаво улыбнулся и добавил: — Если очень захочешь, то победишь и меня...

Мы замолчали. И, только выходя из лифта на четвертом ярусе, Ирьюла заговорил вновь:

— Все это слова, и больше ничего. Мы говорим — будет трудно. А догадываемся ли мы, что это значит? Цивилизация расслабила нас, как тепличные растения. Мы полненькие, здоровые, румяные, но не закалены достаточно, не прокопчены в дьявольском дыму.

«Что это у него всё дьяволы на уме?» — мелькнуло у меня в голове, но вслух я сказал:

— Ну, не такие уж мы тепличные растения, как ты говоришь, а полненьким тебя и вовсе не назовешь.

— Посмотрим, как там будет, все еще впереди. Ну а пока будем делать свое дело, правда?

В знак согласия я закрыл глаза, а когда открыл их, Ирьюла уже исчез, словно его умыкнул один из дьяволов, которых он поминал. «Исчез, как будто и сам он — всего лишь видеопластическая иллюзия», — подумал я, спросил информатора, как пройти в больницу, и отправился туда.

Вновь короткая поездка в лифте сначала вверх, затем по длинному наклонному колодцу с опаловыми стенами. Коридор, ведущий в больницу, был намного уже, чем галерея, протянувшаяся над парком. На стены, выкрашенные в золотисто-кремовый цвет, падала голубая тень листвы. Окон не было. Черт побери, как это делается?! Тени листьев на стене колебались, как от ветра. Неожиданностей

здесь было много. Некоторые — на мой вкус — выглядели слишком театрально.

Я быстро осмотрел выделенное мне жилое помещение: несколько небольших светлых комнат, рабочий кабинет с окнами, открывающимися на море, — видеопластический мираж, конечно. Я подумал, что этот вид будет вызывать у меня тоску. От больничных палат мое жилье отделял сводчатый коридор, посередине которого в майоликовом горшке, вделанном в паркет, стояла тяжелая темная араукария. Ее игольчатые лапы простирались во все стороны, будто она стремилась коснуться проходящих мимо и так напомнить о своем существовании. Двойные двери — вход в малый зал. В нем было много стенных шкафов, радиационных стерилизаторов, вытяжных колпаков; в боковых нишах, закрытых стеклянными дверцами молочного цвета, — химические микроанализаторы, посуда, реторты, электрические нагреватели. В следующем, большом зале царила еще более безупречная белизна: сверкающие, как ртуть, аппараты, кресла из эластичного фарфора. Высокие, расположенные полукругом окна смотрели на широкое поле, покрытое переливающейся тяжелыми волнами зреющей пшеницей.

В другом конце зала покатый пол упирался в матовую стеклянную стену; я не пошел туда, догадываясь, что за этой стеной расположена операционная. Сквозь стеклянные молочно-белые плиты проглядывали еле заметные очертания различной аппаратуры и похожего на однопролетный мост хирургического стола.

Подойдя к следующим дверям, я услышал за ними легкие, частые — несомненно женские — шаги и остановился как вкопанный. «Там Анна!» — мелькнула безумная мысль. Я сейчас же прогнал ее и вошел в комнату. У большого окна стояла женщина в белом. За ее спиной тянулся ряд белоснежных кроватей, отделенных друг от друга матовыми голубыми перегородками. Женщина, очень молодая, такого же роста, как Анна; ее темные волосы ниспадали кудрями.

— Анна... — одними губами прошептал я.

Она никак не могла расслышать моего шепота и все же обернулась. Это была не Анна, а другая, незнакомая девушка, более красивая. И однако, подходя к ней, я все еще искал в этом незнакомом лице черты Анны.

— Ты врач? — спросила она.

— Да.

— Значит, мы коллеги. Меня зовут Анна Руис.

Я вздрогнул и внимательно посмотрел на нее. Чепуха ка-

кая-то. Она, конечно же, ничего не знала. Да и вообще, разве это имя носит одна-единственная женщина на свете?

Неверно истолковав наступившую короткую паузу, она улыбнулась и тут же сморщила лоб.

— Ты чем-то удивлен, доктор?

— Нет... то есть... нет, нет, — сказал я, прикрывая замешательство улыбкой. — Просто я слышал раньше только твою фамилию и думал, что это мужчина.

Мы помолчали.

— Сейчас нам здесь делать нечего, правда?

— Нечего, — ответила она немного смущенно и, подойдя к кровати, стала разглаживать без того гладкое покрывало.

— Что ж, если делать нам нечего, остается лишь желать, чтобы и впредь так было, — сказал я.

Мы опять умолкли. На мгновение я прислушался к глубокой тишине, которая, казалось, заполняла весь корабль, однако вспомнил, как шумно было на ракетодроме. Значит, тишина объясняется лишь хорошей звуковой изоляцией.

— Судовой больницей руководит профессор Шрей? — спросил я.

— Да, — ответила она, довольная, что наконец найдена благодатная тема для беседы. — Но его сейчас нет здесь: он отправился на Землю, вернется сегодня вечером. Я разговаривала с ним несколько минут назад.

Откуда-то, словно с невообразимой высоты, донесся тонкий, переливчатый стеклянный звук, похожий на чириканье механической птички.

— Обед! — радостно воскликнула моя собеседница.

«Кажется, ей скучно... уже теперь!» — пронеслось у меня в голове.

Анна жила на «Гее» целую неделю и взялась быть моим проводником по лабиринту коридоров. Широкая движущаяся лестница подхватила нас и понесла над стеклянным потолком центрального парка. Я отметил, что «небо» над парком, если смотреть на него сверху, было совсем прозрачным. Внизу, как под крылом самолета, простирались лесистые холмы.

В фойе столовой я увидел знакомое лицо; это был историк Тср-Хаар, с которым я мимолетно познакомился несколько месяцев назад. Он запомнился мне благодаря одному смешному случаю. На приеме у профессора Мураха соседкой Тср-Хаара оказалась семилетняя дочь одного из гостей. Он попытался было позабавить ее, но добился лишь того, что девочка разразилась неудержимыми рыданиями, и

мать вынуждена была увести ее. Оказалось, что историк рассказал ребенку о том, как в древности люди убивали животных и поедали их. Когда позднес мы остались с ним наедине в саду, Тер-Хаар с обезоруживающей искренностью сказал мне, что он совершенно теряется при детях. «Стоит мне поговорить с ребенком пять минут, — сказал он, все еще не оправившись от смущения, — как меня пот прошибает от напряжения, я начинаю искать тему для разговора, и дело обычно кончается примерно так, как сегодня...»

Теперь, увидев его массивную, медвежью фигуру, я улыбнулся ему, как старому знакомому. Он меня тоже узнал и потащил нас с Анной к своему столику в глубине зала. Там уже сидел высокий мужчина. Это был руководитель экспедиции Тер-Аконян.

Пока подошедший автомат доставал из хрустального контейнера горячие кушанья и аккуратно раскладывал их по тарелкам, я через стол с его сверкающей сервировкой рассматривал пожилого звездоплвателя. У него была крупная, бугристая голова. В коротко подстриженной черной бороде пробивалась голубоватая седина, придававшая волосам оттенок очень старой, закаленной стали. «Может быть, — подумал я, — отсюда и его прозвище — Стальной звездоплватель».

Столовая наполнялась людьми. На ее лимонно-желтых стенах, окаймленных серебристыми рамами, были изображены сцены средневековой городской жизни. Сводчатый потолок был, казалось, высечен из огромного куска льда. На столиках горели свечи. Их колеблющийся свет дробился в алмазных гранях потолка и обрушивался на нас лавиной живых огоньков.

Тер-Аконян спросил, доволен ли я своим жильем. Говоря, он поднял голову, и на его лице, напомнившем мне о темных, мрачных горах Кавказа, сыном которого он был, неожиданно блеснули по-детски голубые глаза.

— Если хочешь изменить что-нибудь у себя, наши архитекторы в твоём распоряжении, — сказал звездоплватель, по-своему истолковав мое молчание.

Я сказал, что квартира мне очень нравится. Анне Руис захотелось пальмового вина — она познакомилась с его вкусом на Малайе, где жила довольно долго. Автомат удалился и очень скоро вернулся с двумя бутылками — нес их ловко, как фокусник. В этот момент от потока людей, вливавшегося через главный вход, отделились и направились к нам трое: Ирьола, похожий на него мальчик лет четырнадцати и тем-

новолосая женщина. Издали мне показалось, что она средних лет, но чем ближе она подходила, тем казалась моложе. Я узнал ее: это была Соледад, знаменитый скульптор. Мальчик, подойдя к нашему столику, энергично шаркнул ногой, и Ирьола из-за его спины сказал:

— Познакомься, доктор, это мой сын Нильс...

Они сели. Нильс Ирьола внимательно глядел на меня. Он, похоже, имел обыкновение смотреть на соседей так, словно те были загадками, требующими немедленного разрешения. Соледад сидела рядом с ним и по временам казалась его ровесницей; на ее маленьком лице выделялись полный рот и сверкающие зубы. Глаза ее были прищурены, обнаженные руки худы, как у девочки, но пожатие ее пальцев оказалось крепким и решительным. Волосы, собранные сзади в пучок, были перевязаны лентой. Иногда она встряхивала ими, как бы желая освободиться от этого раздражающего ее атрибута женственности.

Обед предстоял необыкновенный. В рубиновой рамке светился длинный список блюд, а перечень вин напоминал старинную книжку — ее можно было бы читать часами. На столе стояло столько золотых, синих и зеленых бокалов, чарок, рюмок, тарелочек, что я не понимал, как все это уместается на небольшой шестигранной поверхности. Анна Рус — ее профиль белел справа от меня на фоне вогнутого хрустального зеркала — ела с аппетитом. Когда стали разносить жаркое, она испытующе взглянула в зеркало и движением, свойственным женщине с незапамятных времен, поправила волосы. Беседа шла вяло — все внимание обедающих поглощали подаваемые блюда. В золоте и хрустале сервировки отражались тысячи огоньков.

Изысканность обеда удивила и даже несколько озадачила меня, однако я промолчал, полагая, что надо приспособиться к корабельным порядкам. Зато не выдержал Тер-Хаар.

— Уф-ф! — проговорил он. — Переборщили! Действовали, должно быть, по пословице: «Что есть в печи, все на стол мечи». Замучили просто!

Мы рассмеялись, и сразу стало весело и свободно. Теперь и Анна, и я разом осмелились отказаться от очередного блюда, которое автомат попытался было положить нам на тарелки. Начался оживленный разговор о работах по обводнению пустынь на Марсе. Только Соледад весь обед была рассеянна. Дважды она роняла на пол вилку и тут же почти вслепую устремлялась под стол, создавая угрозу для всей

сервировки, а выныривая оттуда, с удивлением обнаружила рядом со своей тарелкой новую вилку, принесенную проворным автоматом. Впрочем, когда подали замороженный апельсиновый мусс, она словно проснулась. Все умолкли, а Соледад, мигая длинными ресницами, обратилась к обслуживающему автомату с вопросом:

— Нельзя ли принести сухую булку?

А когда автомат булку принес, стала от нее отщипывать маленькие кусочки, обмакивать их в бокал и есть, как птичка.

Наклонясь ко мне, Тер-Хаар прошептал:

— А как тебе нравится вон та фреска на стене? — Он показал на нее вилкой.

Я повернулся туда, куда он указывал. На картине был изображен город минувших времен. По сторонам улицы возвышались странные дома. Их окна рассекали крестообразные перекладины, а крыши были острые, как шутовские колпаки. Вдоль домов шли люди, а посередине улицы по железным рельсам двигался голубой экипаж. Спереди, за стеклом, стоял управляющий им человек в белом парике, одетый в ярко расшитый кафтан; на голове у него была треугольная шляпа со страусовым пером, похожая на пирог, а вокруг шеи — кружевное жабо. Крепко держа руку на рукоятке, он всл свою колымагу, переполненную людьми, высовывавшимися из окон.

Я не понял, что так рассмешило Тер-Хаара, — он беззвучно хохотал, подмигивая мне с видом заговорщика, как расшалившийся мальчишка.

— Ну как, нравится тебе? — вновь спросил он.

Я старался найти какую-нибудь ошибку, анахронизм, думая, что историка могло рассмешить именно это. Я допускал, что он, как специалист, особенно чувствителен к невежеству других в вопросах, связанных с его профессией.

— Мне кажется, — начал я медленно, — что тут дело в окнах... Такие кресты на окнах были только в домах, которые, как бы это сказать, были предназначены для религиозных обрядов, не так ли? Потому что крест был...

Тер-Хаар уставился на меня, широко раскрыв глаза, затем покраснел и так громко расхохотался, что наступила моя очередь краснеть.

— Милый мой, да что ты говоришь! Окна как окна, этот крест не имеет ничего общего с религиозным мифом! Неужели ты не видишь? Ведь это рельсовый электровагон, так называемый «трамвай», бывший в употреблении на рубеже

XIX и XX веков, а водитель и пассажиры одеты, как придворные французских королей!

— Стало быть, художник ошибся на сто лет. Неужели это так важно? — спросила, беря меня под свою защиту, Анна. — Тогда костюмы менялись чуть не каждую минуту... Я, помню, видела однажды такое представление... Но были их камзолы вышитые или нет, а парики белые или темные...

Тер-Хаар перестал смеяться.

— Ладно, — сказал он, — оставим это. Тут моя вина. Мне каждый раз думается, что это невозможно, но, увы, вы все, к сожалению, такие полные, такие невероятные невежды в истории... — Он стукнул вилкой по столу.

— Но позволь, профессор, — возразил я. — Кто же из нас не знает законов развития общества?

— Голый скелет, и ничего больше! — прервал он меня. — Вот что вы выносите из школы. У вас нет ни малейшего интереса к тому, как жили древние, как они работали, о чем мечтали...

В эту минуту кто-то из сидящих в зале поднялся и предложил включить легкую музыку. Все согласились, и по залу поплыла приглушенная мелодия. Тер-Хаар не проронил больше ни слова до конца обеда. Зал пустел, поднялись и мои собеседники. Поклонившись, я вышел с доктором Русис — с Анной. Вначале я называл ее этим именем не без известного внутреннего сопротивления; впрочем, оно скоро улетучилось. Она энергично принялась знакомить меня с кораблем.

На нем было одиннадцать ярусов. Двигаясь от носа к корме, мы вначале посетили небольшую обсерваторию в носовой части, затем раскинувшуюся на пять ярусов главную астрофизическую обсерваторию, где находился мощный телескоп «Геи», затем — навигационный центр и разместившееся над ним помещение автоматических аппаратов рулевого управления, разбитых на две группы: одна из них действовала, когда «Гейя» шла полным ходом, другая вступала в действие, когда корабль двигался вблизи небесных тел. Потом мы спустились в трюм, где помещались ракетодомы и ангары для транспортных средств «Геи», осмотрели спортивные залы, детский сад, бассейны, концертный зал, залы видеопластики и отдыха. В конце этого яруса находилась и наша больница. Там, где жилые помещения примыкали к атомным отсекам, занимавшим всю корму, проходила мощная металлическая стена, защищающая от излучения. Оттуда мы двинулись вверх и обошли по очереди одиннадцать

лабораторий; у входа в двенадцатую я почувствовал, что с меня довольно. Анна, заметив, что моя усталость берет верх над восторгом, огорченно прикусила мизинец, но тут же с воодушевлением возвестила:

— Я знаю, куда мы пойдем теперь! Ты ведь еще не был на смотровых палубах?!

Я согласился, и она с торжествующим видом взяла меня под руку и повела за собой.

В конце широкого коридора виднелся матовый серебристый занавес из плотной ткани. Мы раздвинули его и попали в непроглядную тьму. Довольно долго я ничего не видел. Наконец глаза стали понемногу привыкать к темноте. Мы находились на длинной и широкой палубе. В стене через каждые двадцать-тридцать шагов была дверь, на которую указывала бледная флуоресцирующая стрелка. Аллея желтоватых стрелок, висевших в воздухе подобно череде светляков, была так длинна, что дальние сливались в сплошную матовую нить. Когда я отвел взгляд от этих светляков и посмотрел на край палубы, мне в первую секунду показалось, что там ничего нет, но в следующее мгновение я вздрогнул, поняв, как сильно ошибался: там разверзалась бездна. Я двинулся к усеянному звездами пространству осторожно, словно опасаясь, что палуба вот-вот оборвется и я полечу в бездонную пропасть. Однако мгновение спустя вытянутая рука коснулась холодной прозрачной стены — дальше пути не было.

Я начал различать созвездия. Немного ниже нас сиял, разветвляясь, Млечный Путь. Там мерцали мириады еле видных искр. Кое-где на бледном фоне этого, как казалось, догорающего сияния чернели, подобно провалам, тени мрачных космических облаков. Я не сразу заметил, что мой взгляд, прикованный к Млечному Пути, перемещается, постепенно поднимается вверх — что звезды движутся; внезапно в глубине галереи, на которой мы стояли, у самого ее конца, сверкнул серебристый полукруг. Светлый участок неба поднимался и расширялся, охватывая все большее пространство и постепенно гася флуоресцирующие стрелки на дверях, и наконец нас озарил яркий свет. Я посмотрел на небо. Внизу сияла Луна — огромная, выпуклая, вся в кратерах, похожая на серебряный плод, изъеденный червями. Погасив близлежащие звезды, она лениво плыла по небесам, на палубу беззвучно ложились густые тени, они все удлинялись, тянулись, как призраки, по стенам и сводам, сливались одна с другой до тех пор, пока Луна не перешла на другую сторону «Геи»

и не исчезла так же внезапно, как появилась. В этом не было ничего странного: корабль вращался вокруг своей продольной оси, создавая искусственную силу тяжести.

Когда Луна зашла за корпус корабля, нас опять окружил мрак. Вдруг Анна взяла меня за руку, повернула в другую сторону и прошептала:

— Смотри... Смотри... Сейчас взойдет Земля...

Земля появилась среди звезд как голубой, подернутый дымкой шар; три четверти его поверхности были затенены. Ее серп отливал блеском более мягким, чем лунный, — голубым, с едва заметной примесью зеленого. В разрывах туч возникали неясные, словно размытые очертания континентов и морей. Над невидимым нам Северным полюсом, обращенным в сторону, противоположную Солнцу, пылала яркая точка, это была собственная звезда Земли, ее северное атомное солнце. Снова по палубе побежали, изгибаясь и вытягиваясь, тени; последний луч света поднялся к потолку, вытянулся, ушел вверх, и наконец наступила темнота.

— Видел? — совсем по-детски прошептала моя спутница.

Я промолчал. Эта картина была мне хорошо знакома — кто из нас несколько раз в год (по самым разным причинам) не летал в межпланетном пространстве? Но эти полеты были непродолжительны, они длились несколько дней, редко — недель, и мы всегда знали, что ждет нас дома. Но сейчас Земля показалась мне недоступной, странно далекой... И когда стоявшая рядом со мной девушка прошептала, прижавшись лицом к холодной стене: «Как красиво!..» — я впервые за долгое время почувствовал себя одиноким и подумал: «Какой же еще она ребенок».

Во мраке, окружившем нас после захода Земли, медленно поднимались, приковывая к себе взор, скопления звезд, и вместе с ними, казалось, величественно восходят огромные, испещренные серебряными искрами скопления мрака, похожие на занавесы, за которыми вот-вот должно открыться нечто неведомое. Но эта иллюзия была мне слишком хорошо знакома...

Потом мы некоторое время гуляли по палубе, на которой то наступала темнота, то пробегали полосы сияния — яркого белого лунного или голубого земного. Над нами словно то поднимались, то опускались гигантские крылья. Анна рассказала о себе. Она попала в экипаж «Геи» вместе с отцом, известным композитором. Как раз сейчас в концертном зале исполнялась его Шестая симфония. Меня удивило, что Анна даже не предложила послушать ее.

— Ах, я ее так хорошо знаю... Ведь отец не смотрит все мои операции, — сказала она с такой серьезностью, что и я не понял, шутит она или нет.

Все же мы поехали на концерт. Когда мы подходили к вестибюлю, облицованному плитками хризопраза, как раз зазвучали высокие финальные ноты, и вскоре слушатели начали выходить из зала. Они по широкому полукругу огибали монументальную скалу из естественной лавы и по белой, почти невидимой в полумраке спиральной лестнице спускались к кустарникам — здесь начинался центральный парк «Геи».

Мы остановились на лестнице, не зная, что делать дальше; мне казалось, что девушке надоело общество неразговорчивого спутника, хотя она добросовестно выполняла роль гида, вполголоса называя проходивших. Больше всего здесь было астрономов и физиков, меньше — техников и совсем не было кибернетиков.

— Автоматы делают за них все, даже слушают концерты, — сказала Анна и засмеялась своей остроте, но смех закончился плохо замаскированным зевком.

Это был уже совершенно недвусмысленный намек, и я пожелал ей спокойной ночи. Она побежала вниз, в полумраке обернулась и еще раз помахала мне рукой. Я остался стоять на площадке. Людей становилось все меньше — вот прошли трое, за ними еще трое, потом какая-то запоздавшая пара... Я собрался уходить, когда в широком, украшенном колоннами вестибюле появилась женщина. Она была одна.

Ее красота была великолепна, ни с чем не сравнима. Овальное лицо, низкие дуги бровей, темные глаза, невозмутимо ясный выпуклый лоб — все это как будто еще не прорисовалось четко, подобно рассвету в летнюю пору. Законченными, хотелось бы сказать — окончательно оформившимися были лишь ее губы, казавшиеся более взрослыми, чем все лицо. В их выражении было нечто, создающее радостное ощущение чего-то легкого, певучего и вместе с тем очень земного. Ее красота изливалась на все, к чему бы она ни приближалась. Подойдя к лестнице, она оперлась белой рукой о шероховатый камень, и мне показалось, будто мертвая глыба на мгновение ожила. Она направлялась ко мне. Ее тяжелые, свободно спадающие волосы отливали всеми оттенками бронзы, золотисто поблескивающей на свету. Когда она подошла совсем близко, я удивился: так она была невысока. У нее были гладкие, четко обрисованные щеки и детская ямочка на подбородке. Подойдя, она заглянула мне в глаза.

— Ты один? — спросила она.

— Один, — ответил я и представился.

— Калларла, — в свою очередь назвала она себя. — Я биофизик.

Это имя было мне знакомо, только я не мог припомнить откуда. Мы постояли так секунду, и эта секунда показалась мне вечностью. Затем она кивнула и со словами: «Спокойной ночи, доктор», — стала спускаться по лестнице. Длинное почти до пола платье скрывало движения ее ног, и я видел лишь легкое колебание ткани. Некоторое время я смотрел, как она, стройная и гибкая, сходит или, вернее, плывет вниз. Проведя рукой по лицу, я понял, что улыбаюсь, но улыбка быстро погасла. Я вдруг понял: в лице этой женщины было нечто болезненное. «Нечто» очень незначительное и незаметное для окружающих, но оно, безусловно, существовало. Такое лицо могло быть лишь у того, кто умело скрывает свое страдание от любимого человека. Заметить его может только совершенно чужой человек, и то лишь при первом взгляде, потому что потом, привыкнув, он не увидит ничего.

«Что ж, — подумал я, — каждый из этих сотен людей, которые идут теперь отдыхать в свои уютные апартаменты, взял с собой к звездам земные дела; ведь перед путешествием в бесконечное пространство их нельзя было отряхнуть, как отряхнули мы от наших ног пыль Земли».

ПАРК В ПУСТОТЕ

На следующий день в одиннадцать часов по земному времени должен был начаться первый самостоятельный полет «Геи». В подковообразном зале рулевого управления в ожидании этой торжественной минуты собралось почти три четверти экипажа.

Астрогаторы Тер-Аконян, Сонгграм, Гротриан и Пендергаст, главные конструкторы Ирьола и Утенеут, атомники, механики, инженеры по очереди переходили от одного аппарата к другому; контрольные лампочки утвердительно мигали, как бы отвечая на вопросы. У передней стены, выполненной из цельной отполированной каменной плиты, возвышался главный пульт управления. Закончив подготовку, астронавты сняли с него чехол, и мы увидели маленький черный пусковой рычаг, которого еще не касалась ничья рука. Повернуть этот рычаг должен был Гообар. Мы ожидали

его с минуты на минуту; однако уже пробило одиннадцать, а ученый все не появлялся. Среди астрогаторов было видно некоторое замешательство; они стали перешептываться. Наконец старший из них, Тер-Аконян, связался с рабочим кабинетом профессора. Поговорив с минуту, он прикрыл рукой микрофон и негромко сказал окружающим его астрогаторам:

— Забыл...

Это слово, передававшееся из уст в уста, вызвало в зале легкий шум. Тер-Аконян говорил что-то еще, но так тихо, что, даже стоя в первом ряду, я ничего не слышал. Отложив трубку, первый астрогатор погладил бороду и произнес:

— Немного терпения. У него возникла какая-то идея; ее необходимо записать. Через пять минут он будет здесь.

Прошло не пять, а все пятнадцать минут. Наконец за стеклянной перегородкой, у лифта, загорелся свет, раскрылась дверь и вошел или, вернее, вбежал Гообар; вероятно, он хотел наверстать упущенное по его вине время. Увидев зал, заполненный людьми, которые расступались, освобождая для него дорогу, он приостановился, будто удивившись столь многочисленному собранию, и направился прямо к астрогаторам. Гообар нарушил весь распорядок торжественного события, потому что прежде чем Тер-Аконян успел сказать хоть слово — а по выражению его лица и по тому, как он поглаживал бороду, я догадался, что он собирается произнести речь, — Гообар, перепрыгивая через три ступеньки, поднялся на возвышение, спросил у стоявшего к нему ближе всех Ирьюлы: «Это?» — и поспешно передвинул рукоятку.

Все лампы в зале начали постепенно гаснуть, вспыхнули бегущие длинными рядами по стенам прямоугольники; в каждом таком оконце на цветном фоне вздрагивала черная игла. Послышалось слабое жужжание автоматов, корпус корабля чуть заметно дрогнул, и лобовая стена раздвинулась, открывая экран с бездонной пустотой, скоплениями звезд и — на переднем плане — светящейся объемной схемой «Геи», похожей на пылающий остов рыбы, нацсленный в мрак. По мере того как волны, излучаемые автоматами, управлявшими всеми процессами на корабле, включали пусковые реле, трансмиссии, группы гелий-водородных реакторов и взлетно-посадочные устройства, в глубине схемы вспыхивали розовым светом тысячи нитей.

Гообар — его темная фигура четко вырисовывалась на фоне звездного неба — спустился с возвышения, отошел в сторону и, покашливая, словно спрашивал себя: «Что же я тут натворил?» Когда вновь зажглись яркие светильники на

стенах зала, все стали искать профессора, но великий ученый исчез, ускользнув, вероятно, в ближайший лифт, а там в свою лабораторию.

Теперь Ирьюла и Тер-Аконян заняли места у пульта управления. Плавно и вслпчественно «Гея» сходилa с орбиты, которую она послушно описывала вокруг Земли с момента своего создания. Развернувшись по широкому кругу, она устремилась за пределы притяжения нашей планеты. На ярко светящейся схеме было видно, как из осевых дюз вытекает ровная струя атомных газов. Корабль начал маневрировать в космическом пространстве. Решив, что лучше наблюдать за этими маневрами со смотровой палубы, я направился к лифту; впрочем, не я один — исход любопытных был массовый. Выйдя на палубу, я, однако, подумал, что людей там немного; это впечатление создавалось из-за ее размеров: смотровая палуба была длиною в 550 метров, а поскольку их было две, то, если бы все население корабля разместилось на палубах в один ряд, люди стояли бы друг от друга на расстоянии пяти метров.

«Гея» то ускоряла ход, то тормозила, поворачивала и скользила по сужающейся спирали. Все эти маневры, плавные или порывистые, едва ощущались, и только небо иногда вращалось каким-то удивительным образом и так быстро, что созвездия преображались в сверкающие вихри, между которыми мчались, словно два факела, ртутно-белая Луна и голубая Земля. Через несколько минут у меня закружилась голова от этих «звездных фейерверков» и «звездопадов», я присел на скамйку, повернувшись спиной к звездному зрелищу, и закрыл глаза. Когда же открыл их, небо было совершенно неподвижно. Это меня удивило: я чувствовал силу тяжести — корабль вращался вокруг продольной оси. Но Утенсут объяснил мне, что «Гея» действительно продолжает вращаться в одну сторону, однако «глаза» телевизоров, передающих панораму пространства, двигаются в противоположном направлении, и зрителю кажется, что по отношению к звездам корабль неподвижен.

— Так, значит, непосредственно мы неба не видим сквозь эти стеклянные стены? — сказал я. — А я-то думал, что это гигантские окна!

В этот момент в толпе, наблюдавшей за небом, загомонили. Я заглянул в черную бездну. Далеко внизу, так что нужно было прижаться лицом к холодной плите, чтобы это увидеть, на фоне мириадоз звезд переливались маленькие цветные фонарики — розовые и зеленые. Между ними мель-

кали быстрые очертания ракет, похожих на серебряных рыбок, плавающих в черной воде.

Мы пролетали над детским межпланетным парком. Случайно или намеренно «Гея» замедлила движение и начала несколько снижаться. Земля осталась за кормой, и ее свет не мешал рассматривать картину, разворачивающуюся внизу. Не без волнения узнавал я хорошо знакомую с детства модель Солнечной системы, построенную в межпланетном пространстве. Вот Солнце — огромный, пылающий золотом шар; неподалеку от него плыл вулканический Меркурий, дальше бежали белоснежная Венера, голубая Земля и оранжево-красный Марс. Еще дальше лениво кружили модели крупных планет: Юпитера, полосатого Сатурна с его кольцами, Урана, Нептуна, Плутона и Цербера. Мы видели, как по «улицам» парка, обозначенным ожерельями световых точек, проплывали астрокары с детьми-экскурсантами. Вот они миновали пылающее Солнце, извергавшее настоящий огонь, и стали рассматривать планеты. Проворно описав круг около Меркурия, подлетели к модели Земли. На определенном расстоянии от модели — сидя в астрокаре — трудно было отличить нашу родную планету от этого стеклянного глобуса диаметром в двадцать метров, освещенного изнутри, так велико было сходство. Мне показалось, что я слышу вопли удивления и восторга, какими дети неизменно встречали появление «близнеца» Земли. Я попытался отыскать модели Юпитера и Сатурна, но они были слишком далеко и терялись во мраке.

«Гея» долго висела над межпланетным парком, я подумал даже, не случилось ли что-нибудь. Потом вспомнил, что астрогаторы тоже были когда-то детьми.

На третий день жизни на «Гее», заглянув с утра в пустую больницу и пройдясь по операционному залу, я поднялся на лифте на пятую палубу, которую неофициально, но единодушно называли «городом». Эта палуба была расчерчена пятью коридорами, сходящимися в двух больших залах. Лифт доставил меня в один из этих залов — овальный, с цветником и белой мраморной скульптурой посередине; в плавно закругляющейся стене открывались пять входов; каждый из них вел в просторный, похожий на улицу коридор, освещенный разноцветными лампами. Посреди коридоров тянулись узкие цветочные клумбы, на стенах с большой фантазией были нарисованы фасады домов. Только входные двери на этих картинах были настоящие и вели в квартиры. Я пошел по коридору, освещенному лимонно-желтыми лам-

пами. Однако бесцельная ходьба скоро надоела, и я собирался вернуться, как вдруг заметил в отдалении знакомую коренастую фигуру Тер-Хаара. Мы оба обрадовались этой встрече.

— Изучаешь «Гёю»? — спросил он. — Прекрасно! Знаешь, как назывались улицы в древних городах? По профессии их обитателей: Гончарная, Сапожная, Кузнечная... Здесь перед тобой древний обычай в новом виде: мы сейчас на Улице физиков; зеленая — Улица биологов, розовая — кибернетиков...

— А зачем разноцветное освещение? — спросил я. — Похоже на какой-то карнавал...

— С одной стороны, для разнообразия, а с другой — для облегчения ориентировки. Так ты не заблудишься в нашем городе. Теперь тебе надо познакомиться с людьми.

Он стоял, слегка расставив ноги, и потирал подбородок.

— О чем ты задумался? — спросил я.

— Да вот думаю, куда нам для начала направиться.

Он взял меня под руку. Пройдя несколько шагов, мы остановились перед изображением домика под соломенной крышей, на которой сидел в гнезде белый аист и, забавно выгнув шею, смотрел на нас.

— Вот здесь живет Руделик, — сказал Тер-Хаар. — Я хочу, чтобы ты с ним познакомился поближе. Он того стоит.

— Это тот самый?..

— Да, знаменитый специалист, атомный физик.

Он открыл дверь. Мы вошли в небольшую переднюю, в конце которой была другая дверь. Историк пропустил меня вперед, я сделал еще шаг и замер в изумлении.

Прямо перед нами на черном как смола, усеянном звездами небе высились круто уходящие вверх ребристые скалы, то черные, то белые — как раскаленное железо. Иссеченные вершины скал образовали дугу, опоясывающую горизонт, и совсем низко над этой каменной пустыней висел тяжелый голубой диск Земли. Я сразу узнал лунный пейзаж. Под ногами у меня лежала скала, вся в мелких трещинах; в шести шагах от меня она обрывалась, как обрезанная ножом. Там, между двумя скалами, свесив ноги в пропасть, удобно расположился молодой человек лет двадцати с небольшим, в сером домашнем одеянии. Увидев нас, он приветливо улыбнулся и встал.

— Где это мы находимся? — спросил я, обмениваясь с ним крепким рукопожатием.

Тер-Хаар подвел меня к самому краю обрыва. Пейзаж,

открывающийся отсюда, был потрясающий. Стена, вся в черных ямах и шероховатых выступах, гигантскими ступенями уходила вниз; в нескольких десятках метров отсюда на ней виднелись острые зазубрины, поблескивавшие на солнце; дно пропасти, покрытое мраком, было невидимо.

— Мы на северном скате Галлея, — сказал Руделик, — отсюда открывается самый лучший вид вон на ту стену.

И он, протянув руку, показал на освещенный солнцем обрыв, покрытый тонкими, черными трещинами. Над обрывом нависала грибообразная вершина.

— Непрístupная, так называемая Прямая стена! — сказал я с неподдельным уважением. Во мне проснулся альпинист, вернее, селенист; я не раз участвовал в восхождениях на лунные горы.

— К сожалению, пока — да, — сказал Руделик и снова улыбнулся, на этот раз чуть печально. — Я четыре раза ходил туда с братом. Но все еще не сдаюсь.

— И правильно, — сказал я. — Там козырек, пожалуй, выступает метров на тридцать?

— На сорок, — уточнил Руделик. — Теперь я думаю, что если бы попытаться подняться в пятый раз вон там, где виднеется небольшая впадина... Видишь?

— А может, она упирается в тупик? — заметил я и шагнул вперед, чтобы повнимательнее рассмотреть это место, но физик виновато улыбнулся и остановил меня, взяв за руку.

— Дальше нельзя, набьешь шишку! — сказал он.

Я опомнился. Мы ведь были не на Луне!

— Ну и что ты теперь делаешь? — спросил я.

— Да ничего. Просто смотрю. Меня это место очаровало. Что же вы стоите, садитесь, пожалуйста. Вот здесь, — указал он на выступ над пропастью.

Мы последовали его совету.

— Хорошее у тебя жилище. — Я улыбнулся, не отрывая взгляда от первозданного лунного пейзажа, напоминавшего внезапно окаменевший и застывший навеки вулкан. В пяти километрах от нас, окруженное хребтами, лежало дно кратера — мертвое, плоское, иссеченное расселинами. — И мебель приличная, — добавил я, постучав по скале, которая отозвалась, как ящик, гулким эхом.

Руделик коротко рассмеялся.

— Когда я был в последний раз здесь, вернее, там, — после недолгого молчания продолжил он, — мне в голову пришла одна мысль. Потом я забыл ее и подумал, что надо

вернуться туда, где она появилась: может быть, она вновь придет в голову. Знаете, есть такая старинная примета...

— Ну, и что же? Вспомнил?

— Мысль не появилась... но совсем отказаться от этого пейзажа мне трудно... Однако, кажется, уже пора?

Он наклонился над пропастью так, что я невольно ощутил противную дрожь и протянул руку, чтобы придержать его. Вдруг весь лунный пейзаж исчез, словно на него дунули. Тер-Хаар и я в один голос расхохотались: мы сидели в небольшой треугольной комнате, на письменном столе, свесив ноги вниз. В углу стоял математический автомат, покрытый эмалью янтарного цвета. Между креслами, низко на стене висела фотография; наклонившись, я узнал горный хребет на Луне, который мы только что видели «в натуре». Местность, изображенная на снимке, поражала дикой красотой.

— Это туда ты делал восхождения четыре раза? — спросил я, не сводя глаз с фотографии.

— Да.

Руделик взял снимок в руки и стал внимательно рассматривать его, немного наморщив брови. «Как чей-то портрет», — подумал я. Ребра скалы на снимке были не крупнее морщинок на его лице, но напоминали ему места, где он яростно боролся, атаковал, отступал...

— Битва за жизнь, — пробормотал я.

Он отложил снимок и бросил на меня быстрый взгляд.

— А ты занимаешься альпинизмом? — спросил он.

Я утвердительно кивнул в ответ.

Он оживился:

— А вот как по-твоему: решающую роль в увлечении альпинизмом может играть любовь к риску?

— Знаешь... по правде говоря, я не задумывался над этим, но, пожалуй, да.

— А мне это главным не кажется, — сказал он минуту спустя. — Мой брат говорит: мы можем небольшим атомным зарядом стереть с лица Земли целую горную цепь, потому что мы — владыки природы. Но иногда возникает желание дать природе равные с нами возможности. Побороться с ней лицом к лицу, один на один, без механических союзников. Так говорит мой брат. Но я бы сказал по-другому. На Земле мы в таком положении, что малейшее наше желание, любой каприз мгновенно исполняются. Нам покорны горы и бури, пространство в любом направлении открыто перед нами. Но человеку всегда хочется побывать на границе возможностей, там, где уже исследованное, изученное соприкасается с тем,

что еще не освоено и грозит опасностью. Поэтому мы и стремимся в горы.

— Может быть, — согласился я, — но чем же объясняется повальный интерес к лунным экскурсиям? Ведь и на Земле достаточно высоких гор, взять хотя бы Гималайский заповедник.

— Вот именно, заповедник! — стремительно возразил Руделик. — А я должен тебе сказать, что всегда предпочитал кататься на лыжах на лунах Нептуна, а не в Альпах, хотя по нашему земному снегу куда лучше скользить, чем по замороженному газу... И все же я, как многие другие, предпочитал прогуляться на спутник Нептуна. А почему? Да потому, что дикость горных районов Земли не натуральна. Они существуют только потому, что таково наше желание: мы охраняем их неприкосновенность. Значит, несмотря на кажущуюся дикость, они составляют часть нашего «культурного» окружения. А на спутниках других планет ты сталкиваешься с природой во всей ее первозданности.

Неожиданно в разговор вмешался молчавший до сих пор Тер-Хаар:

— Не знаю, может быть, у меня слишком сильно развит инстинкт самосохранения или я страдаю самой обыкновенной трусостью, но, признаюсь, не люблю карабкаться по горам. Альпинизм никогда не привлекал меня.

— О, это не имеет ничего общего с храбростью, — сказал Руделик. — В свое время в пустынях Плутона работала исследовательская экспедиция...

Он внезапно замолчал и с новым любопытством посмотрел на меня.

— Твой отец врач? — спросил он.

— Да.

— Я знаю его.

Я ожидал, что он продолжит разговор на эту тему, но он возвратился к тому, о чем начал рассказывать.

— Экспедиция, кажется, искала месторождения каких-то ископаемых. По окончании работ все ракеты улетели, кроме одной, экипаж которой должен был демонтировать и забрать оборудование. Эта работа по какой-то причине затянулась, и кислорода в ракете осталось лишь столько, чтобы добраться до ближайшей звездоплавательной станции Нептуна. В день, когда ракета должна была отправиться в путь, один из членов экипажа пошел собирать зонды для определения космического излучения, размещенные на окружающих скалах. Он тоже не любил лазать по горам, но та-

кова уж была его обязанность. Где-то на склоне он оступился и сломал ногу в нескольких местах. Вдобавок он разбил телеэкран и не мог известить остальных. Восемнадцать часов он полз до ракеты. Потом он рассказывал: «При малейшем движении боль так усиливалась, что я не раз терял сознание. Если бы я был уверен, что товарищи улетят раньше, чем кончится запас кислорода, я бы умер, а не двинулся с места. Но я знал, что они не улетят, будут искать меня и, если это затянется, им не хватит кислорода на обратный путь. Значит, сказал я себе, надо дойти...»

— Его, конечно, ждали? — сказал я.

— Разумеется. Кислород подходил к концу, но они по пути встретили ракету безлюдного патруля, и та снабдила их кислородом. Видишь, Тер-Хаар, человек, о котором я рассказал, тоже не любил ходить по горам. Нет никакой связи между такой чертой характера, как храбрость, и любовью к альпинизму.

— Ты знал этого человека? — спросил я.

— Нет. Его знал твой отец, — ответил Руделик. И, видя мое изумление, добавил с улыбкой: — Твой отец был врачом той экспедиции и лечил его.

— Когда это было?

— Давно, лет сорок назад.

Я молчал, меня ошеломила эта история.

Тишину прервал Тер-Хаар.

— Знаете ли вы, — спросил он, — почему символ ракетных пилотов — пламя?

— Такая серебряная искорка на черном поле, — сказал я. — Там еще есть какие-то слова, кажется: «Сквозь пламя». Вообще-то я никогда об этом не задумывался, но, наверное, потому, что пламя движет ракеты.

— Возможно, — возразил Тер-Хаар. — Но пилоты любят говорить об этом иначе. Существует легенда, которую мне рассказал Амета. Ты знаешь Амету? Нет? Тебе стоит познакомиться с ним. Так вот, в XX и XXI веках, во времена первых ракетных полетов, было много жертв. Одна из первых ракет, отправлявшихся на Луну, была в момент старта охвачена огнем. На ней вспыхнули сразу все баки с горючим, занимавшие тогда девять десятых объема ракеты. Пилот мог бы сбросить горящие баки, но они в таком случае упали бы на город. Поэтому он лишь увеличил скорость. Он сгорел, но «сквозь пламя» вывел ракету за пределы Земли. Вот откуда эти слова.

— Это значит, — добавил Руделик, — что человек мо-

жет не просто изобрести то, чего во Вселенной не существовало, но и соответствовать этому...

— Так ты знаешь моего отца, — сказал я, прощаясь с Руделиком. — Жаль, что мы сказали о нем всего несколько слов. Может быть, ты когда-нибудь расскажешь о нем побольше...

— Конечно, — ответил он, пожимая мне руку. — Но мне кажется, что мы все время говорили о нем.

Идя рядом с Тер-Хааром под лампами коридора, изливавшими желтоватый свет, я был так занят собственными мыслями, что совсем не замечал встречных. Пройдя «улицу» физиков, мы очутились в овальном зале, с которого я начал свое путешествие. Тер-Хаар сел на скамью под белой статуей, взглянул на меня исподлобья и спросил, чуть заметно улыбаясь:

— Ну как, хочешь еще?

— Чего? — спросил я, возвращаясь к действительности.

— Людей. Людей «Геи».

— Ну конечно же.

— Хорошо. Куда двинемся?

Он встал и, показывая открывавшиеся перед нами пролеты коридоров, сверкавшие всеми цветами радуги, заговорил торжественно, словно рассказывая какую-то сказку:

— Пойдешь направо — увидишь чудо... Ты уже увидел его, — быстро добавил он обычным голосом. — Пойдешь прямо — узнаешь тайну... Ну, пусть будет тайна! Проснись наконец, доктор! Идем!

— Куда?

— Туда, где тайна. На Улицу биологов.

Мы пошли по коридору, освещенному зеленым светом. Тут на стенах тоже были нарисованы домики.

— Здесь живет Калларла, жена Гообара, — сказал историк.

— Жена Гообара? — повторил я.

Калларла было имя незнакомки, которая подошла ко мне в первый вечер на «Гее».

— Да.

— А он тоже тут?

— Он живет здесь же, только с другой стороны, вход к нему с Улицы физиков. Оба жилища соединены внутренним коридором. Но Гообара проще всего найти в его лаборатории.

На Земле о человеке многое можно узнать по обстановке его жилища. Здесь же, на корабле, о характере обитателя

говорит даже вид за окнами, потому что каждый выбирает произведение видеопластики по своему вкусу. Не успел я подумать об этом, как двери отворились и мы с Тер-Хааром ступили на порог.

Мы очутились в простом деревенском домике, с полом и потолком из некрашенных досок соломенного цвета. Посередине стояли низкий стеклянный стол и кресла с отогнутыми назад спинками. На полу у стен было много зелени — простой травы, без цветов. Изнутри эта комната как бы была продолжением сада, печально мокнувшего за окнами, — там шел дождь. Вдали тянулись тучи — не по небу, а совсем низко, по вершинам холмов. В разрывах облаков иногда показывались черные и рыжеватые склоны, а дождь продолжал лить монотонно, не ослабевая; постоянно был слышен его легкий стук по крытым гравием дорожкам, журчанье стекавшей по желобу воды и даже шум лопавшихся на лужах пузырей. Этот вид настолько поразил меня своей будничностью, что я остановился как вкопанный и стоял так, пока хозяйка не появилась передо мной с протянутыми руками.

— Я привел к тебе почти коллегу по профессии: нашего доктора, — сказал историк.

В слабом свете пасмурного дня, падавшем сквозь широко раскрытые окна, Калларла показалась мне еще ниже ростом и моложе, чем при первой встрече, на ней было домашнее платье из темно-красной ткани с таким тонким и запутанным рисунком, словно это был вышитый серебром план лабиринта. Кроме нее в комнате были еще двое: девушка с тяжелыми рыжими волосами, ниспадавшими на голубое платье, и атлетически сложенный мужчина.

— Вот Нонна, она архитектор, жаждет познакомиться с зодчеством на других планетах, — сказала Калларла. — А это Тембхара, кибернетик.

— Злые языки говорят, что я создаю электромозги, потому что сам ленив, но ты этому не верь, ладно? — сказал мужчина. Он подался вперед, и я увидел его лицо. Оно было темное, — наверное, у него были негритянские предки. На мгновение на этом лице появилась улыбка, ослепительная, как молния.

Калларла пригласила нас сесть. Я предпочел подойти к окну — так манил меня доносившийся оттуда терпкий, густой запах листьев и мокрой хвои. Подняв голову, я увидел, как на краю крыши собираются крупные капли воды, в которых отражается просвечивающее кое-где голубое небо, как капли одна за другой сбегая по карнизу, задержива-

ются у его края и, будто наконец решившись, бросаются вниз. Я протянул руку, но падающая капля неощутимо, светлой искрой прошла сквозь пальцы. Я удивился не столько этому — иного нечего было ожидать, — сколько собственному разочарованию. Опершись на подоконник, ощущая легкое дыхание ветерка, я повернулся к присутствующим. Разговор, прерванный нашим приходом, возобновился.

— И как же ты представляешь себе архитектуру, неподвластную силе притяжения? — спрашивал Тембхара рыжую девушку.

— Я думаю о конструкциях без вертикальных линий, — ответила она. — Представьте себе двенадцатиконечную звезду с лучами-башнями, направленными во все стороны. На основных осях я устроила бы анфилады...

Она рисовала рукой в воздухе. Я слушал ее, все больше удивляясь, и спросил:

— Прости, пожалуйста, а из чего?

— Из льда. Ты, наверное, знаешь, сколько воды выбрасывается за пределы Земли из-за сокращения поверхности океанов. Я стала бы строить дворцы из воды, вернее, из льда; при температуре космоса он обладает неплохими строительными качествами.

— А, в межпланетном пространстве! — воскликнул я. — Значит, это будут летающие звездочки-снежинки, увеличенные в миллиарды раз? Но... кто в них будет жить?

Все рассмеялись, а Тембхара сказал:

— В том-то и дело, что никто. Желающих нет. Бедная Нонна, она не может строить свой замок и очень горюет по этому.

— Да, — сказала молодая девушка, вздыхая, — я все яснее вижу, что раньше времени впуталась в эту историю.

— В какую историю?

— В жизнь. Надо было родиться в стотысячном году; может быть, тогда мои ледяные дворцы игодились бы на что-нибудь.

— И опять ты выбираешь неудачное время, — сказал Тер-Хаар. — Говорят, что в стотысячном году Солнце, как обычно через каждые четверть миллиона лет, снова попадет в скопление космической пыли и начнется галактическая зима.

— Эпоха обледенения?

— Да. Тогда будет огромное количество льда, и столько нужно будет тратить энергии, чтобы его растапливать, что никто и взглянуть не захочет на твои дворцы.

— А Солнце тогда будет красным, как кровь, — сказала в наступившей тишине Калларла.

Все повернулись к ней, но она не произнесла больше ни слова.

— Конечно, — закончила за нее Нонна. — Солнце будет красное, потому что космическая пыль поглотит все лучи, кроме красных.

— Любопытно! Вы говорите об этом, словно сами пережили по меньшей мере десяток таких зим, — вставил Тер-Хаар.

— Мы просто знаем о них, — возразила Нонна.

— Это не одно и то же, — сказал историк. — Одно дело — наблюдать самому, как галактическая весна сменяет зиму, видеть возникновение горных хребтов, образование складок на поверхности Земли, высыхание морей; другое дело — знать обо всем этом. В геологическом масштабе жизнь человека похожа на жизнь бабочки-однодневки. Мы знаем факты, но не можем заранее знать, какие чувства они вызовут.

— Если бы какое-нибудь существо жило миллиард лет... — проговорила Нонна и умолкла.

Вновь наступила тишина, лишь дождь шумел за окнами.

— Мне снился недавно странный сон, — тихо сказала Калларла. — Будто я создала в лаборатории искусственные организмы. Это были маленькие розовые существа. Они размножались так быстро, что я видела, как розовая плесень затягивает лабораторию, и задумала провести грандиозный опыт. Выбрала звезду, не слишком жаркую и не слишком холодную, приблизила к ней планету нужной величины, омыла пустыни этой планеты океаном, окружила мягким слоем воздуха и привила на ней жизнь в виде моих розовых созданий. После этого я предоставила их собственной судьбе. Не помню, что было потом. Проходили сотни тысяч, может быть, даже миллионы лет, а я все это время жила и даже не старела.

— Чисто женский сон, — пробормотал внимательно слушавший Тембхара.

Калларла улыбнулась своими темными глазами и продолжала:

— В один прекрасный день я вспомнила о моем опыте и решила посмотреть, что произошло с жизнью, заброшенной на поверхность планеты. Как она развивалась? Ушла ли в глубь океана? Покрыла ли континенты? Какие приобрела формы? Так думала я во время подготовки к полету. А по-

том, направляясь к своей планете, почувствовала странную тревогу. Создав белковые структуры, я открыла перед материей все возможности эволюции. И теперь представила себе миллионы существ, развившихся из моих невинных розовых крошек. «Видят ли они свой мир? — подумала я. — Слышат ли шум ветра? А может быть, они уже овладели всей планетой, начали изучать самих себя и задали вопрос: откуда мы взялись, как возникли?» Тогда я подумала, что дала им не только начало, но и конец, что, создавая жизнь, одновременно создала и смерть. Когда я увидела закрытую облаками, огромную, как небо, планету, тревога сменилась печалью и страхом, и я проснулась...

— Вот что тебе снится! — воскликнула с завистью Нонна. — А я в лучшем случае ссорюсь во сне с испорченными автоматами!

— Твой сон возник из страстного желания творить; его все мы испытываем, — сказал я. — Его породило ожидание открытий, которые таятся в конце нашего пути, в созвездии Центавра.

— И он типичен для начала путешествия, — добавил Тер-Хаар. — Позднее, ощущая тоску по родине, мы будем во снах не столько опережать события, сколько возвращаться на Землю...

— А я вам говорю, что в этом сне речь шла совершенно о другом, — возразил Тембхара, укладывая свои длинные кисти на стеклянную поверхность стола, как на клавиатуру фортепиано. — Это типичный сон жаждущего знаний биолога. Мы же ничего не знаем о развитии органической жизни на других планетах. Знаем историю жизни только на Земле и Марсе, но эти планеты — дети одного Солнца. А как развиваются живые существа при свете переменных звезд, которые то сжимаются, то расширяются, подобно пульсирующим сердцам? Ведь это изменение света должно как-то отразиться на живом веществе — самом восприимчивом материале! А жизнь на планетах, входящих в системы остывающих красных гигантов? А в сферах двойных звезд, там, где планеты освещаются попеременно то одним, то другим светилом, а то и обоими сразу? Или в мощных лучах голубых солнц?..

— Их излучение смертоносно, — вставил я. — Там жизнь наверняка отсутствует.

— Можно создать защитные приспособления — панцири из сплава, содержащего много солей тяжелых металлов... Подумайте: возраст звезд не одинаков, также не одинаков и

возраст планет; значит, на одних планетах, подобных Земле, можно найти ранние стадии развития жизни, на других — более поздние, чем на Земле. Но это еще не все. Сон Калларлы ставит вопрос: представляем ли мы сами, вся наша земная флора и фауна, по отношению к другим обитателям Космоса нечто среднее, статистически наиболее часто встречающееся, либо мы — исключительный вариант, редкая особенность... Может быть, мы уникальны, и существа с других звезд, знакомясь со структурой наших организмов, будут качать головами...

— Если у них есть головы, — вставила Нонна.

— Конечно, если они есть.

— Значит, ты считаешь, что человек в Космосе — такая же редкость, как двухголовый теленок? — спросил я.

Казалось, Тер-Хаар немного расстроен; он спросил, обращаясь к Тембхаре:

— Ты ведь не утверждаешь этого всерьез?

— Я вообще ничего не утверждаю, это ее сон ставит такие вопросы. — Великий мастер кибернетики слегка склонил голову перед молодой женщиной, которая в течение всего спора сидела неподвижно, и на ее спокойном лице временами появлялась, словно крошечный огонек, сдержанная улыбка.

— Ну хорошо. — Тер-Хаар повернулся к ней. — Разрешите же теперь наш спор: что означал твой сон, какова была цель твоего опыта?

— Не знаю.

После такого ответа следовало ожидать, что все рассмеются, но в комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумом дождя за окном. Мне давно не было так хорошо и спокойно, как сейчас; в раздумье я следил, с каким достоинством передвигаются по карнизу дождевые капли.

— Не знаешь?.. — отозвался Тер-Хаар; в его голосе слышалось разочарование. — А наяву ты могла бы проделать такой опыт?

— Боюсь, что нет, — ответила, помолчав немного, Калларла.

— Почему?

Она наклонила голову.

— Не потому, что у меня не хватило бы смелости, но... Не знаю, право, не знаю...

— Может быть, это кажется тебе каким-то гротескным подражанием деяниям Бога, того творца, в которого верили встарь? — подзадорил ее Тер-Хаар.

Калларла промолчала. Улыбка постепенно сошла с ее лица.

Тут раздался далекий стеклянный звук, словно скатившийся с покрытых вечерним сумраком гор.

— Обед! — сказал Тембхара, вставая, и лишь теперь я заметил, какой он высокий. — Ну и засиделись же мы!

Прощаясь с женой Гообара, я немного задержался и вдруг спросил:

— У тебя часто идет дождь?

— Часто. Ты любишь дождь?

— Да.

— Тогда заходи.

Я вышел в коридор и услышал громкий голос Тембхары:

— Это же совершенно нерсально: результатов такого опыта нужно было бы ждать сотни миллионов лет. Если бы он и удался, то откуда взять столько терпения?!

Он рассмеялся, открыл дверцу лифта и вошел в него вслед за остальными. Стеклянная кабина бесшумно исчезла в глубине шахты, но его низкий смех еще долго звучал в моих ушах.

Тер-Хаар просил зайти к нему после обеда. Искать его надо было в исторической лаборатории, и Нильс, сын инженера Ирьюлы, взялся проводить меня туда. Помещение, где работали историки, находилось на корме, коридоры там были ниже и поуже, чем в центральной части корабля.

— Это здесь, — сказал Нильс, пропуская меня вперед.

Мне пришлось пережить еще одну неожиданность. Я думал, что попаду в просторное, светлое помещение, где ученые-историки исследуют старые манускрипты, пергаментные рукописи. А мы очутились на пороге погруженной в полумрак комнаты, такой узкой и высокой, что взгляд терялся в темноте острроверхого свода, похожего на внезапно застывший взмах крыльев гигантской летучей мыши. Длинные столы и пюпитры у стен были сделаны из лиственницы. Там под низко висящими лампами сидели ученые. Один из них обернулся — это был Тер-Хаар. Ослепленный светом, он прикрыл рукой глаза и воскликнул:

— А, это вы?! Вот что, дорогие, подождите-ка минуточку. Хорошо? Я сейчас закончу.

Делать было нечего; я стал рассматривать сидящих за столами. Кроме Тер-Хаара в комнате работали еще двое. На лицо одного из них, Молетича, падал свет, отраженный от разбросанных на столе бумаг. Кое-кому Молетич казался

смешным. Мне — никогда. Правда, у него была узкая голова с подбородком, торчавшим, как локоть; к тому же еще и оттопыренные уши, которые на обычной голове не привлекали бы внимания, но на этой назойливо лезли в глаза. Молетич всегда улыбался, как бы говоря: «Ничего, что я смешон, я это знаю, и даже, видите, это и меня самого забавляет».

Позднее Тер-Хаар рассказывал мне, как Молетич с хитрым бескорыстием подсовывал молодым ученым свои идеи, а те принимали их за собственные. Знания его были огромны. В этот момент, когда я первый раз вошел в историческую лабораторию, мне пришлось слушать, как Молетич пылко жалуется на отсутствие архивных данных, касающихся какого-то Гинтера или Гитлера! Такое мелочное копание в остатках седой старины казалось второстепенным занятием. И тут мне пришло в голову, что не следует прислушиваться к разговору ученых, если тебя к этому не приглашали, и я стал смотреть, куда девался Нильс. Он стоял неподвижно в глубине зала, запрокинув голову. Следуя за его взглядом, я увидел на стене большой четырехугольник и поначалу принял его за окно. Но это не было окном.

Забыв об окружающем, я двинулся к четырехугольнику, не сводя с него глаз. Зал освещался немногими довольно слабыми лампами, подвешенными над столами, их рефлскторы были направлены вниз, и на стены падал лишь отраженный отблеск. В полумраке я увидел большую картину, пробудившую одно из самых ранних воспоминаний моего детства. Однажды я нашел в какой-то бабушкиной книге картинку. Она так удивила и вместе с тем привлекла меня, что я не мог от нее оторваться. Бабушка отобрала у меня книжку, говоря, что детям не следует смотреть на зверства варварской эпохи, и вот двадцать лет спустя на палубе «Геи», в затененной лаборатории историков я стоял перед той же самой картиной — огромной, заключенной в почерневшую от старости золоченую раму.

Я подошел к Нильсу и встал рядом с ним. Мальчик, казалось, не дышал. Что он видел там?

Ночь, башни далского города, черное, беззвездное небо и на залитой кровью земле — две группы людей, которых разделял свет фонаря. Одни стояли серовато-коричневой громадой и, втянув головы в плечи, держали, выставив перед собой, короткие палки или трубы. Против них сбились в кучку несколько темных фигур, впереди которых стоял на коленях, выпрямив спину и широко раскинув руки, человек. В его раскинутых руках, во вдохновенном и страш-

ном лице жизнь и смерть смешались так же, как кровь с землей у его ног. Потом, спустя годы, ко мне, уже взрослому, этот человек являлся по ночам в снах, от которых замирало сердце.

Я положил руку на плечо Нильса. Он ничего не понимал, как когда-то ничего не понимал и я, но дрожал, как и я когда-то.

Вдруг яркий свет залил лабораторию: кто-то из историков зажег верхние лампы. И тотчас раздался голос Тер-Хаара:

— Ты этого еще не видел, Нильс?

Мальчик повернул к нему бледное лицо.

— Что... значит эта картина? — с трудом произнес он. — Что делают люди в сером с теми, другими?

Историки подошли к нам.

— Это произведение относится к первой половине девятнадцатого века, — сказал один из них.

— Здесь изображены испанские крестьяне, схваченные отрядом солдат... — добавил Молетич.

— Но это ничего ему не объясняет, — вмешался я. — Эта картина...

— Постой! — повелительно прервал меня Тер-Хаар и тоном, какого я еще никогда у него не слышал, сказал: — А ну-ка, скажи сам! Смелей! Что ты видишь?

Нильс молчал.

— Не смеешь? Нет, говори! Расскажи, что тебе кажется, что ты думаешь, что чувствуешь?

— Кажется, они их...

— Ну, говори!

— Убивают...

Когда прозвучало это слово, наступила абсолютная тишина. Потом Тер-Хаар посмотрел на своих товарищей, на его лице появилось торжествующее выражение.

— Слышите? — Затем, обращаясь к Нильсу, сказал: — Этого художника звали Франсиско Гойя. Он жил тысячу триста лет назад. Запомни его имя: это был один из тех людей, которые никогда не умирают.

Вечером, возвращаясь от Тер-Хаара, я запутался в лабиринте судовых коридоров. Утомленный обилием впечатлений этого дня — он казался бесконечным, — я наконец забрел в широкую галерею, примыкавшую к саду, и уселся на маленькой скамейке. Она стояла у стеклянной стены. За стеной бесшумно раскачивались огромные ветви косматых елей с серебристой хвоей. Вдруг послышался знакомый голос. Меня звала Анна Руис. Она шла от лифта и улыбалась еще

издали. Анна уговорила меня посмотреть видеораму, и мы отправились в зрительный зал; там демонстрировалась предлинная драма в двух сериях — история одной экспедиции. Действие происходило вначале на Сатурне, затем на Юпитере. Хотя нам показали много действительно красивых пейзажей, из которых особенно сильное впечатление произвел один: буря в океане аммиака — настоящая оргия красок, от янтарной до коричневой и золотисто-черной, — тем не менее, уходя из зала, я облегченно вздохнул.

— Ужас! — сказала Анна. — Мне почудилось, будто я в самом деле ощущаю запах аммиака... А когда ракета упала на кольцо Сатурна, я от страха закрыла глаза. Как надоели эти невероятные истории! Теперь буду смотреть только такие произведения, где рассказывается о Земле.

— Уже теперь? — спросил я с улыбкой.

— И теперь и потом, — ответила она, окинув меня серьезным взглядом.

Мы простились, и я остался один в пустом коридоре. Незаметно дошел до серебристого занавеса, закрывающего вход на смотровые палубы, постоял, подумал, не пойти ли отдохнуть, но в конце концов решил, что хорошо будет прогуляться, глядя на звезды. Когда я смотрел на них, меня охватывала какая-то дрожь, и именно поэтому хотелось переломить себя, отбросить даже предположение, будто я боюсь их.

На палубе стоял мрак, который прорезали лучи света, менявшие каждые несколько минут окраску — от серебристой до голубой: очевидно, «телевизионные глаза» перестали вращаться. Я прошел от одного конца палубы до другого, не встретив никого; впрочем, не особенно этому удивляясь: время приближалось к полуночи. Вдруг заметил чью-то тень. Остановился невдалеке. Входила серебристо-белая Луна, на фоне стеклянной стены, озаренной ее ярким светом, резким черным пятном обрисовался силуэт человека — ноги, торс, наконец, голова, словно окруженная ореолом. Потом «Гея» несколько изменила направление, и Луна передвинулась выше, бросив волшебным ярким светом на того, кто стоял на палубе. Это был Гообар. Он смотрел на звезды.

ГОСТЬ ИЗ ПРОСТРАНСТВА

Мы отправились в полет несколько дней спустя. Сначала «Гея» пять раз облетела вокруг Земли. В это время к ней присоединилось множество больших и малых ракет — по-

частный эскорт, который должен был сопровождать «Гею» семьдесят миллионов километров, вплоть до самой орбиты Марса. Внутри Солнечной системы «Гея» двигалась сравнительно медленно: развить полную скорость ей мешала гравитация планет и многочисленных мелких небесных тел. Поэтому шестьсот сопровождавших нас ракет самых разных размеров могли без труда двигаться вместе с нами. Выстроить такую армаду и поддерживать в ней порядок было довольно тяжело, однако наши астрогаторы прекрасно справились с этим делом. Впереди нас, разбросанные на тысячкилометровом пространстве, неслись плоскоголовые пассажирские ракеты, вокруг которых роем вились маленькие суденышки; они то выскакивали из больших кораблей-ракетоносцев, то возвращались в них, чтобы пополнить резервуары горючим. Косяки серебристых рыб плыли выше и ниже «Геи», заволакивая звездное небо распылявшимися полосами огня, вырывавшегося из двигателей. Когда весь этот флот маневрировал, обходя астероиды или потоки метеоритов, Солнце освещало оболочки ракет, и пространство на мгновение заполнялось вспышками, будто рождались и умирали тысячи звезд сразу.

Мы двигались не по прямой линии. Помимо метеоритных потоков и астероидов, обозначенных на карте, нам пришлось обойти стороной зоны, по которым беспрестанно проносились огромные автоматические грузовые ракеты, доставлявшие на Марс воду. Мы проплыли на семь тысяч километров выше этой зоны, так что только в направленные вниз телескопы можно было разглядеть крошечные суденышки, непрерывно циркулирующие по трассе, обозначенной редкими световыми буями.

Через четыре часа мы прошли мимо Луны. Обсерватории на обращенном к нам Южном полушарии Луны послали «Гею» прощальный привет, выбросив в пространство огромный фейерверк из нескольких десятков тысяч разноцветных ракетных огней. Клубы и полосы фосфоресцирующего дыма, расстилавшегося в пространстве, были видны еще час спустя, даже когда тень начала обволакивать серебристое полушарие спутника Земли.

В последнее время на Луне велись большие горные работы. В телескопы «Геи» можно было видеть, как на Море Облаков ковыряются целые стада гусеничных экскаваторов и грейдеров, как взрывы поднимают облака пыли, затмевающие однообразный пейзаж пустыни. Потом в поле зрения телескопа появились стаи ночных бабочек — ракеты, тучей

шедшие за «Гесей» и закрывавшие лунный диск, пока мы отдалялись от него, направляясь к Марсу.

Орбиту красной планеты мы пересекли в точке, удаленной от нас на двадцать шесть миллионов километров; кровавый шар прошел мимо нас с северо-востока на юго-запад и уменьшился за ночь так быстро, что утром следующего дня я, проснувшись, обнаружил лишь небольшое красное пятнышко на краю телевизионного экрана.

Только теперь провожавшие нас ракеты начали разворачиваться, перестраиваться и ложиться на обратный курс. На фоне усыпанного звездами черного неба то и дело вспыхивали алые дымовые сигналы — «дай дорогу». Ракеты по спиралям уходили в стороны, и пространство около «Геи», отдыхавшей с выключенными двигателями, медленно дрейфующей в поле притяжения Солнца, очищалось. В семь часов вчераше эфир в последний раз наполнился бурей звуков: радиопередатчики работали на предельно возможном, стремясь донести до нас многие тысячи прощальных приветствий от тех, кто возвращался на Землю. Ракеты взмывали, как огромные стаи серебристых рыб, и исчезали во мраке. Потом все ракеты, еще не улетевшие к Земле, разом направили длинные лучи своих прожекторов на сверкающий панцирь «Геи». Из ракетных дюз «Геи» выбилось пламя — сначала была пущена группа двигателей разгона, затем группы первого, второго и третьего рядов, и наконец, оставляя за собой длинную полосу угасающих языков пламени, «Гея» помчалась вперед.

Стая серебристых кораблей удалялась на юго-запад и становилась похожей сначала на рой светящихся огоньков, потом — на клубы искр, мерцавших чаще и ярче звезд, и, наконец, на горсть сероватой пыли. Затем и пыль исчезла, как бы растворилась в бесконечном мраке. Лишь Земля, подобная крупной звезде, продолжала сиять голубым светом; на ее полюсах горели желтоватым пламенем два атомных солнца. Никто не уходил с палуб, хотя уже наступила ночь. Даже когда в пространстве исчез последний след великой армады, мы продолжали всматриваться во мрак, словно хотели продлить минуты расставания.

Скорость полета «Геи» все возрастала, и на отрезке пути от Марса до Юпитера достигла 200 километров в секунду. Огромное пространство между этими двумя планетами справедливо называют кладбищем ракет — так много здесь происходило катастроф. В нем носятся миллионы обломков: остатки планеты, которая когда-то кружила здесь и, неосто-

рожно приблизившись к Юпитеру, испытала на себе роковое воздействие его притяжения.

У Тер-Аконяна работы было пока немного, и он пригласил меня к себе. Было ясно, что он хочет поближе познакомиться с одним из врачей, на обязанности которых лежит забота о здоровье экипажа. Прямо из амбулатории я отправился к нему. Вход в жилище астрогатора был творением и предметом гордости Нонны. Он представлял собой плиту матового стекла почти такой же длины, как стена, и был обрамлен двумя колоннами. Левая являла собой столб, составленный из насаженных одна на другую ужасающих деревянных масок с квадратными разинутыми пастьми — черных ликов, словно прокопченных в дыму. Их пустые глазницы были обращены туда, где прямо из каменных плит порога вырастала другая колонна, окрашенная в светлые тона; она казалась воплощением покоя. В ней было что-то напоминавшее зеленый росток, тянущийся к солнцу, или гибкую девичью талию. На каменной арке была простая надпись: «К звездам».

Тер-Аконян ждал меня в огромной комнате, отведенной под зал заседаний. Она светилась красками осенней природы, тронутой увяданием. Даже воздух здесь, казалось, был напоен ароматом осени, исходившим от стен, окрашенных в золотистую бронзу, матовый пурпур и багрянец всех оттенков. По углам были высокие ниши; в них стояли сделанные из хрусталя и бериллия автоматы, в их полупрозрачных недрах пульсировали огоньки. Автоматы выглядели величественно и двигались так неспешно, словно постоянно были заняты размышлениями над собственными судьбами, и гость не мог сдержать улыбку, глядя, с каким достоинством они сходят со своих мест, чтобы подать кофе. На стене напротив входной двери висели большие черные часы с серебряными знаками зодиака вместо цифр. Когда я вошел, первый астрогатор стоял, наклонившись над разостланной картой неба; за его креслом на постаментах виднелись десять бюстов прославленных космонавтов прошлого. Я сразу узнал эти лица, знакомые еще по школьным учебникам.

— Как тебе нравится здесь? — спросил Тер-Аконян, усадив меня в кресло.

— Очень нравится, но жить здесь я не смог бы.

— Бедная Нонна, если бы она слышала это! — Он улыбнулся и добавил: — Впрочем, я тоже здесь не живу; это просто официальные апартаменты. А работаю я вон там. — Он указал на боковую дверь.

Обернувшись вслед за ним, я еще раз бросил взгляд на ряд каменных изваяний, и меня поразило одинаковое выражение их лиц: казалось, они устремляли взгляд во мрак, царящий за бортом «Геи», будто для них не существовало ни стен комнаты, ни панциря корабля — словно бы именно отсюда, от гранитной оболочки их лиц, начинала свой разгон неизмеримая бездна. Тер-Аконян, улыбаясь, наблюдал за мной.

— Смотришь на моих советников? — спросил он, и меня поразила меткость этого определения.

— Ты, навсрное, никогда не чувствуешь себя здесь одиноким?

Он медленно наклонил голову, встал и подошел к ближайшему бюсту.

— Это, кажется, Ульдар Тог, тот, кто первый совершил посадку на Сатурне? — спросил я.

— Да. Сын двадцать третьего века. Строитель ракеты и ее пилот в одном лице. Ты знаешь его историю?

— Точно не помню. Кажется, он не вернулся из последней экспедиции?

— Да. По тем временам он был уже очень стар: ему было девяносто восемь. Умер за рулями, словно заснул около них. Он не хотел быть погребенным на Земле. Его похоронили на просторе. Где-то и сейчас кружит капсула с его телом.

«На просторе»... Этот оборот речи Тер-Аконяна взволновал меня. Именно так, коротким словом «простор», называли межпланетную пустоту первые покорители космоса; услышав это слово, я почувствовал волнение, которое испытывал в детские годы, когда с горящими глазами пожирал романы и летописи межпланетных путешествий.

— И подумать только, — сказал я, — что теперь через этот самый «простор» мы наносим телезиты нашим знакомым на Земле...

— Пока да. Но уже чувствуется запаздывание радиосигналов, «Гея» уже далеко от Земли. Ты, конечно, это заметил?

— Да. Я вчера виделся с отцом: он сидел напротив меня, как ты сейчас. Я предпочитал молчать, потому что так усиливалось впечатление, что он рядом.

Астрогатор посмотрел на карту неба.

— Сейчас радиоволны запаздывают примерно на девять минут. С такими паузами разговаривать, конечно, трудно, но скоро они будут затягиваться на часы и сутки.

— Да, это начало нашего одиночества.

— Положим, нас слишком много, чтобы говорить об одиночестве, — живо отвистил астрогатор. — Такой многочисленной экспедиции в просторе еще не было!

— А кто первый выдвинул этот проект?

— Неизвестно. Сама по себе мысль о такой экспедиции очень стара — она возникала и исчезала, ее забывали, потом опять вспоминали. О ней говорили еще во времена, когда не было технических средств для ее осуществления, но и потом, когда средства появились, она долго оставалась мечтой. Первым разработал подробный план такой экспедиции Бардера, около ста сорока лет назад. У него было много противников. Он иногда говорил: «Это — неслыханно трудное дело, настолько трудное, что следует попытаться осуществить его».

— Слушай, — сказал я, когда астрогатор умолк. — Вопрос, который я хочу задать, может показаться бестактным, но все-таки, если можешь, ответь: ты бы согласился отправиться в эту экспедицию, если бы знал, что не вернешься?

— Я или корабль? — уточнил он.

— Мы все.

— Конечно, нет. Но как можно заранее быть уверенным в неудаче?

— Не знаю, я не задумывался над этим, это только воображаемая ситуация.

— Воображение должно как-то вязаться с действительностью. Риск может быть очень велик, но сам факт его наличия предполагает возможность успеха.

— Ну хорошо, а если бы был только один шанс на тысячу, что мы вернемся?

— В таком случае я, конечно, согласился бы.

— Почему «конечно»? Впрочем, я, может быть, слишком назойлив?

— Нет, не назойлив, а любопытен, а это большая разница. Я дам тебе два ответа. Сначала такой: вступая в новую сферу жизненной деятельности, человек встречает сопротивление неизвестного. Первые попытки человека преодолеть сопротивление того, что ему неизвестно, часто бывают неудачны. Это проблема извечная: неандертальцу, сотворившему каменное рубило, стоило огромных усилий вытесать его из кремня, и вряд ли первый опыт сразу принес успех. Возобновляя попытки, человек преодолевает сопротивление материала; это сопротивление формирует его последующие эксперименты и его самого. Это долгий и сложный процесс. Но без первых попыток высечь искру не было

бы огня. И без первых пробитых метеоритами ракет человек не смог бы овладеть пространством. Риск оправдывается общественной необходимостью. Теперь о нашей экспедиции. Набирая экипаж, мы прямо заявили о том, что трудности будут огромные. И что катастрофа в таком длительном полете вполне реальна. Впрочем, ты сам, наверное, помнишь этот текст и должен признать, что завлекательным приглашением он не выглядел. Требования, предъявляемые к кандидатам, были исключительно велики. Нужно было владеть по меньшей мере тремя профессиями. И все же несмотря на это мы получили пятнадцать миллионов заявлений. Значит, на Земле есть еще полтора десятка миллионов людей, готовых подхватить наше дело и завершить его, если нам оно не удастся. Ну как, удовлетворил я твоё любопытство?

— Пока не совсем. Скажи, зачем ты сам, лично ты, отправился в эту экспедицию?

— Боюсь, что ты спрашиваешь не у того, у кого нужно, — усмехнулся астрогатор. — Физик, наверное, сказал бы тебе: «Я хочу изучить атомные реакции на других звездах». Планетолог: «Хочу исследовать планеты других систем». Астробиолог: «Ищу проявления органической жизни в Космосе». А я... я не могу дать тебе даже такой ответ...

— Неужели ты не знаешь, почему отправился в экспедицию?..

— Знаю, но мой ответ, вероятно, не удовлетворит тебя. Я отправился в экспедицию потому, что есть звезды. — Астрогатор встал. — Не хочешь ли пройтись, доктор? Прости, что так бесцеремонно тебя выпроваживаю, но я уже двадцать часов не видел стебелька живой зелени.

— Может быть, хочешь побыть один? — спросил я.

— Да нет. Если у тебя есть еще время...

Мы спустились на нижнюю палубу. В саду стояли ранние сумерки. На самой обширной полянке, покрытой травой, кружился большой хоровод детей. Они держались за руки и пели. Вдруг кто-то выбежал из хоровода и пулей помчался к нам. Это был мальчик лет пяти. С радостным визгом он обхватил колени моего спутника.

— Это мой младший, — сказал Тер-Аконян и хотел подбросить малыша в воздух, но, увидев неподалеку Утенеута, передал ребенка мне, а сам подошел к инженеру.

Я подбросил малыша так высоко, как сумел, однако он пренебрежительно отверг мои старания и потребовал, чтобы я поставил его на землю.

— На траву я могу тебя поставить, а на Землю — нет;

ведь мы уже не на Земле, знаешь? — сказал я, опуская его.

Несколько секунд он копал каблуком ямку в песке, затем ответил:

— Я сам знаю. Это я только так сказал. Мы летим на «Гее».

— Ах, так. А может, ты знаешь и куда мы летим?

— Знаю: на одну звездочку.

Вот это разговор! Я не мог удержаться от последнего вопроса:

— Ты, может быть, даже знаешь, где она находится, эта звездочка?

— Знаю.

— Где?

— Там, где я буду уже большим!

Высказав таким образом все, что можно сказать на эту тему, он побежал к хору, распевавшему «Кукушку».

Дожидаясь, пока Тер-Аконян закончит разговор с Утенеутом, я стоял и слушал песню. Вдруг у меня мелькнула мысль: ведь на «Гее» совсем нет птиц. И когда мы прощались у лифта после долгой прогулки, я — видимо, под влиянием этой мысли — задал астрогатору вопрос, о котором сразу же пожалел:

— На корабле много детей. Это меня немного удивляет. Скажи, ты без колебаний взял в экспедицию своих?

Тер-Аконян стал очень серьезен. Выпустил мою руку и медленно сказал:

— Старшие мальчики захотели сами. А этот... младший... Действительно, я колебался. Он еще не может решать сам. Я лишил его счастливой юности на Земле. К тому же — опасности... Но как бы я посмотрел ему в глаза по возвращении?

Ночь, день, следующая ночь и следующий день прошли без особых происшествий. Ракета ускоряла ход и шла по полосе лучей радара, чутко ловя их отражения раковинами рефлекторов, предохраняющих корабль от опасных столкновений. Астрогаторы выводили корабль из плоскости эклиптики, где, как известно, самые густые скопления метеоритов. «Гейя» еще не ложилась на свой звездный курс. Полет к Юпитеру был последним испытанием перед стартом в бездну: надлежало проверить действие приборов в зоне притяжения самой большой планеты Солнечной системы. Поэтому наш курс был проложен сравнительно недалеко от нее. Утром на трид-

цать девятый день путешествия мы подошли к Юпитеру. Многие из нас, собравшись на смотровой палубе, наблюдали за приближающейся планетой.

Были видны четыре из се двенадцати спутников. Ближайший, Ио, мчался как яркая, проворная звездочка, отбрасывая тень на гигантский диск планеты, опоясанный широкими полосами. Мы видели ее северное полушарие с экваториальным Красным пятном, как его называли древние астрономы, или Летающим континентом Гондвана, как называем его мы. Кое-где сквозь густую оболочку из метана и аммиака проглядывали неровные очертания материков, затянутые туманом. Обычно темные смотровые палубы были заполнены сейчас льющим с низу странным свечением, отражавшимся от поверхности планеты. Юпитер простирался далеко внизу, похожий на чудовищную оранжевую чашу с поднятыми краями, наполненную кипящим газом, по которому проносились гигантские тайфуны.

С другого спутника — Европы, — сверкавшего высоко над нами, к центральной части планеты опускался как бы ряд черных бус. Это были автоматические ракеты, исследующие Летающий континент Гондвана. В бинокль было видно, как ракеты ныряли одна за другой в океан туч, как несколько мгновений они еще маячили в его желтых испарениях наподобие маленьких черных точек и затем исчезали. За их работой следила маленькая группа людей, живущих в барокамерах на третьем спутнике — Ганимеде. Человеческая нога еще не касалась поверхности Юпитера: в нижней части его газовой оболочки давление достигает миллиона атмосфер, чего не может выдержать ни один скафандр.

«Гёя» несколько часов маневрировала над поверхностью Юпитера; постепенно палубы стали пустеть, и я, устав от долгого наблюдения за планетой, пошел в зал отдыха, расположенный в нескольких десятках шагов от смотровой палубы.

Этот зал, носивший название «барочного», отличался гнетущей, варварской роскошью. С шести сторон в стенах, окрашенных в ярко-золотистые тона, помещались ниши с огромными белыми статуями богов древности. Над зеркальным паркетом висели хрустальные пауки, а с низкого потолка глядели пухленькие личики сотен крылатых детишек. Здесь можно было долго сидеть и смотреть, задрав голову, на потолочную роспись — холмистые и лесистые пейзажи с резвящимися на их фоне странными и прекрасными сказоч-

ными героями. Вместе эти картины создавали впечатление искусно организованного музейного ансамбля. Все эти богатства отражались в зеркалах, многократно повторяясь. Однако зрителя скоро охватывала скука; взгляд уставал от обилия серебра и золота, кружевной листвы и миниатюрных барельефов. Середина зала пустовала, только у стен стояли большие кресла; твердые резные спинки их были украшены окаменевшими в схватке львами и орлами, а ножки походили на когти или копыта. Эти кресла были годны на что угодно, только не для того, чтобы на них сидеть. Странные люди создавали их! Однако приходилось покорно сносить неудобство этих кресел — как говорили историки, обстановка зала есть точная копия дворцового зала какого-то монарха.

Я было подумал, что в зале, кроме меня, никого нет, но вскоре увидел перед группой мраморных богов какого-то человека, стоявшего, заложив руки за спину. По узкой голове с оттопыренными ушами я узнал Молетича. Затем из-за скульптуры вышел Нильс Ирьола. Уткнув нос в карманный приемник, он так увлекся чтением, что налетел на историка. Они долго и горячо извинялись друг перед другом — если бы не одежда, они вполне бы сошли за чересчур куртуазных придворных тысячелетней давности. После этого они разговорились. Подойдя к ним, я расслышал слова юноши:

— Это очень интересный роман, но некоторые места в нем трудно понять. Да и перевод неважный: попадают даже ошибки.

— Что ты говоришь? Странно, — сказал историк.

— Вот здесь, например. — Нильс показал пальцем. — «Мое сердце охватило сожаление о потерянных инструментах».

— И в чем ты видишь ошибку?

— А как же? Слова «сожаление», «жалость», их можно употребить только в отношении одушевленных предметов. Жалеть можно только живые существа, а не вещи...

— Теперь это так, мой мальчик, — сказал Молетич, — а раньше было иначе. Ты не привык к выражению «жалеть вещи», оно режет твой слух, потому что условия, вызвавшие к жизни это сочетание понятий, исчезли несколько веков назад.

— А я считал, что это ошибка, — с удивлением сказал Нильс.

В открытых дверях показались люди; они подошли к нам и стали прислушиваться к беседе.

— А вот здесь, — продолжал Нильс, явно обрадованный

тем, что нашел того, кто может разрешить его сомнения, — вот здесь один умный и интересный человек вдруг начинает мечтать, чтобы каждый мог иметь собственный самолет и тут же добавляет: «Но это сказка».

— Бесспорно так: это происходило давно. И слова о том, что каждый человек может иметь собственный самолет, воспринимались тогда как сказка.

— Какая же это сказка? Это просто глупая фантазия. Везде сейчас все равно ни у кого нет собственного самолета.

— Конечно, нет, потому что это никому не нужно.

— Постой... — Нильс задумался. — А почему именно сейчас ни у кого нет своего самолета?

— Я тебе объясню. То, что говорил герой романа, не так уж бессмысленно. Давным-давно существовала индивидуальная собственность и на средства производства, и на производимые блага. Потом, на низшей фазе коммунизма, средства производства перешли в общественную собственность, но потребление благ оставалось индивидуальным. Это значит, что каждый мог иметь свой самолет, как об этом мечтал герой книги. Однако, когда эта мечта могла осуществиться, общественное развитие не остановилось, а пошло дальше, и сегодня мы живем в эпоху ликвидации индивидуальной собственности даже на потребительские блага. Почему? Потому что это — результат еще более полного осуществления принципа «каждому по потребностям». Зачем нужен самолет? Чтобы передвигаться с одного места на другое. Ты вызываешь его и летишь, а прилетев, куда хотелось, переставишь им интересоваться, правда? А если бы у тебя был свой самолет, где бы ты его поставил? Дома? А вдруг тебе пришлось бы отправиться на ракете на другое полушарие? Ты не смог бы взять его с собой: переброска была бы хлопотливым делом. Лучше там иметь другой самолет, тоже собственный, чтобы ждал тебя у цели путешествия. Но человеку очень часто приходится пользоваться ракетами для полетов; значит, надо держать свои самолеты на всех ракетных вокзалах Земли: мало ли куда ты сможешь попасть, как же ты будешь обходиться без самолета? В конце концов, если бы каждый из нас поступал так, вся Земля покрылась бы самолетами. Всюду стояли бы тысячи машин, ожидая, что их собственник вдруг заглянет сюда за чем-нибудь. Как неэкономно и как неудобно! Все равно во всех концах Земли свои машины не разместишь. Поэтому, отказываясь от «привилегии собственности», ты сегодня можешь получить на Земле в любую минуту такое транспортное средство, какое тебе лучше всего подходит.

— Понимаю, — ответил Нильс, — мы превзошли самые сокровенные мечты дровни... Но ведь собственный самолет можно иметь и теперь?

— Конечно, можно. Однако наше отношение к этой проблеме так изменилось, что подобную «собственность» каждый считал бы не исполнением мечтаний, а обузой.

В это мгновение на потолке вспыхнула красная лампочка, весь корабль пронизала легкая дрожь, похожая на глубокий вздох металла. Наступила тишина, и из невидимых динамиков разнесся голос:

— Внимание! Тревога! Готовность первой степени. Все гравитационные установки — стоп! Внимание! Приготовиться к состоянию невесомости.

Я почувствовал, что с каждым мгновением становлюсь легче. «Гея» тормозила вращательное движение; еще минута, и зал наполнился свободно парящими людьми. Кресла, столики — все, что не было прикреплено к полу, теперь, потеряв вес, плавало в воздухе. Прямо перед моими глазами проплыло, как бы застыв с выражением сильного изумления, огромное мраморное лицо одного из скульптурных изображений богов. Я коснулся пальцами потолка. Это длилось секунд двадцать, потом опять послышался голос:

— Внимание! Отбой готовности первой степени по тревоге. Включить гравитационные установки. Внимание! Следите за дальнейшими распоряжениями.

Мы опустились на пол, как детские шары, из которых выпустили газ; каждый, прикоснувшись ногами к полу, хватался за какой-нибудь предмет, чтобы сохранить равновесие. Несколько мгновений мы пробыли в состоянии какого-то оцепенения, а затем почти бегом бросились на смотровую палубу.

Перед нами открылась все та же картина: внизу — огромный полосатый диск Юпитера, изливающий мутно-янтарный свет. Позади, километрах, может быть, в десяти за кормой «Геи», висело неподвижное светящееся газовое облако; оно рассеивалось медленно, как взорвавшаяся звезда. В абсолютной тишине слышалось только наше учащенное дыхание да короткий, отрывистый писк зуммеров; со свистом пронесли несколько раз лифты-экспрессы. Ракета притормозила и развернулась кормой к Юпитеру. Раздались два взрыва. Потом по палубе разнесся глухой, далекий свист: включили статические излучатели — энергопушки. Корабль, слегка накренившись, навис над поверхностью планеты. Снова послышался свист лифтов-экспрессов. Тре-

вога нарастала, но никто из нас не пытался связаться с кабиной рулевого управления, чтобы не мешать астрогаторам.

Минут через пять все как-то успокоилось, и мы намеревались двинуться к ближайшему телефону, когда внезапно вновь заговорили динамики:

— Внимание! Специальный вызов. Всем врачам прибыть на свои места!

Я поспешил к лифту и съехал вниз. Когда подбегал к операционной, навстречу выскочила Анна Руис.

— Что произошло?!

— Несчастный случай! Некогда рассказывать, езжай вниз, в барокамеру, я буду в операционной!

Она втолкнула меня в лифт и захлопнула двери так быстро, что я не успел ответить. Поехал вниз, не представляя себе зачем. На предпоследнем ярусе лифт остановился, и вошли Тер-Акопян и Ирьола.

— Что случилось? — спросил я, когда лифт вновь двинулся вниз.

Оказывается, с Ганимеда, спутника Юпитера, мимо которого мы проходили на расстоянии всего около восьмидесяти тысяч километров, сегодня утром навстречу нам вылетел какой-то человек. Это был, вероятно, студент, проходивший практику на астрогационной станции. Там обычно живут несколько десятков человек; каждый год состав этой группы меняется. Они не имеют никакой связи с Зсмлей, кроме радио.

Пилот, вылетевший навстречу нам на одноместной ракете, давно знал о рейсе «Геи» и с нетерпением ожидал ее прибытия. Как иногда позволяют себе безрассудные юнцы, он выключил автоматические предохранители рулевого управления ракеты, чтобы они не мешали выполнить в нашу честь несколько головокружительных фигур высшего пилотажа. Ему удалось дважды описать мертвую петлю вокруг «Геи», на что корабль ответил предостерегающими сигналами. Когда же он не обратил на них внимания, «Гея» окружила себя тучей красного дыма. Когда и это не дало результата, корабль увеличил скорость. В кабине рулевого управления не было никого из астрогаторов, и маневрами «Геи» руководили автоматы. Безумец пилот, пренебрегая всеми предупреждениями и видя, что «Гея» начинает уходить от него, бросился в погоню, выжимая из своей ракеты всю скорость, на какую та была способна. Приближаясь к нашему борту со стороны Юпитера, пилот не учел силы его притяжения, и ракета, развернувшись слишком резко, оказалась в зоне выхлопа атомных газов. Охваченная газовым вихрем, она сбилась с

курса, и потерявший ориентировку пилот, стремясь выровнять ракету, направился на полном ходу прямо в борт «Гей». Маневрировать было уже невозможно; когда расстояние между ракетой и «Гсей» сократилось до нескольких сот метров, автоматы включили энергопушки, и мощный лучевой удар сразу остановил ракету. Она бессильно повисла в пространстве и, может быть, упала бы на Юпитер, если бы не наши дальнейшие маневры. «Гей» снизила скорость, остановила вращательное движение и магнитами втянула незадачливое суднышко в свой люк.

Автоматы действовали совершенно правильно. Если бы ракета не была отброшена направленным зарядом лучистой энергии, произошло бы столкновение с трагическими последствиями. Ибо эта небольшая ракета весила одиннадцать тонн, а скорость ее составляла семнадцать километров в секунду; она обладала достаточной энергией, чтобы пробить защитную оболочку и корпус нашего корабля.

Лифт закончил спуск. Мы вошли в барокамеру. Здесь несущие конструкции корабля были обнажены; под металлическими шпангоутами, на придвинутой к стене платформе, лежала, как выброшенная на берег рыба, узкая длинная ракета. От лучевого удара ее оболочка покрылась чешуей темно-коричневой окалины. Люки ракеты заклинило, поэтому автоматы со всяческими предосторожностями стали вырывать большое отверстие над сиденьем пилота. Когда мы вошли в барокамеру, эта работа подходила к концу; еще несколько минут из-под лезвий электропил сыпались искры, затем автоматы легко приподняли кусок оболочки и сквозь открывшееся отверстие извлекли тело, одетое в герметический скафандр. В этот скафандр из плотного эластичного материала были спереди вмонтированы элементы рулевой и радарной аппаратуры и щиток, предохраняющий голову и грудь пилота. Поэтому мы начали вскрывать скафандр сзади. В широко раскрытом скоростном лифте уже стояли наготове носилки; мы действовали так, как если бы пилот был жив, хотя уверенности в этом не было. От энергетического удара ракета утратила скорость так быстро, что пилот подвергся нагрузкам, превышающим возможности человеческого организма.

Кто-то подал мне инструменты; я вскрывал оболочку скафандра слой за слоем, действуя со все большей осторожностью. Наконец послышался тихий свист: из скафандра, в котором было повышенное давление, выходил воздух. Еще одно движение ножниц, и показался темный комбинезон пи-

лота. Это был своего рода надувной резиновый мешок, густо опоясанный металлическими спиралями, которые помогали выдерживать высокие нагрузки при разгоне или резких остановках. К груди и животу пилота были подведены трубки; в них под давлением, зависящим от ускорения, циркулировал газ. Не снимая с пилота комбинезон, мы перенесли тело на носилки. Стеклопанные двери закрылись, лифт мягко тронулся и полетел вверх.

В операционной уже горели все лампы. От стола навстречу мне шла Анна. Когда мы ввели носилки, чтобы поставить их у нагретой металлической плиты, в операционную через боковую дверь вошел первый хирург Шрей. Я хотел уступить ему место, но он поспешно сказал:

— Нет, нет, действуйте, — и отошел в сторону.

Стоя рядом с Анной, низко наклонившись, я разрезал сначала внешний, затем внутренний слой комбинезона. Под ножницами хрустели металлические спирали. Показались обнаженные ноги. Ножницы быстро добежали до конца; пустая оболочка сморщилась и опала. Перед нами лежал без сознания нагой человек. Шрей подошел к плите; в полнейшем молчании несколько долгих секунд мы всматривались в того, кто лежал перед нами.

Это был молодой человек лет двадцати. На его густой светлой шевелюре запеклась кровь. Беззащитное нагое тело поразительно контрастировало с прикрывавшей его прежде черной оболочкой; она теперь валялась на полу, как содранная шкура животного. Чуть заметно выделялись лиловые пятна на животе, бедрах и груди — там, где в момент внезапного торможения в тело впились компрессионные трубки. Раскинутые руки свисали со стола, бескровное лицо имело синеватый оттенок, во впадинах над ключицами, словно вырезанных в алебастре, почти неуловимо дрожал пульс.

Шрей с величайшей осторожностью приложил к груди, над сердцем, рыльце электрофонендоскопа, потом притянул сверху передвижные экраны и погасил все лампы. В упавшей тьме экраны вспыхнули фосфорическим светом. Мы наклонились над телом. Все суставы, кости, сочленения были целы. Шрей включил свет и оттолкнул экраны; они беззвучно ушли к потолку.

Раскрытый, как две половины ореха, шлем электроэнцефалоскопа придвинулся к столу и свободно охватил голову юноши. Зажужжали усилители: Шрей исследовал мозг. Вдруг он выпрямился.

— Поддержите сердце!

Я дал знак. С обеих сторон выдвинулись серебристые держалки с готовыми к инъекции шприцами. Иглы углубились в белую кожу предплечий. Жидкость стала быстро уходить из стеклянных цилиндров.

— Кровь? — спросила Анна.

— Нет.

Переливать кровь было нельзя. Когда летевшее головой вперед тело пилота внезапно затормозилось вместе с ракетой, его внутренности и кровь продолжали по инерции двигаться вперед. Защитные приспособления скафандра могли лишь частично смягчить удар — они увеличили давление на грудь и как бы наложили бандаж вокруг шеи, но не смогли воспрепятствовать страшнейшему усилению внутричерепного давления. Следовало ожидать многочисленных разрывов сосудов и кровоизлияния в мозг; видимо, была сильно повреждена его кора. Время от времени по бессильно лежавшему телу проходила легкая судорога. Мне подумалось, что начинается агония; случай казался безнадежным.

Шрей низко наклонился над экраном энцефалоскопа, вглядываясь в дрожащие кривые электротока. Он один видел, что происходит в травмированном мозгу. Мы с Анной могли лишь ждать. Глядя на Шрея, я напрасно пытался что-нибудь прочесть на его лице, и в эту, полную глубокого молчания минуту я с удивлением увидел, что оно прекрасно.

У Шрея была большая голова с высоким лбом, но это его не портило — так благодаря своему строению не кажутся несоразмерными огромные готические соборы. Верхние и нижние веки его глаз сейчас почти сошлись, оставив лишь четкую темную щель; на склоненном лице не было никакого выражения, словно настоящее лицо Шрея было от нас скрыто, а перед нами была всего лишь застывшая маска.

Вдруг профессор выпрямился.

— Хуже всего в затылочной части, — сказал он.

Мы молчали. Я ждал решения Шрея.

— Если выживет, — проговорил он, — то либо совершенно потеряет память, либо будет эпилептиком... Все готово?

— Да, — в один голос ответили мы с Анной.

— Приступим.

Когда плита с телом передвинулась к операционному столу, Шрей, не глядя ни на кого, добавил, словно обращаясь к самому себе:

— Либо и то, и другое...

Стеклянный колпак, прикрывающий стол, раскрылся, и

тело, перенесенное чуткими руками автоматов, легко опустилось на белоснежную гибкую пластину. Кровоизлияния, видимо, поразили внутренние органы — кожа пострадавшего ненамного отличалась по цвету от фарфоровой окантовки стола. Стекланные лепестки колпака герметически закрылись, и сейчас же вздрогнули стрелки индикаторов анестезирующей аппаратуры. Тихо зашипел в трубках сжатый кислород.

Мягкие захваты придерживали суставы рук и ног человека, лежавшего под стекланным колпаком. Стол опустился и передвинулся так, чтобы подставка с хирургическими инструментами оказалась над головой пилота. Вновь показались держатели со шприцами, а из боковой ниши выдвинулся кровопровод, похожий на змеиную голову с острым язычком, готовым в любое мгновение вонзиться в артерию оперируемого.

Шрей вошел за голубую панель, где помещалась аппаратура управления операционным столом. Он сел перед экраном, на котором была голова пилота, засунул руки по локоть в красные резиновые нарукавники. В глубине их были металлические рычаги, при нажатии на которые с подставки, висевшей над головой больного, как лапа со сжатыми когтями, выдвигались по очереди необходимые инструменты. Не ожидая, пока Шрей позовет меня, я подошел к его столу с левой стороны, чтобы контролировать работу сердца и дыхание оперируемого. Анна наблюдала за снабжением организма кровью.

В зале, отделенном от нас голубой панелью, было светло, жарко и тихо. Иногда звякал инструмент, возвращавшийся на свое место, или слышались легкие потрескивания, когда на обнаженные артерии накладывались зажимы для остановки кровотечения. На экране был уже оголенный череп, сверла трепанов впились в кость и двигались вокруг головы, отмечая свой путь ниточкой пропитанной кровью костяной пыли. Потом придвинулись элеваторы и, захватив тупыми когтями срезанную часть черепной коробки, приподняли ее. Как только вырезанная кость была поднята, показалась красно-синяя масса мозга, все более набухавшая, вытесняемая из черепной коробки невидимым давлением кровотечения. Лениво пульсировали крупные артерии, разветвленные в мозговой коре. Шрей изменил масштаб увеличения, и теперь на экране был уже не весь череп оперируемого, а лишь увеличенное во много раз операционное поле, обрамленное лентами осушающих кровь губок. Тонкий, сверкающий, как

серебряный волос, нож опустился прямо вниз, к мозгу, и коснулся его — казалось, очень легко. Но оболочка мозга немедленно лопнула, в ней образовалось отверстие. Изнутри хлестнула кровь, вынося накопившиеся сгустки. Эжекторы очищали от крови операционное поле, направляя туда узкие струйки физиологического раствора; он последовательно окрашивался розовым, красным, наконец, вишневым; кровь продолжала струиться, автоматически сменялись салфетки. Шрей весь сгорбился, его руки, глубоко засунутые в резиновые нарукавники, не были видны, и лишь по дрожи плеч можно было догадываться, как лихорадочно быстро они работают.

Шрей придвинул лицо еще ближе к экрану. Вдруг раздался сигнал автомата, следящего за кровообращением. Не отрывая глаз от экрана, Шрей бросил:

— Искусственное сердце!

И только по этим едва различимым, хриплым голосом выданным словам я понял, сколь велики его усилия.

Я переключил все аппараты моей стороны под контроль Анны и быстро сел за боковой пюпитр. Здесь был другой экран, на котором виднелась обнаженная грудь оперируемого. Я включил ланцеты, и они немедленно впились в кожу. Зажимы схватывали сосуды, которые почти уже не кровоточили. Давление быстро падало, автомат подавал сигналы все более низкого тона. Это был уже не прерывистый звук, а протяжный, печально ослабевающий стон. Он передавал не пережитое потрясение, а агонию. Оперированный умирал. Я чувствовал, что у меня немеет лицо, и действовал как мог быстро, но тут послышался резкий, пронзительный звук, и на наших экранах кровавым пламенем вспыхнули сигналы, показывающие, что сердце пилота останавливается. Еще один удар — и конец. Исчерпав свои силы, сердце остановилось.

— Искусственное сердце!!! — с дикой яростью в голосе закричал Шрей.

Стиснув до боли зубы, затаив дыхание, я рассекал грудную клетку, слыша, как под ножницами трещат ребра. Наконец открылось широкое темное отверстие. Бывшие наготове трубки аппаратуры, подающей кровь, углубились в темное пространство грудной клетки — я осветил его, направив лучи света с обеих сторон. Захваты взяли аорту, главная артерия была перерезана и прихвачена вакуумом к трубкам; я быстро включил кровообращение — раздалось все ускоряющееся чмокание насоса, индикаторы начали дви-

гаться вверх, давление росло. Консервированная кровь вливалась в глубь мертвого тела.

Теперь я рассек дыхательное горло и ввел в него конец трубки, подающей кислород. Все циферблаты над экраном стали пульсировать в нарастающем темпе, искусственное сердце и искусственные легкие работали. Ничего больше сделать я не мог. Воспаленными глазами смотрел на висящее, как плод, среди синих легких полуотрезанное, мертвое сердце пилота. Прошла минута, за ней другая — оно не двигалось.

Искусственно нагнетаемая кровь, с трудом преодолевая сопротивление, прокладывала себе путь в глубь остывающего тела; не помогали ни согревающие приборы, ни вливание гепарина. Шрей продолжал оперировать труп, лежавший, как мраморная статуя, на наклонной поверхности стола.

— Увеличить давление! — Шрей хрипел, словно потеряв голос.

Я на мгновение перевел глаза на него. Со лба его градом катился пот. Рука автомата время от времени касалась его лица, осушая крупные, как слезы, капли, заливавшие ему глаза. Рот, сжатый в острую, как нож, линию, застыл в болезненной гримасе.

Я поднял кровяное давление, гудение аппаратов стало громче, пошла четвертая минута смерти, затем пятая.

— Адреналин!

Засверкали спускавшиеся иглы, укол был направлен прямо в сердце. Внезапно эта серо-синяя грудa мускулов вздрогнула и затрепетала.

— Есть мерцание! — крикнул я.

— Электрошок! — как эхо, ответил Шрей.

Я сам понимал, что это — последняя возможность спасения. Сердце, пронизанное током, проходящим через платиновые электроды, вздрогнуло, остановилось на мгновение и вдруг начало ритмически двигаться.

— Так держать! — сказал Шрей глубоким, глухим голосом.

Сигнал агонии, подававшийся до сих пор непрерывно, начал звучать все короче; я снова наклонился вбок и посмотрел на экран Шрея. Содержимое черепа являло собой кровавое месиво с проступавшими сгустками; прозрачный раствор, вливаясь тонкими струйками, без устали промывал его; инструменты то выдвигались, то отходили назад, стремясь ввести обратно доли мозга, но набухшая ткань, расплываясь, переливалась через края раны.

— Усилить давление под колпаком!

Я понял. Усилив внешнее давление, Шрей пытался хотя бы частично уложить на место выступавшую мозговую ткань. Это было невероятно рискованно, так как грозило повреждением основания мозга, дыхательного центра. Впрочем, подумал я, если в мозжечке есть кровоизлияния, все наши отчаянные усилия ни к чему. Эти сомнения как молния промелькнули у меня в голове, но я без колебания выполнил приказ.

Мозг возвращался на свое место медленно, но кровообращение несколько улучшилось, и через десять минут мы смогли убрать искусственное сердце. Грудную клетку, как и рану на шее, я зашил наглухо. Теперь пациент, лежавший без сознания, получал все больше подогретой крови с глюкозой и белками. Шрей также закончил свою работу. Часть черепной коробки, снятая в начале операции, была поставлена на место, сверху один за другим спускались металлические пластинки, похожие на алюминиевую фольгу. Затрещал сшивной аппарат, эжекторы еще раз ударили струйками раствора, потом засветились большие лампы на потолке, и экран погас.

Шрей встал или, скорее, отшатнулся от стола. Я поддержал его. У него тряслись губы, он отталкивал меня, пытался что-то сказать, мне показалось, что я уловил вырвавшееся вместе с дыханием беззвучное «я сам», но не отпустил его. К нам подошла Анна, мы втроем вышли из-за панели.

Перед нами на слегка наклонной поверхности лежало обнаженное тело юноши. Узкое в ногах, оно переходило в крепкие бедра и далее — в мощный торс. Шея, как прочный белый стебель, поддерживала склонившуюся набок забинтованную голову с закрытыми глазами. Дыхание, пока еще слабое, то сгущало, то ослабляло тени во впадинах над ключицами. Мы стояли неподвижно, а его грудь поднималась, ребра двигались, и было уже заметно, что кровь невидимым потоком пульсирует во всех частях тела. И тогда меня охватила огромная радость, словно я впервые увидел спасенную от гибели красоту.

ПИЛОТ АМЕТА

Первым астронавтам, одиннадцать веков назад двинувшимся на покорение космоса, он представлялся черной искрящейся глубиной, разделенной надвое кольцом Млечного Пути;

они знали, что увидят известные им еще по наблюдениям с Земли созвездия, огромные сгустки света, висящие в пустоте. Их ожидания оправдались, однако астронавты испытали то, чего нельзя вообразить, не побывав среди звезд.

Мореходы далекого прошлого покоряли ширь океанов, летчики парили в бескрайней атмосфере, первопроходцы полярных просторов славил безграничное величие Белого молчания, но все-таки — что такое земные масштабы в сравнении с пустотой, в которой пылают миллиарды огней? Сформировавшиеся на Земле чувства, привычки, надежды разлетаются при первом жестком соприкосновении с бесконечностью.

Никакие прикидки расстояний на глаз здесь невозможны. Любая мелькнувшая искорка может быть и сигнальным огоньком другой ракеты, проносящейся невдалеке, и звездой, приславшей свои лучи через триллионы километров пустоты. Объекты, на которые попал солнечный свет, внезапно проявляются, но, выйдя из его лучей, оказавшись в тени какого-нибудь небесного тела, мгновенно исчезают, будто и не существовали. Одновременно теряется ощущение движения. Ракета может беспомощно зависнуть или мчаться с невероятной скоростью — в обоих случаях звездное небо останется одинаково неподвижным. Любые изменения в направлении движения ракеты, любой поворот вокруг оси воспринимаются лишь как перемещение звездной сферы, и все органы чувств обманываются этой иллюзией. На Земле благотворное воздействие воздушной перспективы смягчает остроту далеких очертаний, располагая каждый объект в соответствующем пространственном месте; в пустоте объекты или видны хорошо, или не видны вообще. Здесь отсутствуют какие-либо переходы, затенения, полутона — здесь существует только абсолютный блеск или столь же абсолютная тьма.

В древности мореходов мало заботили глубины, разверзавшиеся под поверхностью моря, — не они были врагом. Мореплавателей атаковали и топили вихри, бури, тайфуны, которые присылали вполне видимых предвестников. Враг возвещал о своем прибытии вздымавшимися волнами, буйством воды и туч. Встречаясь с ним «с глазу на глаз», моряки ощущали на себе его мощный натиск и удары, вступали с ним в схватку и побеждали или погибали.

Ничего подобного не случается среди звезд. Пока не изобрели постоянно действующую радарную защиту, ракеты подвергались метеоритным ударам; бывало, что за доли се-

кунды вполне благополучное путешествие кончалось смертельным столкновением.

Формирование принципов и законов звездоплавания, отличных от земных, потребовало немало времени. Взять, например, встречи ракет в пространстве. Они фиксировались в судовом журнале с пометкой «близкая», если корабли разминулись на расстоянии нескольких тысяч километров. Но если они расходились на расстоянии, равном диаметру Земли, это событие тоже следовало фиксировать как встречу. Между тем, как следует из элементарных расчетов, в таком объеме пространства могли кружить миллионы кораблей, однако миновали бы тысячелетия, прежде чем один из них прошел около другого так близко, что его можно было заметить невооруженным глазом. Все дело в том, что люди пытались без изменений использовать земные стереотипы в космической бездне.

В истории космонавтики описаны случаи страха, который охватывал путешественников, когда Земля на какое-то время скрывалась за другим небесным телом. Современные юноши считают, что предки были слабодушны, ибо не находят ничего особенного в светлом голубом пятнышке, на котором, если смотреть с расстояния в миллион километров, невозможно различить даже контуры континентов и океанов. Но так же, как космонавты прошлого поняли, что межпланетное пространство — явление совсем иного рода, чем земное, так и мы, люди «Гей», постигли банальную истину, что короткий полет внутри Солнечной системы совсем не похож на длительное путешествие за ее пределы. И Земля, оставляемая на долгие годы, стала для нас не просто искоркой в пространстве.

Как известно, «Гей» не сразу направилась к Южному полюсу Галактики, а пересекла всю Солнечную систему в плоскости эклиптики. Мы миновали пояс малых планет за орбитой Земли, в котором обращается почти 260 миллиардов астероидов, потом, пролетев Марс, пересекли отмеченные черными линиями на картах неба пути многочисленных комет из семейства Юпитера. Этот гигант Солнечной системы сделал их своими рабынями, похитив из пространства силой притяжения, действующего на огромном расстоянии. Он неустанно меняет их пути, пока наконец не извергает их за пределы нашей системы или не привязывает к определенной орбите.

«Гей» двигалась внутри Солнечной системы двадцать восемь дней со скоростью тысяча километров в секунду, про-

кладывая путь среди роя астероидов, метеоритов и комет. За это время были проверены все навигационные приборы. Мы жили событиями, вторгавшимися к нам извне. Приближаясь, увеличивались в размерах планеты, расположенные за Юпитером и посещаемые весьма редко; невооруженным глазом можно было видеть их гигантские газовые оболочки, колеблющиеся под влиянием глубинных течений; постепенно достигнув максимальных размеров, их диски начинали уменьшаться; планеты, окруженные роями застывших, холодных спутников, отступали одна за другой, превращаясь в светящиеся точки, и исчезали далёко за кормой «Геси». Мы измеряли пройденное расстояние по неустанно слабеющему блеску Солнца, пока наконец на траверсе Плутона наше светило не превратилось в звезду — правда, самую яркую из всех. Земли нельзя было различить уже много дней; ее слабенькая искорка потерялась в потоках света, излучаемого материнской звездой.

Между орбитами Урана и Нептуна с промежутками в тринадцать дней нам встретились две автоматические космические станции; они курсируют в этих мертвых, охваченных холодом пространствах, неустанно разыскивая кометы и метеориты, еще не отмеченные на небесных картах, регистрируют свои открытия и предостерегают всех об опасности радиосигналами. Таких станций насчитывается около шестнадцати тысяч. Они дольше, чем кто-нибудь, остаются в пространстве, прилетая в один из портов Солнечной системы по радиовызову лишь затем, чтобы пополнить резервуары топливом на следующее десятилетие. Я сказал, что мы встретили эти станции; в действительности мы прошли мимо них на таком расстоянии, что их нельзя было различить не только взглядом, но и в телескопы. Они дали знать о себе ритмичным пульсом радиосигналов, что позволило точно определить их положение и направление полета.

Вблизи орбиты Цербера астрогаторы начали постепенно выводить наш корабль из плоскости солнечной орбиты. С этого момента «Гesia» должна была войти в море пустоты; начиналось непрерывное наращивание ее скорости. Как я уже говорил, средняя скорость корабля при полете через эклиптику была близка к тысяче километров в секунду. Так мы двигались восемьдесят два дня и за это время прошли около семи миллиардов километров. Несведущим это расстояние могло показаться весьма значительным, но, когда мы вышли за пределы Солнечной системы, на стенах кабины рулевого управления появились карты в масштабе в миллион раз бо-

лее мелком, чем использовавшиеся ранее. На этих картах пройденный нами путь невозможно было показать: вся Солнечная система, до самых своих границ, включая самые отдаленные планеты, занимала здесь место не больше черной точки.

Многим подсознательно казалось, что пространство за пределами нашей системы будет выглядеть иначе, чем то, которое мы уже видели и изучали. В день, когда было объявлено о прохождении орбиты Цербера, мы пораньше утром с затаенным волнением вышли на смотровые палубы. Однако звездное небо предстало перед нами по-прежнему неподвижным.

Я стоял на передней палубе. Полярная звезда осталась за кормой. «Гей», выйдя на курс, направлялась почти точно к Южному полюсу неба, где на обширном выступе Млечного Пути сияла цель нашего путешествия — созвездие Центавра.

Перед нами простиралась Галактика. Огромные, белесоватые скопища застывших в беспорядочном нагромождении звездных туч пересекались извилистыми черными провалами — это была холодная космическая материя, затемнявшая свет находящихся позади нее звезд. Взгляд невольно устремлялся к солнцам Центавра. Там, в обильно насыщенном светом пространстве, среди мириадов звезд, таких слабых, что глаз вскоре переставал различать их, ярко сияли огни Южного Креста, а по другую сторону полюса Галактики, близ сверкающего алмазными гранями громадного шарообразного скопления Тукана 47, светились Магеллановы Облака.

Свет Большого Облака преодолевает разделяющее нас пространство за 80 000 лет. Это звездное скопление, в котором насчитывается почти пятьсот миллионов солнц, выделялось на черном фоне светлым бесформенным пятном. За ним, на границе видимости, окруженное отблесками сияния, светилось Малое Облако — как бы отражение Большого в бесконечно далеком темном зеркале. Оба эти спутника нашей Галактики движутся за ней на расстоянии, не меняющемся в течение миллионов лет, привязанные силой тяготения.

Зрелище не изменялось, но не надоедало — вероятно, потому, что возбуждало все новые и новые мысли, которые, однако, было трудно выразить.

Я стоял в раздумье, а звезды сияли — неизменчивым, мерцающим, словно капризным светом земных ночей, но светом ровным и неколебимым — как маленькие лампочки,

заключенные в черную ледяную оболочку. Вдруг совсем рядом послышался шепот; я оглянулся. Почти рядом со мной стоял человек и смотрел, подобно мне, в бездну. В полумгле я заметил лишь, что он почти на голову ниже меня. «Какой-то юноша», — подумал я. Он тихо сказал:

— Там сердце Галактики... — и едва различимым жестом указал на место, где сходились созвездия Стрельца, Змеи и Скорпиона.

Теперь мы оба смотрели туда; над нами звездной тучей висело созвездие Стрельца, ярчайшее из всех, разрезанное темной трехлучевой туманностью. Мой сотоварищ продолжал шепотом разговаривать сам с собой. Привыкнув к монотонному звучанию его голоса, я стал различать отдельные слова. Он как бы про себя перечислял названия созвездий, но произносил их не как астроном-классификатор, а как человек, радующийся тому, что видит редчайшую коллекцию.

— Парус... Скорпион... Южная Корона... Хамелеон... Летящая Рыба... Сеть... Что за странная фантазия была у древних, — вдруг громко произнес он, будто продолжая только что начатый разговор, — чего только не видели они в этом хаосе! Я все пытаюсь сложить из этих светлячков что-нибудь отвечающее названиям созвездий, но ничего не получается.

Его звонкий голос и то, что он назвал звезды «светлячками», подтвердили мою догадку — рядом со мной стоял юноша. Он говорил громко, но как бы про себя, и я не отвечал ему. Вдруг, не оборачиваясь в мою сторону, он сказал:

— Ты ведь доктор? Скажи, как чувствует себя наш новый товарищ?

Я не сразу понял его и промолчал.

— Ну, этот парень с Ганимеда, которого вы оперировали, — пояснил он.

— Жив, но без сознания, — ответил я довольно сухо, потому что юноша, обращаясь к старшему, должен был называть себя. Чтобы преподать ему небольшой, но полезный, как я полагал, урок, я довольно холодно спросил: — Кто ты?

— Я? — В его голосе послышалось удивление. — Я Амета... пилот.

Я был удивлен до крайности и промолчал. В ангарах «Геи» было больше сорока ракет; их должны были пилотировать добровольцы — техники, физики и инженеры, прошедшие специальную подготовку. На всей Земле лишь небольшая группа людей занималась исключительно пилотажем. Эти пилоты работали в филиалах Института скоростных по-

летов; пятеро или шестеро из них вошли в состав нашего экипажа. Среди них самым известным был Амета, единственный человек, достигший во время экспериментального полета скорости свыше 190 000 километров в секунду. Он тогда чудом остался жив, врачи немало потрудились, чтобы спасти его. Мое удивление было тем сильнее, что я представлял его огромным, атлетически сложенным мужчиной, а в действительности, судя по фигуре и голосу, это был почти мальчик. Когда он пошел к выходу с палубы, я последовал за ним.

В матовом свете коридора я присмотрелся к нему. Это был низкорослый крепыш с непропорционально большой головой, рыжими волосами, с худощавым, украшенным орлиным носом лицом; его полные губы были крепко сжаты, будто хранили какую-то тайну. Двигался он легко; чувствовалось, что это сильное тело как бы сплетено из крепких пружин, готовых в любую минуту развернуться с огромной силой. Сначала я подумал, что ему лет двадцать, но, когда мы вошли в более освещенную часть коридора, что в стороне от смотровой палубы, в уголках его глаз стали видны глубокие морщинки. При разговоре он смотрел мне в лицо, как бы оценивая.

Коридор стал шире. С одной стороны помещалась глубокая ниша с креслами, в противоположную был вделан аквариум. В глубине его стоял зеленоватый свет и виднелись тени лениво плавающих крупных рыб. В нише сидели астрогатор Сонгграм и светловолосая девушка, с которой я был едва знаком, Лена Беренс, сотрудница корабельного филиала Института планирования будущего. Мы сели рядом с ними. Амета некоторое время молча рассматривал аквариум; лучи, проходившие сквозь воду, окрашивали его медно-рыжие волосы почти в черный цвет.

Неожиданно он сказал:

— А для чего мы, собственно, летим на другие звезды?

— Но ведь кто-то должен полететь первым... — заговорила было Лена, но Амета прервал ее; оказалось, она не уловила его мысли — как, впрочем, и я.

— Почему мы летим на другие звезды, а к нам, на Землю, никто никогда не прилетал?

Завязался спор — могли ли появиться на Земле в древние времена, несколько тысяч или даже миллионов лет назад, пришельцы из других миров.

В конце концов Сонгграм сказал:

— Наша Солнечная система малопривлекательна. Помещается на дальней окраине Галактики, в районе, где редки

скопления звезд, между ветвями спиральной туманности, на расстоянии около 30 000 световых лет от ее центра. Мы — глухая, отдаленная провинция Вселенной. Из всех планет нашей системы только на Земле есть высокоразвитые формы органической жизни, но это — одна из малых планет, ее трудно наблюдать с больших расстояний. К тому же за последние сотни миллионов лет она, как и другие небесные тела, не раз переживала периоды обледенения. Все это могло отпугнуть даже самых рьяных путешественников других миров, у них могло пропасть желание навесдаться к нам.

Амета кивнул.

— Ты прав, шансов на то, чтобы к нам собрались в гости, очень мало... Жаль, однако, — добавил он. — Раньше люди либо совсем не думали о живых существах, населяющих другие миры, либо хотели познакомиться с ними только из любопытства. Теперь мы иногда ощущаем такую же тоску, как человек, который идет ночью и хочет кого-нибудь встретить...

Жесткие складки у губ пилота исчезли. Говоря, он смотрел кому-нибудь в глаза. Взгляд его встретился со взглядом Лены — та сначала широко раскрыла глаза, а затем, как бы защищаясь, опустила веки. Мгновение спустя она встала и предложила перейти в сад. Сонгграм, которому предстояло дежурство в кабине рулевого управления, кивнул нам на прощание и направился к лифту. Мы двинулись в другую сторону. Я вышел из ниши последним и чуть замешкался у аквариума. Подойдя вплотную к его стеклянной стене, я встретил взгляд большой рыбы, которая, слегка покачиваясь, замерла в воде. У нее был подковообразный рот; по сторонам его, как усы, шевелились два слизистых отростка, придававшие рыбе глуповатое и в то же время несколько насмешливое выражение.

Мы прошли в дальний конец сада, для этого пришлось подняться на небольшой пригорок, поросший виноградными лозами; тропинка опускалась с него по глинистому оврагу к беседке, скрытой среди высоких кустов сирени и орешника. У скал над ручьем несколько человек напевали какую-то песенку. Я шел последним и задержался на вершине холма, чтобы посмотреть на багряное солнце; его диск пересекали узкие, казавшиеся на ослепительном фоне черными цепочки туч.

Внутри увитой листьями беседки было почти темно. Я услышал голос Аметы:

— В космосе нет ни голубого неба, ни ярких красок, ни тени, ни ветра, ни журчания воды, ни птичьих голосов. Ничего, кроме раскаленных газов, ледяных планет, вечной но-

чи и пустоты. Земля — редкостное и необычайное явление... Ты спрашиваешь, почему я стал пилотом? Ты могла бы с таким же основанием спросить, почему твои ноги опираются именно на этот камень. Если бы его не было, на этом месте лежал бы другой.

— Я понимаю, — возразила Лена. Она пошевелилась, и я увидел золотистое сияние ее волос. — Но ты ведь не камень, тебя никто не клал на это место, ты выбрал его сам.

— Гм... Да разве все обязательно должно быть досказано до конца? — пробормотал Амета, и я невольно снова, вопреки реальности, представил его себе широкоплечим великаном. — Почему я стал пилотом? Некоторые считают, что эта профессия отличается от остальных постоянным риском, буд-то пилот, как игрок, все время разыгрывает партию, ставка в которой — жизнь. Это неправда; я не игрок, и не герой, и даже не глупец. Я живу, как другие, только, может быть...

— Только — что? — тихо спросила Лена, и по звучанию ее голоса я понял, с каким огромным вниманием она слушает Амету.

— Полнее...

Казалось, что он обдумывает, что сказать дальше.

— Ты спрашиваешь, почему я стал пилотом? Видишь ли, я... хочу, чтобы можно было путешествовать по Галактике. Для этого нужно достигнуть очень высоких скоростей. Некоторые утверждают, что это невозможно. Если бы я ограничился уверенностью в своей правоте, этого было бы мало. Риэш утверждал, что человек не может преодолеть порог скорости — 180 000 километров в секунду. Я хотел доказать, что это неправда. Сделать это теоретически я не умел, поэтому нужно было опровергнуть его теорию на практике, собственным примером...

— А ты можешь мне сказать, почему... ты тогда улыбался? — тихо спросила девушка. — Прости, не знаю, правда ли это...

Амета, несколько смутившись, пробормотал:

— А, ты и об этом слышала? Да, правда: когда меня вы-тащили из кабины, на моем лице застыла улыбка. Это, может быть, очень глупая история. Когда я включил ускорители, началось то, что называют мерцанием сознания. Я боролся, сколько мог; потом полуобморочное состояние начало усиливаться. Я потерял зрение и чувствовал, что сейчас потеряю сознание. Но умирать не хотелось, а еще меньше хотелось, чтобы на этом все кончилось. Поэтому наперекор всему я начал смеяться — и лишился сознания.

— Не понимаю... Ты не хотел, чтобы кончилось — что?

— Полеты, — просто ответил Амета. — Я не рассуждал логически, потому что не был на это способен, но, вероятно, представлял себе дело так: когда откроют кабину и увидят, что я улыбался до конца, подумают, что это... не так трудно. — Он помолчал немного. — Я понимаю, что сейчас это звучит глупо, однако повторяю: я уже не думал, потому что думать не мог. Можешь назвать это проявлением инстинкта.

— Ведь ты мог погибнуть, — еле слышно произнесла девушка.

— Да, я знал это. Но когда человек умирает, с ним умирает и то, что он пережил, и его будущее: возможности, которым не было дано развиваться, все его чувства. Нет в этом ни горечи, ни печали, потому что мертвые отсутствуют, а как может кто-то, кого нет, печалиться о собственной судьбе? Все просто, остаются лишь некие следствия, но может быть... не будем об этом говорить.

— Ты не хочешь?

— Могу, пожалуйста, — ответил он более сухим тоном. — Дело в том, что я не сближаюсь ни с кем, кроме таких, как я сам.

Когда Лена ушла и мы остались вдвоем в совсем уже темной беседке, я сказал Амете, что слышал их разговор, и добавил:

— Знаешь, пилот, если ты не хочешь связывать свою жизнь ни с какой девушкой, то способ, каким ты их отпугиваешь, не очень хорош.

— Я не от себя отпугиваю девушек, — возразил он, и по голосу я понял, что он улыбается, — а от возвышенного образа героя, коим я не являюсь. Меня и моих товарищей окружает ореол фальшивой романтики, он многих увлекает. В таких случаях следует иногда причинить боль, это отрезвляет. Ну что ж, я воспитан в старинных принципах и продолжаю их придерживаться.

— Постой-ка, сколько же тебе лет?

После всего сказанного я поднял его возрастную планку лет до двадцати восьми, может, даже тридцати.

— Сорок три. Да, я придерживаюсь старинных принципов, но готов их пересмотреть, если понадобится...

Возвращаясь к себе, я взглянул на часы: время подходило к одиннадцати. В коридорах вместо фонарей дневного света зажглись синие лампы ночного освещения. Корабль погрузился во мрак, на всех палубах стояла тишина. Я пошел в

больницу. Бокс, где лежал юноша с Ганимеда, был слабо освещен фиолетовой лампой, висевшей далеко от изголовья. Мы уже успели навести по радио справки на Земле и знали, что он выпускник факультета космонавтики, через три месяца собирался вернуться домой. Теперь он поневоле стал участником звездной экспедиции.

Я осторожно подошел к больному. Его лицо было неподвижно. Только очень слабое подрагивание ноздрей при вдохе показывало, что в его теле теплится жизнь. Он по-прежнему был без сознания. Шрей считал необходимым исследовать его мозг, однако мы откладывали это, чтобы юноша мог окрепнуть после тяжелой операции.

Я стоял над кроватью и внимательно разглядывал лицо спящего, словно пытаюсь прочитать его тайну. Но, кроме печати огромной слабости, на лице юноши не отражалось ничего. Вдруг на его щеках задрожали длинные тени ресниц, и я затаил дыхание, подумав, что он просыпается. Однако он лишь вздохнул и вновь застыл. Я проверил автомат, дежурящий у его изголовья, и вышел в коридор.

Когда я проходил по зеркальным плитам фойе, взгляд мой непроизвольно задержался на араукарии. Подумалось о том, что ее нежные иглы, дрожащие при малейшем дуновении, теперь со страшной скоростью несутся в пространстве вместе с ракетой. Я закрыл глаза. Огромное металлическое веретено «Гси», несущее в себе машины и людей, мчалось вперед сквозь вечную ночь. У двери своего жилища я услышал негромкий, медленно нарастающий свист. Корабль ускорял ход. Это происходило каждую ночь — раз в сутки. По инструкции следовало прекращать всякую работу и ложиться, хотя это было и не обязательно. Перед включением двигателей через динамики, размещенные во всех без исключения помещениях, передавались предупредительные сигналы; такой сигнал и настиг меня на пороге комнаты. Я остановился и, склонив голову, с закрытыми глазами, долго вслушивался в его глухой, монотонный звук, который теперь будет сопровождать меня долгие годы.

ТРИОНЫ

Каждый из живущих в наше время людей владеет искусством письма, однако прибегает к нему не часто. Признаюсь, я всегда ощущал тайное удивление, когда слышал, что древние владели этим искусством мастерски. Стоит мне написать

несколько десятков фраз, как рука устает до такой степени, что приходится делать большие перерывы. Историки объясняли мне, что раньше, когда детей обучали чистописанию с раннего возраста, человеческий организм привыкал к этому и люди могли писать целыми часами. Я верю, что так оно и было, хотя все это кажется очень странным. Еще более странным кажется то, что архаический способ накапливания знаний в изготовленных из бумаги книгах продержался так долго. Это — поразительное доказательство косности навыков, передающихся из поколения в поколение. Применяя унаследованные приемы, люди часто осложняют решение многих проблем, которые можно было разрешить значительно проще и быстрее, отойдя от традиции.

Насколько мне известно — впрочем, мои познания в истории невелики, — писанные документы существуют много тысяч лет. Различные цивилизации создали собственные виды письма. Изобретение книгопечатания дало письму большие преимущества, однако я считаю, что уже в XX и XXI веках способ хранения информации в книгах превратился в анахронизм, усложняющий жизнь. Как известно, в этот период существовали так называемые публичные библиотеки, непрерывно пополнявшие свои собрания печатных изданий. Уже в середине XX века каждое крупное книгохранилище насчитывало миллионы или несколько десятков миллионов томов. После победы коммунизма просвещение стало развиваться с необыкновенной быстротой, и процесс накопления книг в библиотеках еще более ускорился. В 2100 году центральные библиотски континентов состояли в среднем из 90 миллионов книг каждая; их основной фонд удваивался каждые двенадцать лет, и уже полвека спустя самые большие из них, такие, как берлинская, лондонская, ленинградская и пекинская, имели по семьсот библиотекарей, занятых составлением каталогов. Тогда было подсчитано, что через сто лет каждой библиотеке необходимо будет привлечь к этой работе три тысячи, а еще через двести лет — сто восемьдесят тысяч человек. В воображении неотвратимо возникали гротескные картины мира 2600 года. Земля, покрытая толстым слоем книг и каталогов; все человечество превратилось в библиотекарей, надзирающих за непрерывно растущими кипами книг.

В первой половине третьего тысячелетия были созданы специальные отраслевые библиотеки, широко распространались микрофильмы, составлением каталогов стали заниматься автоматы, и перестал мерещиться карикатурный об-

раз человечества, превращенного в одну огромную армию библиотекарей. Однако по-прежнему создавались каталоги каталогов и библиографии библиографических работ; этот процесс все более усложнялся, и в конце концов, примерно к 2400 году, ученому, запросившему старую книгу, приходилось иногда ожидать ее целую неделю — факт, который теперь кажется невероятным, особенно если учесть, что уже тогда люди располагали мощными техническими средствами и могли радикально изменить столь неблагоприятное положение вещей. И тем не менее противоречие между архаичными формами хранения информации и ее новыми объемами нарастало до середины тысячелетия. Только в 2531 году всемирное совещание ведущих специалистов ввело совершенно новый способ хранения человеческой мысли.

Для этого были использованы открытые уже давно, но применявшиеся только в технике трионы: маленькие кристаллы кварца, структуру которых можно постоянно изменять, воздействуя на них электрическим током. Кристаллик этот, не больше песчинки по размеру, может разместить в себе столько же информации, сколько ее содержалось в старых энциклопедиях. Реформа эта не ограничилась изменением одного лишь способа записи. Важнее всего был качественно новый способ пользования трионами. Была создана единая для всего земного шара трионовая библиотека, в которой, начиная с этого времени, должны были храниться все без исключения плоды умственной деятельности человека. Особенно много усилий потребовалось для перевода на современный язык произведений древней культуры, чтобы они также были представлены в трионовой библиотеке. Эта грандиозная сокровищница творений человеческого интеллекта оснащена так, что позволяет каждому землянину пользоваться любой имеющейся в каждом из миллиардов кристалликов информацией, и все это при помощи очень простого радиотелевизионного устройства. Мы пользуемся им сегодня, совершенно не думая о точности и мощности этой гигантской невидимой сети, опоясавшей планету. Откуда угодно, будь вы в Австралии, в своем рабочем кабинете, или в лунной обсерватории, или в самолете — сколько раз любой из нас доставал карманный приемничек, вызывал центральный пульт трионовой библиотеки, заказывал понадобившийся ему материал, чтобы через секунду увидеть его перед собой на экране телевизора. Никто не задумывается над тем, что благодаря совершенному оборудованию каждым трионом может одновременно пользоваться неограниченное

число абонентов, ни в малейшей степени не мешая при этом друг другу.

В первые века после этой реформы еще сохранялись книжные собрания как личная собственность ученых, специализирующихся в разных областях. Это было несомненным проявлением консерватизма, который, казалось, внушал им, что напечатанным на бумаге томиком, стоящим на полке в комнате, можно воспользоваться быстрее, чем трионом, находящимся в тысячах километров от них. Нет ничего более ошибочного, чем такое мнение. Чтобы воспользоваться книгой, нужно подняться с кресла, подойти к полке, найти нужную публикацию — на что уйдет более десятка секунд, в то время как от подключения к триону и передачи ему названия нужного материала до появления материала на телеэкране пройдет столько времени, сколько требуется радиоволнам на преодоление расстояния, отделяющего трион от абонента. Обычно это доли секунды. Только абонентам, находящимся на обратной стороне Луны, придется ожидать ответов на три секунды дольше.

В трионе можно закрепить не только световые изображения, перестраивающие его кристаллическую структуру: страницы книг, фотографии, всякого рода карты, рисунки, чертежи и таблицы, — одним словом, все, что может восприниматься визуально, что доступно взору человека. Трион с тем же успехом может увековечить звуки, а стало быть, и человеческий голос и музыку; существует способ «записи запахов»; короче говоря, все, что доступно органам чувств и интеллекту, может быть зафиксировано, сохранено в трионе и предоставлено по требованию абонента. Наконец, трион может содержать записи «конструкторских разработок» или «образцов продукции». Автомат, соединенный с трионом по радио, изготовит нужное абоненту изделие и таким образом сможет удовлетворить самые затейливые прихоти фантазеров, пожелавших иметь мебель старинных образцов или оригинальные одеяния.

Наше телесвидение, цветное и стереоскопическое — в отличие от существовавшего в стародавние времена, — создает полную иллюзию реальности для человека, склонившегося у телевизора над романом или научным сочинением. Мы даже не задумываемся о том, что произведение, которое читаем, или предмет, который исследуем, «на самом деле» не существуют в том виде, в каком они предстают перед нами: то есть в виде толстеного фолианта, разноцветной диаграммы или обломка минерала, а являют собой всего лишь объ-

емное изображение, формируемое далеким персдатчиком по указаниям триона.

Если бы роль трионов свелась только к вытеснению изжившей себя древней формы накопления знаний, к тому, чтобы каждый желающий мог пользоваться всеми сокровищами мировой культуры, наконец, к упрощению системы распределения потребительских благ, и тогда она была бы исключительно велика. Однако роль трионов оказалась куда более важной и положила начало таким изменениям в психике людей, о которых первые реформаторы даже не мечтали.

В коммунистическом обществе на самой ранней его ступени теоретикам и фелицитологам — ученым, изучающим счастье, — причиняла много забот проблема уникальности некоторых предметов — произведений природы или человеческих рук. Казалось, к этому случаю, и только к нему одному, неприменим основной принцип коммунизма, гласящий: «каждому по его потребностям». На Земле было много предметов, существовавших в одном или малом числе экземпляров: полотна крупнейших художников, скульптуры, драгоценности. Каждый такой раритет мог либо быть в личном владении одного человека, либо его следовало превратить в доступную для всех общественную собственность. Конечно, можно было снять много точных копий, тиражировать их, но то были бы только копии. Унаследованное от предыдущих общественных формаций понятие «обладание» породило немало странностей. Одной из них была так называемая «мания коллекционирования». Лица, страдавшие ею, собирали самые разные предметы, начиная с произведений искусства и кончая монетами и растениями. Так выглядел один из тупиков сложной проблемы «обладания». Другой тупик этого рода также причинял немало трудностей. Неустанно растущее производство благ позволяло каждому получить все, что бы он ни пожелал, независимо от того, нужно было это ему на самом деле или он просто удовлетворял свою «жажду обладания». Чувство радости, вытекающее из самого факта «приобретения чего-то в собственность», бессмысленное и даже смешное для нас, в те годы порождало много проблем, и разрешить их было нелегко. Говорилось, например, что в грядущем у каждого будет так много разных вещей, что за автоматами, которые станут заботиться об этом хозяйстве, придется наблюдать другим автоматам, за этими автоматами — следующим и так далее. Вот к чему грозили привести унаследованные от предков консервативные психологические установки.

Применение трионовой техники раз и навсегда ликвидировало такие псевдопроблемы. Любой существующий предмет сегодня можно, как говорится, «иметь по триону», то есть при посредничестве соответствующего триона. Если, например, кому-нибудь захочется получить картину древнего художника Леонардо да Винчи, изображающую Мону Лизу, он может повесить в своей квартире, в рамке телевизионного экрана, изображение, переданное трионом, и любоваться им, пока не надоест, а потом убрать его, просто нажав выключатель. Проблема «оригинала» отпала с того момента, когда оригиналами стали кристаллики кварца, «обладание» которыми никому ничего не дает, а поскольку все, что создает трионовая техника, является верным отражением реальности, трудно говорить о копиях; ведь создаются структуры, абсолютно идентичные оригиналу, — с той лишь разницей, что их можно в любой момент воскресить или уничтожить. Это что-то вроде исполнения желаний в старинных сказках. Никого из нас это не удивляет, наоборот, нас поражают бытовавшие в старину воззрения, из-за которых сложности виделись там, где их никто из ныне живущих не усматривает.

Центральная трионовая библиотека Земли обслуживает всю Солнечную систему; даже те, кто путешествуют на кораблях, достигающих орбиты Юпитера, могут ею пользоваться. Правда, иногда путешественникам требуется немало времени для получения информации, ведь радиосигнал идет тем дольше, чем дальше от Земли находится корабль.

«Гею» на пути к звездам догонял мощный поток трионовой эмиссии с Земли, однако, по мере того как мы от нее удалялись, время между посылкой сигнала и получением ответа постоянно росло. Когда получения заказанного произведения пришлось ждать двенадцать часов, пользование земными трионами стало практически невозможным и наступил знаменательный момент переключения на трионы корабля; все ждали этого с замиранием сердца.

«Гея» была первым в мире судном, снабженным собственным собранием трионов — конечно, неизмеримо меньшим, чем Центральная трионовая библиотека Земли, но тем не менее насчитывавшим около полумиллиарда экземпляров. Переключение наших телевизоров с земной эмиссии на судовую было назначено на полдень сего дня путешествия. Включение судовой трионовой библиотеки — по команде первого астрогатора — означало, что с этого момента мы полностью отрезаны от передач с Земли.

Конечно, между ракетой и Землей продолжался обмен радиоинформацией; мощные передатчики способны обеспечивать связь даже у цели путешествия — созвездия Центавра, но прохождение сигналов становилось все более длительным. Вначале оно длилось дни, и мы шутя говорили, что возвращаемся к временам так называемой почты, которая передавала информацию от человека к человеку через сутки и больше; потом сигналы между нами и Землей стали идти недели и месяцы — радиоволны, летящие со скоростью света, преодолевали все более далекий путь, прежде чем дойти от нас до Земли. Мы все явственнее ощущали свое одиночество в межзвездном пространстве.

Жизнь на корабле шла своим чередом; уже складывались собственные обычаи и традиции. Наши организмы привыкли к ритму сна и бодрствования, несколько более быстрому, чем на Земле: на «Гее» день и ночь длились по десять часов. В лабораториях, кабинетах, мастерских корабля — всюду шла исследовательская работа. Дни текли, похожие один на другой. Работали в лабораториях обычно шесть-семь часов в день; правда, по плану полагался пятичасовой рабочий день, но этого почти никто не придерживался. Еще на Земле я как врач неустанно советовал людям работать поменьше, но ведь всегда так бывает: человек начинает жаловаться на перегрузку, а как только предлагаешь ему отдохнуть или освободиться от части работы, чувствует себя почти обиженным.

— Не принимай этого близко к сердцу, доктор, ты еще молод и глуп, — сказала мне как-то профессор Чаканджан, седая женщина, руководитель секции палеоботаники в группе биологов. — Должен же человек похныкать, без этого ему жизнь не в жизнь.

Профессор Чаканджан приходила в амбулаторию почти ежедневно, неясно в каком качестве — то ли пациента, хотя у нее ничего не болело, то ли как гость, — и потчевала меня байками. Таких «больных» во время моих недолгих дежурств набиралось с каждым днем все больше; похоже, что «пациенты» просто хотели доставить мне удовольствие и засвидетельствовать, что мое присутствие на корабле совершенно необходимо. Посидев и решив, что все от них зависящее сделано, такие пациенты внимательно выслушивали мои наставления и исчезали навсегда.

Вчера, например, Чаканджан рассказывала об одном из своих коллег, молодом ботанике, влюбленном в Милу Грот-

риан. Девушка ходила с ним на прогулки (это было еще на Земле), а он без устали классифицировал растения и читал Миле лекции. Когда они входили в прекрасный сад, он начинал: «Это происходит потому, что хлорофилл не поглощает зеленой части спектра, следовательно...» За семь недель Мила познакомилась с систематизацией растений и разлюбила ботаника с чистой совестью. От Чаканджан я узнал кое-что о Гообаре. Она говорила о нем, как и все, с восхищением, но оставалась верна себе — не могла удержаться от колкостей. «Да, — сказала она как-то, — это необыкновенный человек, но он несносен куда больше, чем того требует его гениальность».

Чаканджан рассказывала мне также истории про математика Кьеуна, самого рассеянного человека на корабле. По ее словам, он распевает на какой-нибудь мотив то, что хочет запомнить, но часто бывает так, что слова улетучиваются у него из головы и остается лишь мелодия, которую он напевает все громче и фальшивей, пытаясь вспомнить нужную формулу. За ним обычно ходит, как собачка, маленький автомат, собирающий все, что он теряет, и запоминающий, куда Кьеун кладет свои вещи.

Я предложил Чаканджан, страдавшей излишней полнотой, пройти курс гормональной перестройки организма. Она расхохоталась мне в лицо.

— Так, значит, плясать под твою дудку? — сказала она, немного успокоившись. — Мои гормоны барахлят вот уже семьдесят лет. Думаю, их хватит еще на столько же.

Анну я встречал только в больнице у койки юноши с Ганимеда или в амбулатории, где мы сменяли друг друга на дежурстве. У Анны свободного времени было мало: она подключилась к работе биологов. Кроме того, мы оба старались не оставаться наедине без «официальных» к тому поводов.

Петр с Ганимеда пришел в себя, но совершенно лишился памяти. Уставившись в потолок пустыми глазами, он целыми днями лежал неподвижно в своем боксе. Я боялся, что он навсегда останется слабоумным, но пока об этом молчал.

Людей, которым, как мне, почти нечего было делать — при всем желании было трудно назвать работой мои непродолжительные и никому не нужные дежурства, — на «Гес» оказалось немного. Это пилоты и люди искусства. Впрочем, что касается последних, то их работу невозможно регламентировать временем. Перед обедом, когда заполнялись лаборатории и рабочие кабинеты, в опустевшем парке или на прогулочной палубе можно было встретить музыкантов или

видсопластиков; они слонялись здесь, казалось, без всякой цели. Но я-то знал, что именно в это время в их головах шла напряженная работа.

После обеда залы отдыха, центральный парк и палубы заполнялись людьми. Вокруг ученых собирались группы слушателей, обсуждались результаты исследований, завязывались оживленные споры по поводу известий с Земли. Самые свежие из них устаревали на месяц, пока доходили до нас, но мы к этому привыкли. Я заметил, что у обитателей «Гси» появилась привычка носить в карманах камешки, подобранные на берегу ручья. Часто можно было видеть людей, которые беседовали, прохаживались или читали, рассеянно крутя в пальцах маленький камешек — осколок земного гранита.

Сегодня я был у Нонны. Она — девушка действительно способная, но одержимая духом противоречия; слишком любит выглядеть экстравагантной. Точную характеристику дал ей Амета. Он сказал: «Ты хотела бы, чтобы о тебе говорили, будто ты полетела в созвездие Центавра только затем, чтобы прикурить от звезды». Она приняла нас в заново отделанной комнате, как будто встроенной в бриллиант: пол представлял собой многоугольную розетку, а потолок пирамидой уходил вверх, опираясь на наклонные треугольники стен. Стол и кресла, сделанные из стекловидной массы, были совершенно прозрачны. Лишь каркас из темного дерева, заключенный внутри каждого предмета, выявлял геометрический замысел автора. А автором была, конечно, сама Нонна.

— Как вам нравится моя комната? — спросила она, едва мы успели войти.

— Ослепительная! — воскликнул Тембхара, закрывая рукой глаза.

А Жмур добавил:

— И ты здесь живешь, бедняжка?

Мы расхохотались. Действительно, сверкание алмазных граней и стен, играющих всеми цветами радуги при малейшем повороте головы, было не особенно приятно. Нонна показала нам свои архитектурные проекты. Оживленную дискуссию вызвал проект ракетного вокзала, формой напоминающего рассеченный надвое параллелепипед с серебряными колоннами, похожими на воздетые крылья, каждое в двести метров высотой. Он мне понравился.

— Слишком красив, — оценил Тер-Хаар. — Зачем эти выкрутасы на высоте в сорок этажей? Разве люди, отправ-

ляющиеся в полет, будут задира́ть головы, когда бегут к ракетам?

— Но зато на известном расстоянии эти колонны прекрасно венчают весь ансамбль! — защищала свой проект Нонна. Она обратилась к молчавшему Амете: — А ты что скажешь, пилот?

— Мне нравится. Я бы повесил этот рисунок у себя. Но как вокзал это не годится.

— Почему?

— Потому что эти вертикальные серебряные полосы во время движения ракеты будут ослеплять людей внутри ракеты. Ты об этом не подумала?

Нонна долго вглядывалась в эскиз, потом схватила его обеими руками и разорвала надвое.

— Он прав, — сказала она в ответ на наши протесты. — Не стоит об этом и говорить.

Двери открылись, в них показался Ериога, пилот, обладавший самым замечательным басом, какой мне доводилось слышать. Его приглашали всюду, но он ходил только туда, куда, как он говорил, приглашали не голое, а его самого. Мы познакомились довольно оригинально. Однажды утром в амбулаторию явился широкоплечий мужчина со светлыми волосами, на фоне которых резко выделялось загорелое лицо. Он вошел в кабинет, где я вел прием, и стал внимательно рассматривать меня, будто я был больным, а он — врачом.

— На что ты жалуешься? — спросил я, чтобы прервать этот осмотр.

— Ни на что, — отвечал он, добродушно улыбнувшись. — Я просто хотел увидеть того, кто победил Мегиллу!

Сегодня он появился у Нонны в приподнятом настроении и уже от двери закричал:

— Слушайте! Пущен гелиотрон! Только что передали с Земли. Час назад пущен гелиотрон...

— Не час, а месяц, — поправил Тембхара. — На столько теперь запаздывают сообщения.

— Да, верно! — Ериога был огорчен. — Мы с таким опозданием узнаём об этом... Представляю, что творилось на Земле, а мы здесь ничего не знали...

— Что творилось? Да то же, что в сто двадцатом году, когда Тер-Софар закончил свою работу о фотонах, помнишь? — сказал я. — Люди тогда останавливали друг друга на улицах, спрашивали, когда будут передавать очередное сообщение. В нашем институте — я тогда был еще студентом — начинались соревнования по гребле. Вдруг пе-

редали, что Тер-Софар будет продолжать изложение своей теории, и через минуту побережье опустело. Два часа лодки мокли пустые на реке, а народ стоял, задрав головы, и слушал Тер-Софара.

Мы обедали в саду за столиками, живописно расставленными среди цветочных клумб. Это нововведение было принято с большим удовольствием. Тембхара, знавший бесчисленное количество исторических анекдотов, рассказывал об архитекторах XXII века, проектировавших «летающие города», целые каскады металлических дворцов, удерживаемых в воздухе вращением гигантских винтов. Нонна в свою очередь рассказала о знаменитом чуде, кибернетике XXIV века Клаузиусе, который создавал механических пауков, ловивших механических мух.

После обеда профессор Шрей, Тер-Хаар и я перебрались на скалы над ручьем, чтобы закончить беседу «на лоне природы». Неподалеку на лужайке играли двое детей: мальчик лет семи и девочка поменьше — без сомнения, брат и сестра. У обоих были темные волосы и кожа того глубокого золотистого оттенка, который появляется, если подолгу бывать на солнце. Девочка то сжимала, то разжимала кулачок под носом у брата.

— Ты даже не знаешь, что это такое, — услышал я его голос.

— Нет, знаю: де-не-жка!

— А что такое денежка?

Девочка задумалась так крепко, что сморщила носик.

— Я знала, да забыла.

— Ты всегда так! — с презрением произнес мальчик. — Никогда ты не знала. Деньги — это такая штука... Эх! — Он махнул рукой. — Все равно не поймешь.

— Ну, скажи, скажи!

— Давно, очень давно за это можно было получить все. Были такие места, и там что угодно можно было за это получить, вот и все.

— Что?

— Все равно ты ничего не поняла? Я так и знал.

— А вот поняла, все поняла! За такие кружочки давали все, чего хочешь. Значит, взрослые тогда тоже играли? Вот какое тогда было время! Знаешь, попросим папу, он сделает нам еще такие денежки.

С трудом сдерживая смех, хирург шепнул Тер-Хаару:

— Слышишь? Наконец нашелся человек, пожалевший о «добром старом времени»!

Мальчик бросил взгляд в нашу сторону. Шрей улыбнулся и кивком подозвал его к себе. Малыш смело подошел.

— Как тебя зовут?

— Андреа.

— А я Шрей. Я врач, а вот он, профессор Тер-Хаар, как раз изучает старинные времена, о которых ты говорил. Он может рассказать тебе о них много интересного! — Он посмотрел на часы, встал и, взяв меня под руку, добавил: — А мы простимся с вами: нам надо идти в больницу. Веселой беседы!

Уходя, я перехватил полный отчаяния взгляд Тер-Хаара. Прямодушный Шрей не подозревал, какую медвежью услугу оказал он историку, принеся его в жертву детям.

Но двумя часами позже я вышел в сад подышать свежим воздухом и крайне удивился, увидев Тер-Хаара на том же месте над ручьем. Я уселся рядом и стал слушать, как он рассказывает мальчику о том, что происходило тысячи лет назад. Он говорил о временах, когда люди были привязаны к маленькому кусочку земли и надрывались в непосильном труде, о страшных войнах, уничтожавших за несколько часов то, что создавалось всками, о тиранах, живших в роскоши, в то время как их подданные умирали с голоду. Мальчик слушал, забыв обо всем на свете; он перестал поправлять падающие на лоб волосы, его глаза становились все темнее и как будто старше. Он прижал загорелые ручонки к груди и так и держал их — даже после того, как ученый закончил свой рассказ. Наконец он ушел, погруженный в глубокое раздумье.

Тер-Хаар сиял от радости — нашел такого понятливого слушателя! Мы прошлись по парку, слушая хоровое пение. Уже наступили поздние сумерки, и искусственная луна залила деревья серебристым светом. Вдруг из боковой аллеи вынырнул мальчик. Он быстро подошел к историку, слегка поклонился и озабоченно сказал:

— Извини меня, но все, что ты рассказал, — только сказка, да?

Тер-Хаар ответил не сразу. Он смотрел на мальчика, улыбка постепенно сходила с его лица.

— Да, — сказал он, — это только сказка...

Прошла неделя после пуска трионовой библиотски, и мы перестали встречать некоторых членов экипажа. Сначала за обедом не стало видно почти никого из астронавтов, потом прекратили прогулки по саду некоторые физики, перестали

показываться на людях конструкторы Утенсут и Ирьола — их словно вообще не было на корабле. Впрочем, никто не придавал этому особого значения. Заметив отсутствие кого-либо из экипажа, многие говорили себе, как я: «У него на то есть свои причины».

В тайну я проник случайно. Утром того дня один молодой математик пожаловался мне, что, когда он хотел произвести весьма сложные расчеты при помощи главного электронного мозга «Геи», Тер-Аконян наотрез отказал ему, заявив, что аппаратура временно перегружена.

— Что за условия работы! — жаловался юноша. — Какое-то первобытное существование; в каменном веке у каждого человека был, по крайней мере, свой кремнь и он делал расчеты, рисуя черточки, сколько ему хотелось. Камней, тогдашних счетных машин, было вволю. А теперь?! И еще говорят, что у нас здесь всего в достатке...

После обеда я отдыхал у Тер-Хаара. У него собралось много гостей, в том числе сотрудники Гообара — биофизик Диоклес и математик Жмур. Диоклес — темноглазый невысокий брюнет; он отличается какой-то, я бы сказал, вечной озабоченностью. Создается впечатление, будто он что-то потерял и только что узнал об этом прискорбном факте. Напротив, Жмур казался мне исключительно спокойным, владеющим собой при любых обстоятельствах — например, при которых его малорослый коллега теряется. Он рассказывал о Гообаре. Я с интересом слушал его; он хороший рассказчик, с острым, хотя и немного суховатым юмором. Он объяснял, почему одни студенты страстно любят лекции великого ученого, а другие терпеть не могут. Когда Гообар читает лекцию, сознавая, что излагает слушателям неизвестный и очень трудный для них материал, он тянет, повторяется, заикается; в таком случае лучше прочитать учебник. Зато когда он начинает говорить увлеченно и страстно, медлительность, вообще-то чуждая его натуре, исчезает, сменяясь свойственной ему манерой перескакивать от одного пункта доказательств к другому, очень далекому. Подъем на вершину представляемой им теории являет собой ряд мыслительных бросков на такие дистанции, что требуется немало сообразительности, чтобы поспеть за ним...

— Ну, это обычное явление, — говорил Жмур. — Трудно требовать от серны, чтобы, взбираясь на скалы, она соизмеряла прыжки с движениями альпиниста. Если же она принудит себя идти так медленно, как и он, то беспрерывно будет делать десятки ненужных движений: то забегать впе-

ред, то останавливаться и отступать, и ее искусственно замедленным движениям тогда будет не хватать красоты и силы, какими она поражает в свойственном ей молниеносном беге.

Кто-то из присутствующих вспомнил анекдот о том, что, когда Гообар впервые излагает новую теорию, ее никто, даже он сам, не понимает. При вторичном изложении ее понимает лишь он один, а для простых смертных — разумеется, специалистов — она начинает проясняться не раньше чем при восьмом или девятом повторении. Все рассмеялись, беседа перескочила на другую тему, но вскоре опять всплыло имя Гообара. Я сказал, что мы обычно представляем себе гения стариком и для того, кто раньше не видел Гообара, первая встреча с ним может оказаться полнейшей неожиданностью, потому что он не старик. Сказав это, я прикрыл глаза, пытаюсь припомнить черты Гообара, но не смог. В памяти возникали его неправильные, словно одним штрихом вычерченные губы и глубоко посаженные глаза под нависшим лбом. О внешности Гообара думал не я один, потому что кто-то вдруг спросил:

— А какого цвета у него глаза?

Никто из сотрудников Гообара не сумел ответить.

— Вот видите! — торжествующе сказал тот, кто задал этот вопрос, словно проводил опыт, который должен был доказать какое-то не высказанное им положение.

От Тер-Хаара я вышел уже поздно вечером и направился к себе домой. В глубокой нише щита, закрывающего ядерные отсеки, я увидел Ирьюлу, молодого Руделика и незнакомую женщину. Я хотел пройти мимо, но послышался предостерегающий свист: через минуту «Гея» должна была ускорить ход. Я не успел бы дойти до лифта и остановился около них. Они обменялись взглядами, говорившими, как мне показалось, о некотором смущении, но, прежде чем кто-либо успел сказать хоть слово, автоматы включили ускоряющие двигатели. Ничего не изменилось, только наши тела стали несколько тяжелее.

Не без удивления я заметил, что Ирьюла курит папиросу; вообще это очень редкое зрелище, а его я курящим до сих пор ни разу не видел. В какой-то момент, склонившись над выступающей из броневого щита под небольшим углом массивной плитой, он стал стряхивать на нее пепел; тот распределялся тонким слоем. Это продолжалось несколько минут и походило на странную забаву, но я заметил, с каким вниманием все трое вглядываются в поверхность металла. Не-

вольно наклонился и я, чтобы что-нибудь увидеть. Мельчайшие частицы пепла не лежали неподвижно, а медленно перемещались, образуя какой-то рисунок. Несколько десятков секунд я не мог уяснить себе его характер, затем внезапно прозрел: пепел собирался концентрическими дугами, центр которых, похоже, находился где-то за барьером, в глубине атомных камер. Работающие двигатели вибрировали слишком слабо, чтобы можно было ощутить эту дрожь, но барьер передавал неуловимое глубинное содрогание тонкому слою пепла, и тот скапливался в кучностях вибрационных волн.

Эти трое обменялись понимающими взглядами. Ирьола что-то записал, женщина закрыла крышку прибора, стоящего на треножнике, еще мгновение — короткий, глухой вздох известил, что двигатели выключены.

— Что вы делаете? — спросил я.

Ирьола посмотрел мне в лицо и прищурился.

— Прежде всего, доктор, никому ни слова. Ладно?

— Никому об этом не говорить? — Я удивился. — Хорошо, обещаю. Но скажите, в чем дело?

— Вибрация, — загадочно произнес Ирьола.

Руделик не смотрел на нас; задумчиво или, может быть, встревоженно он потирал небритый подбородок. Только незнакомая мне женщина стояла спокойно, вглядываясь в пустоту коридора.

— Я понял, — ответил я, — но разве в этом есть что-то нежелательное?

— Если происходит то, чего мы не предусмотрели, это нежелательно, — сказал Ирьола. Его глаза уже не светились лукавством; вокруг них залегли темные круги, как после бессонной ночи.

— Ну, ладно, но что же все-таки это такое?

Ирьола пожал плечами.

— Нагрузка двигателей всегда одинакова; при меньших коростях вибрации не было, она появилась, начиная с...

— ...С шестидесяти тысяч километров в секунду, — вдруг сказал Руделик и взглянул на нас, как бы очнувшись от задумчивости.

— Это опасно? — спросил я.

Ситуация становилась весьма своеобразной. Мы стояли в одном из самых дальних закоулков огромного корабля, летящего сквозь мрак, окруженные с трех сторон массивным металлическим панцирем; было абсолютно тихо в залитом неподвижным светом коридоре, который тянулся так далеко, что вереница освещавших его ламп сливалась в голубую полосу.

— Не знаю, — просто сказал Руделик. — Мы не предвидели такого положения; оно необъяснимо в рамках теории. Значит...

— ...Значит, теория ошибочна... — закончила женщина. Она стояла неподвижно. В ее голосе слышалась огромная усталость.

— Да-а, — протянул Ирьола и уселся на покатуую плоскость. — Мы уже посылали автоматы на ту сторону, — кивком он показал на барьер, — и не раз...

— Ну, хорошо, — сказал я, — но какое значение имеет столь незначительная...

Ирьола поднял на меня снизу глаза, очень коротко взглянул и отвел взор; он ничего не сказал, но теперь наконец я понял.

— О небо! — вскрикнул я. — Она растет, эта вибрация, растет по мере ускорения движения, да?!

— Тише! — Руделик сжал мне руку.

— Извини! — смутившись, пробормотал я.

Ирьола, казалось, не заметил этой сцены.

— Усиливается ли она? — спросил он как бы у самого себя и ответил после небольшой паузы: — Да, усиливается, но...

— ...Но не в прямой пропорции, — закончил Руделик.

Он весь словно бы немного сжался, глаза у него блеснули, я видел, что в это мгновение он забыл о моем существовании и обращался к одному инженеру; механическим жестом он вытащил карманный анализатор.

Движением руки Ирьола перечеркнул его слова.

— Ну да, — сказал он, — есть предположение, что вибрация достигнет максимума при ста тридцати тысячах километрах в секунду, а потом, может быть, начнет ослабевать, но ненамного. Правда, Гообар говорит, что и это хорошо, но...

— Как, вы и Гообара втянули в эту историю?

Ирьола только сдержанно улыбнулся, как бы говоря: «Ты все еще ничего не понимаешь...» — и продолжал:

— Он говорит, что это хорошо, но, по правде говоря, утешительного для нас мало. Гообара это явление интересует еще и потому, что оно связано с его текущей работой...

— А оно все-таки связано, — вставила женщина.

— Да, и он этим даже доволен... Говорит, что оно помогло ему...

— Что же это значит? — спросил я. Сам я уже ничего не понимал; чувствовал, что дело в ином, в том, что невоз-

можно выразить словами. — Нам грозит серьезная опасность?

— Не думаю, — ответил инженер. — Конструкция «Геи» рассчитана с семидесятикратным запасом прочности...

— Но в чем тогда дело?

Мой вопрос повис в воздухе. Ирьола встал. Все собрались уходить. Женщина подняла установленный у стены виброметр, а Руделик потянул автомат, и тот двинулся за ним, как маленькая собачка.

Они, не простившись, прошли мимо меня — будто я растаял в воздухе. Ирьола шел позади; вдруг он остановился и взял меня за руку. Я ощутил крепкое пожатие.

— Это то, от чего нас отучила жизнь, — сказал он, глядя мне в глаза. — То, что не вмещается в зданис, которое мы возвели за тысячу лет. — Он повел рукой, как бы указывая на окружающие нас стены, но я понял, что он имеет в виду здание науки. — То, что хуже опасности, — добавил он тише.

— Хуже опасности?.. — переспросил я; в голове у меня все перепуталось.

— Да, — ответил он. — Незнведенное.

Ирьола отпустил мою руку и пошел вслед за остальными. Долго, очень долго смотрел я на полустертые следы вибрационных волн на поверхности плиты, не отражающей света, как запотевшее зеркало. А потом отправился к себе, ступая неслышно, словно оберегая доверенную мне тайну.

ЗОЛОТОЙ ГЕЙЗЕР

Прошло пять месяцев с начала нашего путешествия и два месяца с тех пор, как начали заметно опаздывать радиосигналы с Земли. Теперь у меня было меньше свободного времени, чем прежде: я был занят юношей с Ганимеда. Профессор Шрей провел со мной и Анной консилиум, на котором мы решили тщательно исследовать мозг больного. Главный хирург затребовал связь с Землей для получения детальных данных о юноше — он считал, что придется заставить его выучить свое прошлое, записать все заново в его память, опустошенную катастрофой.

Юноша был совершенно пассивен и позволял делать с собой что угодно, не оказывая никакого сопротивления. Им можно было руководить, как ребенком. Анна уделяла ему много внимания. Я часто видел, как она ходила в саду меж-

ду цветочными клумбами, держа его за руку, а он, высокий, стройный и очень серьезный, послушно следовал за ней, стараясь приспособиться к ее мелким шажкам. Она говорила с ним, показывала цветы, называла их, но восковая маска его лица оставалась непроницаемой.

Наконец Шрей назначил решающее исследование. Грозная энцефалоскопическая аппаратура имела какой-то дефект, устранить который я сам не мог, поэтому мне было поручено договориться об этом со вторым астрогатором Ланселотом Гротрианом, в обязанности которого входило наблюдение за автоматами технического обслуживания. Я не сразу нашел его — он только что закончил дежурство и ушел из кабины рулевого управления. Автоматы-информаторы тоже не знали, где он находится. Блуждая по всему кораблю, я зашел в дальний его конец. Перед малым концертным залом коридор расширялся, образуя просторное фойе. Гротриан стоял у боковой колонны и разглядывал белую статую, которая высилась посреди пустого пространства. Я изложил ему свою просьбу.

За разговором мы стали ходить, вернее, прохаживаться; шум наших шагов, усиленный резонансом от сводчатого потолка, похожего на высоко поднятую раковину, громко отдавался в коридоре. Почему-то мы, как сговорившись, остановились прямо против статуи. Это был юноша, который отправился в дальнюю дорогу и остановился отдохнуть. Его лицо казалось совершенно заурядным. Но было в нем что-то от раннего мартовского утра и голых, обрызганных водой деревьев, протягивающих в тумане свои ветки навстречу бледному солнцу. Именно такое было у него лицо; оно говорило, что он ждет исполнения всех своих желаний, самых заветных. Гротриан сказал, что скульптуру изваяла Соледад, и тут я вспомнил короткий разговор, происшедший неделей раньше. Я встретил Соледад в саду — она сидела на вершине холма с настоящей старинной книгой на коленях. Я с интересом спросил, что это за книга. Она не ответила, даже не подняла головы, но начала читать вслух:

— «Его спросили: «Как тебе жилось?» — «Хорошо, — ответил он, — я много работал». — «Были у тебя враги?» — «Они не помешали мне работать». — «А друзья?» — «Они настаивали, чтобы я работал». — «Правда ли, что ты много страдал?» — «Да, — сказал он, — это правда». — «Что ты тогда делал?» — «Работал еще больше: это помогает!»

— О ком это? — спросил я.

Она назвала какого-то древнего скульптора и опять принялась читать, мгновенно забыв о моем присутствии.

Я рассказал об этом Гротриану и спросил, считает ли он, что скульптору имеет смысл участвовать в такой экспедиции, как наша. Какую пользу это может принести Солсдад?

— Думаю, что польза будет, — сказал он. — Очень трудно отразить на поверхности камня то, что кроется глубоко в людях. И — можно многое узнать о человеке, глядя на звезды...

Во время разговора я изучал лицо астрогатора. На нем проступали следы старости — линии, сбегавшие вниз. Были тяжелы морщины вокруг глаз и складки щек. Глаза под седыми бровями заволакивал какой-то туман. Но когда с последними словами Гротриан посмотрел на меня, он — странное дело — показался мне моложе, чем я сам.

Вечером мы собрались в операционной и уложили юношу, по-прежнему безразличного ко всему, на металлический стол. И тут случилось непредвиденное: когда Шрей начал опускать широкие пластинки электродов, которые должны были опоясать голову юноши, тот неожиданно закрыл лицо руками. Этот порывистый жест испуга поразил нас, мы замерли в недоумении — так сильна была привычка к его всегдашней пассивности.

Анна наклонилась к нему и тихо заговорила, нежно разгибая его пальцы, словно играла с ним в детскую игру. Юноша перестал сопротивляться, хотя лицо его оставалось напряженным. Металлические захваты обняли его виски, опустились на щеки ниже глаз. Кремовое покрывало прикрыло его тело, и только обнаженная грудь равномерно колебалась в гаснущем свете. Наконец установился полумрак. Из блестящего колпака, который теперь плотно покрывал череп больного, торчали, подобно ежиным колючкам, датчики. Они воспринимали слабые электрические потенциалы мозга и, усиливая их в тысячи раз, передавали на аппаратуру, установленную у изголовья операционного стола. Над ней возвышался стеклянный аппарат, очертаниями напоминавший глобус.

Как известно, распространенная когда-то гипотеза, что можно будет, записывая электротоки мозга, читать человеческие мысли, не оправдалась, поскольку у каждого человека ассоциации возникают по-своему и сходным кривым не соответствуют сходные понятия. Поэтому врач с помощью энцефалоскопа не может узнать, о чем думает больной, но может установить, как формируется динамика психических

процессов, и на этом основании определить заболевание или повреждение мозга.

Шрей долго сидел неподвижно, вслушиваясь в гудение усилителей, будто надеялся уловить в этом хаосе звуков какую-то мелодию, затем включил аппарат.

Прозрачный глобус осветился изнутри. Тысячи искр замелькали в нем так быстро, что видны были лишь дрожащие спирали и круги — фантастическое кружево света, висящее в пространстве и изрезанное тонкими, острыми зубчиками. Кое-где более густые волокна света сливались в туманные пятна жемчужного оттенка; постепенно весь шар наполнился фиолетовым светом и стал похож на маленькое небо, изрезанное падающими звездами. Извилистые линии то сплетались, то расплетались, создавая рисунок исключительной красоты и тонкости.

— Говорите с ним, говорите, — прошептал Шрей, обращаясь к Анне.

На лицо профессора падал свет из глобуса; от этого тонкий острый его нос казался обособленным от остальной части лица, изборожденного полосками теней.

— О чем мне говорить? — нерешительно спросила Анна.

— О чем хотите, — буркнул Шрей и еще ниже наклонился над светящимся шаром.

Анна придвинула голову к колпаку. Я видел только ее темный профиль на светлом фоне.

— Друг, ты слышишь меня, правда?

В хаосе переплетенных светящихся линий ничего не изменилось.

— Скажи мне, кто ты? Как тебя зовут?

Ее голос на фоне монотонного гула аппаратов звучал слабо. Этот вопрос мы задавали ему десятки раз, но никогда не получали ответа; больной и теперь молчал, а яркие искры продолжали двигаться по замкнутым кривым, пробегая то вверх, то вниз. Анна задала юноше еще несколько вопросов, напомнила о Ганимеде, звездоплавательной станции, называла общеизвестные понятия, но это не вызвало никаких изменений в движении световых точек.

Прежде мне не часто приходилось присутствовать при таком тщательном исследовании мозга, и я вспоминал все, что слышал об этом на лекциях: искры, непрерывно и неотвязно двигаясь по своим орбитам, отражали жизненные процессы, протекающие в мозгу. Их ритм и симметрию не нарушали нерегулярные спиралевидные разряды, создававшие у неспециалиста впечатление хаоса, хотя они-то и показывали кар-

тину мышления. В студенческие времена я с трудом мог понять, как эти молнии, мечущиеся в мнимом беспорядке, могут отражать кристаллически ясный порядок мыслей.

Склонившись над черневшим во мраке плечом Шрея, я смотрел в глубь шара. Кое-где он светился неравномерно: поток света как бы разбивался о невидимые рифы и золотыми струями обтекал их, создавая туманные контуры волн и водоворотов.

Наконец Анна, обескураженная, замолкла. Я уже начал уставать от неудобной позы — стоял, сильно наклонившись вперед. Шрей что-то глухо бормотал себе под нос, наконец крикнул и проговорил:

— Довольно.

Казалось, Анна не расслышала его. И спустя секунду в тишине, нарушаемой лишь гулом усилителей, задала большому вопрос:

— Ты кого-нибудь любишь?

Прошла доля секунды; вдруг световые точки, летавшие внутри шара, вздрогнули. В темноте возник золотой фонтан, он засверкал, разметал замкнутые орбиты и выстрелил вверх; казалось, он пробьет стены стеклянной тюрьмы. Потом свет опустился и погас, все приняло прежний вид, и снова на экране было видно, лишь как в призрачном фосфорическом сиянии стремительно несутся яркие искры.

Шрей выпрямился, выключил аппарат и включил верхнее освещение. Слепленный ярким светом, я прикрыл глаза.

— Так, — сказал хирург, как всегда словно разговаривая с самим собой. — Моторная афазия... Тяжело повреждено около десяти полей... и глубже, *tractus cortico-thalamicus*, но таламус цел, похоже на то... — Вдруг он, будто только теперь заметив Анну, подошел к ней, положил руки ей на плечи и сказал: — Замечательно, девочка! Как это тебе пришло в голову?

Анна беспомощно улыбнулась.

— Не знаю. Я даже подумала, что это глупо с моей стороны, потому что нервные пути...

— Не глупо! Совсем не глупо! — прервал ее Шрей. — Нервные пути нарушены, не правда ли? Но есть достаточно устойчивые воспоминания, которые можно уничтожить только вместе с человеком! Ты поступила замечательно! Не знаю, но...

Не окончив фразы, он подошел к койке и освободил пациента от электродов. Юноша широко раскрыл глаза с огромными зрачками — такими огромными, что они казались

двумя черными, скрытыми затмением солнцами, окруженными узкими венчиками серо-синего ореола. Эти глаза смотрели сквозь нас безразлично, неподвижно.

— Абулия... лобные поля... — бормотал Шрсй. — Дело плохо... но ничего, будем оперировать еще раз...

Местом, где регулярно встречались люди самых разных профессий из всех групп, был спортивный зал. Я советовал всем систематически заниматься гимнастикой и сам показывал пример, являясь через день на спортивные занятия. Тренером был друг Амсты — Зорин. Я так и не узнал, пилот ли он, занимающийся попутно кибернетикой, или специалист по кибернетике, который упражняется в пилотаже. Он говорил, что ему пришлось столько путешествовать по всяким космическим станциям, что, совершенно выбившись из ритма сна и бодрствования, он мог работать или спать в любую пору дня и ночи. Зорин был настоящий атлет; таким именно я представлял себе Амсту, когда еще не знал его. Самые сложные гимнастические упражнения он выполнял без всякого напряжения. Подходя к гимнастическому снаряду, он как бы прислушивался к своему телу в ожидании тайного сигнала о его готовности, потом внезапно взвизывал над перекладиной и начинал летать вокруг нее, вращаться; в какие-то мгновения застывал в полете, будто наперскор силе тяготения, подобно прекрасной живой скульптуре. В каждом его движении, в том, как он подавал руку, во внешней тяжести, но неслышной походке таилась сонная, кошачья грация, словно он, обладая таким великолепным телом, вынужден был непрерывно преодолевать его лень. Мы все обожали его; он умел разжигать в нас почти что детское честолюбие. Я помню, как Рилиант по вечерам приходил в зал, чтобы отработать какой-нибудь бросок, и трудился над этим несколько недель лишь ради того, чтобы Зорин одобрительно кивнул головой.

Говорили, что Зорин был замечательным конструктором; его товарищи из группы Тембхары часто рассказывали о чудесной интуиции, с которой он предвидел самые отдаленные последствия того или иного решения стереометрических проблем. Никто не знал, как и когда он работает, — он приходил к Тембхаре как гость, проводил часок в лаборатории, брал тему и возвращался через два-три дня с готовым решением. У него была удивительная память: он никогда не делал заметок. Его просторный селенитовый комбинезон, испускавший голубоватый свет, можно было внезапно заме-

тить в самой дальней от центра корабля темной галерее, где-нибудь у ангара или на нулевой палубе; он часто забирался туда один. Если же рядом с ним кто-то шел, можно было биться об заклад, что это Амета. Они, казалось, вообще не разговаривали друг с другом: каждый из них владел искусством молчания, которое меня всегда так удивляло и даже тревожило, поскольку было мне совершенно чуждо. Иногда они ходили по смотровой палубе, изредка обмениваясь никому не понятными словами — названиями кораблей или космических станций, — и вновь замолкали, словно обдумывая одну, совместно избранную тему.

К этому времени «Гейя» достигла скорости 90 000 километров в секунду. На первый взгляд она продолжала висеть неподвижно среди звезд, и лишь оттенки их света начали постепенно меняться из-за эффекта Доплера: звезды, расположенные прямо по носу, сияли голубым светом, а те, что за кормой, становились все более красными. Чувствительные аппараты, регистрировавшие эти изменения, вычисляли скорость полета, страшную и непонятную в условиях Земли, — снаряд, несущийся с такой быстротой, войдя в самые разреженные слои земной атмосферы, испарился бы и превратился в газовое облако. Однако здесь все было спокойно и беззвучно; по-прежнему ровно светили звезды, по-прежнему безмолвна была черная бездна. Солнце можно было видеть лишь с кормовых палуб, оно походило на довольно крупную золотистую звезду, сиявшую в глубине сплюснутого диска; это были облака пыли, вращающиеся в плоскости эклиптики. Увеличение расстояния от Земли выражалось лишь в увеличении ряда мертвых цифр на шкалах приборов — они были уже непостижимы для ума.

Мне много раз предлагали включиться в ту или иную группу, и я, признаюсь, даже собирался заняться видеопластикой, но в конце концов воздержался. Зато все больше увлекался занятиями медициной и вечерами, ощущая приятную физическую усталость после тренировок, проводил сложные операции на трионовых моделях и изучал богатейшие медицинские пособия из судовой библиотеки.

Хотя занятия медициной поглощали все мое время, я чувствовал некую смутную неудовлетворенность. То казалось, что я слишком мало общаюсь с людьми, то приходило в голову, что моя наука чересчур академична и никому на корабле не приносит пользы. Надежда на практику по возвращении на Землю была такой отдаленной, что фактически теряла реальный смысл.

Я учился, читал. Принимал здоровых «пациентов», навещался к Тер-Хаару, прогуливался с Аметой, а в это время на корабле медленно происходили неотвратимые изменения. Мелкие, но многочисленные события и факты должны были привлечь мое внимание, однако я был глух и слеп. Впоследствии я немало удивлялся тому, как мог ничего не замечать, но теперь думаю, что мой ум защищался, не хотел видеть вестников приближавшихся событий, того, что уже ожидало нас в одной из черных, холодных пучин, сквозь которые без устали мчался корабль.

Однажды вечером, когда мы, усталые от бега, полуголые, отдыхали на лежаках и от наших тел после душа поднимался пар, кто-то, лениво похлопывая себя по бедрам ребром ладони, словно опять принимаясь за массаж, пожалел, что нельзя заниматься греблей. Зорин улыбнулся и сказал, что собирается организовать на «Гее» регату восьмерок, и в ответ на наши удивленные вопросы рассказал, как он это себе представляет. Лодки можно установить в небольших прямоугольных бассейнах с водой, окружить их видеопластическим миражом озера или даже моря, и экипажи начнут соревнования — скрытые измерительные аппараты определят, какая из восьмерок гребла быстрее, и она будет признана победительницей. Он уже стал привычно чертить в воздухе, как вдруг физик Грига сказал с досадой:

— Это будут не соревнования, а иллюзия. Вообще здесь слишком много этой видеопластики. Искусственное небо, искусственное солнце, искусственная вода; кто знает, может, мы сидим в обыкновенной бочке, а «Гея», космос, экспедиция и межпланетная пустота — все это видеомираж!

Кое-кто рассмеялся, но смех еще больше задел физика.

— К черту такую забаву! — воскликнул он, вскочил и разразился гневной речью: — Все это самообман! Если так будет продолжаться, мы дойдем до того, что вообще никто не будет делать ничего, даже видеопластика будет не нужна. Чтобы пережить восхождение на Гималаи, проглотите пилюлю, она вызовет соответствующее раздражение в мозгу, и, сидя в своем кресле, ты будешь ощущать, что лезешь по скалам и снегам! Хватит дурачить самих себя! Это какие-то наркотики, отвратительные суррогаты! Если человек не может что-то делать по-настоящему, не нужно этого делать вообще!

Последние слова он почти выкрикнул. Поначалу некоторые засмеялись, но смех сейчас же оборвался. Биолог попытался было что-то рассказать о наркотиках, но беседа не

клеилась, и мы быстро разошлись, громко сетуя, что Зорин заставляет слишком много тренироваться перед сорсэнованиями. Болтовней этой мы пытались скрыть собственные сомнения.

Долгое время мне не давала покоя мысль о том, что я случайно узнал у противоатомного щита. Я дал слово никому не рассказывать об этом, но должен признаться, что несколько дней подряд ждал вечернего сигнала со все нарастающим беспокойством и, где бы ни находился в момент увеличения скорости, напряженно наблюдал за окружающим, но ничего необычного, однако, не замечал. Раз-другой намеренно засиживался у Тер-Хаара, чтобы на обратном пути заглянуть в нишу противоатомного щита. Там было пусто и темно. Хотелось повторить эксперимент Ирьюлы с пеплом, но я опасался, что меня застанут за этим занятием. В конце концов проблема разрешилась сама собой. Ирьюла к концу следующего месяца вновь стал приходить в столовую. Он был в прекрасном настроении и, казалось, совсем забыл о нашей ночной встрече. Несколько раз я пытался намеками напомнить о ней, но Ирьюла не понял, и пришлось спросить его напрямик.

— Ах, ты об этом, — сказал он. — Такие вещи случаются, когда что-нибудь делаешь впервые. Ничего, все в порядке.

По вечерам я ходил на палубы, с которых открывался вид на звезды. Там почти никого не бывало, и я приписывал это занятости людей. Говорили, что астрофизики уж сейчас готовятся к наблюдениям будущего года за необычайно редким явлением — рождением сверхновой звезды. Группа Гообара, по слухам, снова была близка к какому-то открытию. И хотя в остальных группах насчитывалось еще около ста восьмидесяти человек, на обзорных палубах бывали не многие.

Я перестал вникать в характер созвездий, не искал их и не пытался вычленивать из черного фона — глядя на знакомое лицо, нельзя отделить от него глаза или губы. Застыв на одном месте, прислонившись лбом к холодной прозрачной стене, я часами предавался созерцанию, намеренно устремляя взор в бездны. Взгляд, направленный ввысь, казалось, возвращался обратно, как выпущенная в небо стрела, — там пластами залегла чернота, кое-где расщепленная бледными прожилками туманностей. А внизу была усеянная звездами пропасть. Взгляд упорно прокладывал себе путь в завалах темноты, буравил ее пласты, какие-то огромные черные вы-

пуклости, опущенные прокаленным пеплом, какие-то оксаны мрака, фосфорически поблескивавшие; с огромным усилием взгляд продирался сквозь пылевые заслоны к затененным звездам — взгляд мучительно уставал; он, казалось, был исчерпан, размыт и поглощен нигде не кончающейся чернотой. С истинным облегчением взгляд отдыхал, натываясь на звездные скопления, а потом опять устремлялся вдаль, туда, где среди бесформенных мрачных нагромождений зияли бреши, из которых струился призрачный свет.

На восьмом месяце путешествия ракета достигла скорости 100 000 километров в секунду. За каждые четыре секунды она преодолевала пространство, равное расстоянию между Луной и Землей, разметая на лету встречные световые волны, рассеивая их за кормой. Ракета достигла третьей части максимально возможной скорости, однако все световые ориентиры, по которым мы определяли свое местонахождение, оставались неподвижными. Вселенная казалась безразличной ко всем усилиям — нашим и наших машин. Одного этого было достаточно, чтобы ощутить себя раздавленным. Самого незначительного передвижения созвездий, изморяемого хотя бы микроскопическими величинами, нужно было ждать не дни, не месяцы, а годы. Мы неслись днем и ночью — когда работали, отдыхали, спали, развлекались, любили; автоматы включали двигатели, струи атомного огня вырывались из дюз, ракета ускоряла движение, пролетая уже 105, 110, 120 тысяч километров в секунду, а звезды оставались неподвижными.

ДЕВЯТАЯ СИМФОНИЯ БЕТХОВЕНА

Все то новое, еще не изведенное, не пережитое, что тлело глубоко во мне и постоянно подавлялось, когда я был на людях или сидел за присмниками земной информации, но бурно вспыхивало в минуты ночных пробуждений или при одиноких прогулках под звездами; все это собралось, слилось воедино и всплыло на двести шестьдесят третий день путешествия.

Я закончил обычные занятия позже, чем всегда, и, стоя под большой араукарией на полпути между больницей и моей комнатой, думал, как убить остаток вечера. Ничего не решив, я отправился в сад.

Спускались ранние весенние сумерки. Вероятно, по чьей-то просьбе ветер дул сильнее, чем обычно, и его порывы,

раскачивавшие ветви деревьев, будили во мне давно забытые воспоминания. В синем небе над головой плыли большие, бесформенные облака, низко опустившееся солнце то пряталось за ними, то посылало последние лучи, и тогда деревья и кусты, как бы внезапно проснувшись, отбрасывали на землю длинные тени.

На скалах под обрывом, с которого стекал ручеек, сидели трое ребят от двенадцати до пятнадцати лет. Младший из них сидел, прислонившись к скале, и обедал сахарную «вату» с палочки. Священнодействие это было таким глубоким, что я невольно им залюбовался и встал. Второй насвистывал какой-то классический мотив, фальшивил и в трудных местах помогал себе, изо всех сил качая ногами; третий — это был Нильс Ирьола — забрался выше всех, уселся в естественном каменном седле, скрестил руки на груди и смотрел на горизонт с видом властителя беспредельных просторов. По другую сторону ручья был еще человек; я не мог его рассмотреть. Он стоял над пенящимся потоком, вода которого в тени казалась черной и густой, как смола. Время от времени оттуда вырывались сверкавшие белизной клочья пены.

— Когда же начнется эта ужасная пустота, о которой так много говорят? — спросил младший мальчик, повернувшись к этому человеку; он все облизывал свою «вату».

— Тогда, когда ты ее заметишь, — ответил человек.

Я узнал голос Аметы. В это время кто-то положил руку мне на плечо. Я обернулся и увидел Анну.

— Давненько мы с тобой не виделись. Что подделываешь? — сказал я, улыбаясь; мальчики болтали с пилотом, но я уже не мог следить за разговором.

— Сегодня концерт, — сказала Анна, встряхнув кудрями.

— В программе — Руис-старший?

— Нет, на этот раз нечто очень древнее: Бетховен. Десятая. Знаешь?

— Знаю. Ты идешь?

— Да. А ты? — спросила она. Вдали мелькала яркая одежда детей.

— Обязательно, — сказал я. — Если можно — с тобой.

Она утвердительно кивнула и подняла руки к вискам, чтобы поправить прическу.

— Уже пора идти? — спросил я.

Меня вдруг охватило легкое, приятное настроенье, будто я выпил бокал игристого вина.

— Нет, начало в восемь.

— Ну, впереди еще целый час. — Я посмотрел на ча-

сы. — Может, договоримся, где встретиться? — добавил я с улыбкой.

На «Гее» было принято поступать именно так: мы как бы подчеркивали, что свобода наших поступков не ограничена стенами ракеты, — это было элементом все усложняющейся системы иллюзий; мне, как и другим, этот обычай нравился.

— Конечно, — серьезно ответила она, — встретимся... через час вон под той елью.

— Ровно через час буду там. А теперь я должен оставить тебя?

— Да, мне нужно еще кое-что сделать.

Я вновь остался один. Повернувшись туда, где только что сидели мальчики, я увидел, что там никого нет, и решил побродить по саду. Зная каждый его уголок, каждую аллею и клумбу, я мог бы с закрытыми глазами идти в любую сторону. Было хорошо известно, где кончается пространство, по которому можно прогуливаться, и начинаются призрачные красоты, созданные видеопластикой. И тут мне пришлось в голову, что эта прогулка похожа на прогулки древних каторжников, и я ощутил внезапную неприязнь к кустам и деревьям, так сильно шумевшим сегодня.

Я вышел в коридор и, вызвав лифт, отправился на восьмой ярус навестить Руделика, но уже на пятом вышел и вернулся вниз, надеясь найти Амету в помещении для пилотов. Поиски, однако, ни к чему не привели. И тогда я поступил по-ребячески: снова вошел в лифт, закрыл глаза, наугад нажал подвернувшуюся под руку кнопку и стал терпеливо ждать, что будет дальше. Двери открылись с едва слышным шипением. Оказалось, что я приехал на одиннадцатый ярус, где работал коллектив Гообара. Сюда мало кто забирался, посторонним здесь делать было нечего; однако я вышел, дал отбой лифту и медленно пошел к большой стене, за двойной обшивкой которой помещалась персональная лаборатория Гообара.

Я подошел к стене. Она была сложена из поляризованных стеклянных плит, в одном положении плиты пропускали свет, в другом поглощали. Сейчас стена была темной и переливалась, как затянутая бархатом. В одном месте на уровне головы в ней имелось что-то вроде окошечка — не знаю, то ли плиты так случайно встали, то ли кто-то это сделал умышленно. Через оконце можно было заглянуть внутрь, что я и сделал. Я увидел часть лаборатории с математическими аппаратами, поднимающимися до самого потолка. В глубине комнаты я заметил слабое повторяющееся

движение: это ритмически колебались стрелки приборов. Лаборатория была залита светом. В первое мгновение мне показалось, что она пуста. Затем я вздрогнул от неожиданности: в поле зрения появился человек. В одной руке у него была какая-то черная палочка, другую руку он держал в кармане. Еще прежде, чем он обернулся, я узнал его — Гообар. Он ходил туда и обратно вдоль ошестинившихся контактами машин и, казалось, разговаривал с кем-то невидимым; его голос, как и все прочие звуки, поглощались стеклянной стеной и не доходили до меня.

Любопытствуя, к кому он так оживленно обращался, я плотнее припик к оконцу, забыв о том, что меня могут заметить. Гообар стоял, слегка расставив ноги, и, поднимая руку с палочкой, говорил очень быстро, отвернувшись от меня на три четверти; я видел слабо пульсирующую жилку на его виске. Экраны перед ним были заполнены бледно-зелеными линиями.

Я понял: он дискутирует с автоматами. Зрелище выглядело странно. Содержания его речи я не понял бы наверняка, даже если бы мог ее расслышать. И все-таки постепенно, по мере того, как сцена продолжалась, я начинал ориентироваться. Гообар, казалось, читал какую-то лекцию или объяснял что-то собранной вокруг него группе машин. Центральный электрический мозг, огромный металлический массив, выпуклый, как лоб гиганта, покрытый толстым панцирем с глазницами циферблатов, отвечал ему и голосом, и рядами расчетов и чертежей, которые появлялись на экранах и исчезали. Гообар то прислушивался к ответам, то читал их и медленно качал головой в знак несогласия. Иногда он отворачивался и принимался шагать с выражением разочарования на лице, но, сделав несколько шагов, поворачивался к машине, бросал отдельные слова, дотрагивался до какого-нибудь контакта, уходил в сторону, что-то вычислял при помощи небольшого электроанализатора, возвращался с карточкой и бросал свое послание внутрь машины. Машина начинала работать, экраны загорались и гасли, и временами это выглядело так, словно машина понимающе подмигивает ученому зелеными и желтыми глазами. Но тот, ознакомившись с ее сообщением, вновь отрицательно качал головой и отвечал односложно: «Нет!» — я уже научился различать это слово по короткому движению губ.

Зрелище затягивалось. Несколько раз Гообар движением руки с захватой в ней черной палочкой останавливал автомат, подводивший длинный итог, и заставлял повторять рас-

четы; вдруг, нахмурив брови, он отбросил палочку и скрылся из поля зрения. Несколько мгновений никого не было видно, только автомат все медленнее выбрасывал на темнеющие, как будто превращавшиеся в куски зеленого льда экраны свои чертежи — словно, покинутый своим вдохновителем, он еще раз переосмысливал отвергнутые аргументы.

Минуту спустя Гообар вернулся; с ним был механоавтомат, который направился прямо к электромозгу. Ученый отступил, прищурился и что-то сказал механоавтомату. И тогда я струхнул, потому что тот по знаку Гообара вооружился сверлом, проделал в бронированной лобной плите электромозга отверстие и манипулятором-ножницами вырезал его оболочку. Затем механический «хирург» остановился, а Гообар с величайшим интересом стал смотреть внутрь открытой машины; потом взял несколько мелких инструментов и начал менять соединения проводов, действуя с необычайной быстротой. Отступил, с минуту пристально всматривался в обнаженную полость, в которой извивались серебристые и белые витки проводов, и еще раз переместил некоторые из них; наконец по его знаку механоавтомат поднял лобную плиту и установил на место.

Гообар включил ток. Мозг ожил, на экранах появился вибрирующий свет, в пальцах ученого вновь возникла, как по волшебству, черная палочка. Гообар сел на край высокого табурета и долго смотрел на появляющиеся в глубине экранов кривые, наконец утвердительно кивнул и сказал что-то, вглядываясь в невидимую для меня часть комнаты.

Я подумал, что он, вероятно, создавал новую, не существующую до сих пор область математики, нужда в которой возникла вместе с новыми достижениями науки, и что я был свидетелем операции, которой он направлял рассуждения электромозга на новые рельсы.

Гообар сидел на табурете и вглядывался в электромозг, продолжавший работу; иногда свет экранов слабел, и тогда Гообар слегка шевелился, готовый повторить хирургическую операцию, но экраны мозга снова начинали мерцать, и совсем было остановившиеся приборы возобновляли колебания, определяя равномерный, однообразный ритм механической жизни.

Внезапно в поле зрения появилось новое лицо — Калларла. Она неспешно прошла по свободному пространству, остановилась рядом с Гообаром, заслонив его от меня, потом повернулась и направилась прямо ко мне. Я вздрогнул, хотел спрятаться, но ноги будто приросли к полу. Она так

близко подошла к стеклянной стене, что ее лицо почти целиком заслонило окошечко. Я был уверен, что она меня увидит. В этот момент Гообар что-то сказал ей. Калларла ответила лишь неувловимым движением губ и даже не оглянулась.

Она не видела меня. Она не замечала ни меня, ни вообще что-либо. Ее взгляд был устремлен в никуда, он не искал ни изображения, ни света, ни даже темноты. Сцена затягивалась. Рядом с этим женским лицом с гладким лбом, сомкнутыми губами и глазами, предназначенными бездонной пустоте, черная фигура Гообара вдруг показалась удивительно нелепой, а огромные окружающие его аппараты выглядели как некие доведенные до совершенства механические игрушки. Калларла повернулась к Гообару — тот продолжал разговаривать с машинами — и посмотрела на него; на моем лице выступил жаркий румянец стыда из-за того, что я подглядываю; я стал потихоньку пятиться и убежал, подобно преступнику.

Лифт — я нажимал на кнопки почти неосознанно — опустил меня в ярус, где помещался концертный зал. К действительности меня вернул льющийся отовсюду яркий свет. Я стоял на мраморных плитах под арками у входа в зал; последние слушатели спешили занять места. И тут я вспомнил, что должен был встретиться с Анной, — и сейчас же увидел ее. Я подбежал к ней, схватил за руки и начал шептать какие-то сбивчивые оправдания. В длинном платье, затканном старым матовым серебром, она казалась выше, чем обычно. Анна сжала губы в знак того, что очень сердится.

— Иди, иди, — сказала она, — посчитаемся после.

Едва мы успели войти, как верхний свет погас; в огромную раковину в конце зала хлынули сверху лучи прожекторов, на фоне сверкающих инструментов идвигающихся голов обрисовался крестообразный черный силуэт дирижера. Сухо застучала палочка.

Вначале звуки этой старинной музыки плыли, как будто не задевая меня. К музыке я был равнодушен, зато испытывал удовольствие, рассматривая сверкающие медью и лаком инструменты, на которых она исполнялась. Изогнутые улиткоподобные трубы, барабаны, обтянутые кожей, металлические тарелки — все это казалось забавным. Задумываясь о давно минувших временах, я поражаюсь контрасту между творческим вдохновением людей тех эпох, людей, подобно нам любивших музыку, и тем, как они добывали ее из натянутых звериных жил и деревянных коробов...

В голове у меня клубились обрывки образов, голосов, неоконченных фраз, мыслей, и все это подтачивалось извне — музыкой, то нарастающей, то затихающей. И вдруг эта музыка, не знаю когда и как, ворвалась в меня; в застывшие воспоминания проникли мощные, всесокрушающие звуки. Так на дом обрушивается наводнение, сметая на своем пути и хлам и бесценные вещи; там, где еще мгновение назад текла тихая, буднично размеренная жизнь, теперь крутятся огромные омуты. Получилось так, что музыка завладела мной; я возмутился, не желая поддаваться ей, попробовал отстраниться от мелодии, но напрасно. Мои мысли, память, все, чем я был, уносил куда-то бурный поток. Вот пала последняя преграда, и я, обезоруженный, беззащитный, сам ощутил себя руслом страшного потока; врезаясь все глубже и глубже, он бушевал, обрушивал берега, возвращался вспять и наносил удары с удвоенной силой. Я услышал, как зазвучал, непрестанно повторяясь, призыв, — это ко мне зывал неземной сверхчеловеческий голос. И вдруг все заколебалось, словно огромная сила, испугавшись собственной смелости, на мгновение замерла, — настала тишина, столь внезапная, что сердце перестало биться; но тут же мелодия зазвучала вновь.

Мне захотелось встать и выйти — это было невыносимо. Потихоньку, пригибаясь, я кое-как преодолел расстояние до двери и, дыша неровно, как после изнурительного бега, добрался до мраморных колонн. Пошел вниз по лестнице, потому что и здесь музыка настигала меня, хотя и звучала несколько глуше. И только теперь заметил, что я не один.

Ступенькой выше стояла Анна. Я молча взял ее за руку. Мы пошли по пустынному коридору. Все успокаивалось, умиротворялось, симфонические раскаты, все отдаляясь, сопровождали нас. Мы вошли в тихонько шелестящий лифт. Несколько десятков шагов, и перед нами открылась смотровая палуба.

Не знаю, сам ли я сюда шел или меня привела Анна? Мы стояли, не двигаясь, а у наших ног разверзалась бездна — бескрайняя и бездонная, вечная и неизменная, а в ней застывший свет — жестокие, жестокие звезды.

Я сжал руку Анны. Я ощущал ее тепло, но чувствовал себя одиноким.

— Девочка... — прошептал я, — ты не знаешь... он... он все о нас знал, слышишь? Он все знал, этот допотопный музыкант, этот Бетховен, глухой немец восемнадцатого

века... Он все предвидел. — Анна молчала. Я ощутил спокойное прикосновение ее пальцев. — Его голос жив и сегодня... Там, в зале, мне казалось, все смотрят на меня, потому что он рассказал то, в чем я не осмелился бы признаться даже самому себе... Он знал даже это... — Я поднял руку к звездам.

В бесконечно древних безднах висели замсрзшие сполохи света; с бесконечным равнодушием сияли холодные, молчаливые искры. Я не мог закрыть глаза, но не мог и смотреть. Взял Анну за плечи. Она оказалась между мною и пропастью, словно заслоняла меня и защищала. Я прижал ее к себе, ощутил ее дыхание на моем лице. Наши губы встретились.

Стояла тишина, и грохотала в жилах кровь, наши сердца замирали. Она прижалась ко мне крепко, доверчиво.

— Анна, — прошептал я, — послушай, я...

Она закрыла мне рот ладонью; как мне забыть этот жест, полный женской мудрости!

— Не говори ничего, — тихо прошептала она.

Мы не видели друг друга. Всюду царил мрак, бездна окружала нас со всех сторон и следила за нами, ловя каждый взгляд. Казалось, опора уходит у меня из-под ног. И только хрупкое тело Анны было моим убежищем. Я уткнулся горячим лбом в ее прохладное плечо, и так мы стояли — не знаю, сколько времени. Вдруг будто птица села мне на волосы — птица, здесь? На корабле не могло быть птиц. Они как слепые бились бы о стены обманчивого миража Земли...

Это Анна гладила меня по голове. Я прижался губами к ее шее и почувствовал удары ее сердца; оно билось равномерно, и мне казалось, будто со мной говорит кто-то очень близкий, хорошо знакомый. Мы пошли вперед, прижавшись друг к другу, молча, будто все между нами было сказано. Проползла утопающая в голубоватом мареве ночных лампочек лестница, потом — еще одна, потом длинное боковое ответвление коридора, огромное фойе... Мы подошли к моей комнате. Рука Анны слегка напряглась в моей руке, но она сама нажала ручку двери и первая перешагнула порог. Я повернулся назад, нащупывая дверные створки, чтобы закрыть их за собой, и вдруг вздрогнул, будто меня ударили. Анна прижалась ко мне. Раздался протяжный, глухой свист: «Гей» увеличивала скорость.

Каждая звезда существует благодаря состязанию двух противоположных сил: тяжести, привлекающей ее массу к центру, и излучению, которое стремится разогнать эту массу, оказывая на нее давление. Звезда извергает потоки материи, преобразованной в энергию, и так существует миллиарды лет. Когда атомное топливо исчерпывается, иссякает излучаемая энергия — этот неустанный, бьющий одновременно во все стороны поток молний. Внутренность звезды начинает остывать тем быстрее, чем активнее утечка энергии с ее поверхности. Давление, стремящееся расширить газовый шар, слабеет и уже не может противостоять сжимающей силе тяжести. Звезда начинает сокращаться в объеме; непрерывное вращение срывает внешние покровы атмосферы и отбрасывает их в виде раскаленных шарообразных оболочек, раздувающихся со скоростью в тысячи километров в секунду; тогда утечка энергии звезды через обнажившиеся раскаленные слои поверхности усиливается еще больше. Может случиться, что звезда вдруг начнет сокращаться необычайно быстро. Страшное давление при огромной температуре вгоняет свободные электроны в атомные ядра; происходит нейтрализация электрических зарядов, и вся звезда превращается в сборище нейтральных частиц — нейтронов, а те, не отталкиваясь друг от друга, могут сблизиться значительно сильнее, чем ядра обычных атомов. Тогда происходит то, что астрофизики определяют словами «звезда обрушилась внутрь самой себя».

Шарообразное скопление раскаленной материи, в котором иной раз могла бы поместиться целая Солнечная система, превращается в шарик диаметром в километр; масса нейтронов создает в нем чудовищно плотный вид космической материи. Сжатая таким образом Земля превратилась бы в шарик диаметром в сто метров. Высвобожденная энергия извергается в пространство с огромной силой; десять—пятнадцать дней звезда светит сильнее, чем сотни миллионов солнц вместе взятых, затем пламя этого космического извержения гаснет, и звезда или, вернее, оставшаяся после нее раскаленная добела масса уплотненной материи погружается навеки во мрак.

Астрофизики «Геи» предсказали, что такое именно явление, происходящее раз в несколько сот лет в каждой внегалактической туманности, мы увидим достаточно скоро. Ожидание вспышки сверхновой звезды стало сенсацией дня.

Вереницы любопытных потянулись в обсерваторию задолго до предполагаемого срока. Все факторы, определяющие момент вспышки, учесть было невозможно, поэтому назвать его можно было только приблизительно. Предполагалось, что вспышка произойдет через полторы недели.

Сверхновая звезда должна была засверкать почти прямо на продолжении продольной оси корабля; восьмиметровый экран главного телетактора был направлен в сторону Южного полюса Галактики. Лежащий в этом районе мыс Млечного Пути рассыпался на неисчислимые тучи звезд; впрочем, все они казались маленькими облачками: даже увеличение во много миллионов раз не было в состоянии преодолеть разделяющую нас пропасть. Между шарообразными громадами омеги Центавра и Южного Креста виднелись внегалактические туманности, похожие на бледные диски с более темным пылевым ореолом; каждая туманность была совокупностью многих сотен миллионов звезд.

Центром внимания астрофизиков было Малое Магелланово Облако и особенно та его часть, где, как ожидали, вспыхнет сверхновая звезда. Несмотря на непрерывный поток посетителей, астрофизики продолжали свое дело. Небольшой математический автомат все время был в работе, выполняя сложные вычисления; из рук в руки переходили увеличенные фотографии и ленты спектрограмм, испещренные цифрами; эта размеренная деятельность как-то удивительно успокаивающе влияла на посетителей; мы чувствовали себя экскурсантами, которые под надежным руководством вооруженных укротителей посетили местность, кишашую хищниками. Для астрофизиков не было ничего тревожного ни в бесконечных пространствах вечной ночи, ни в наполняющих бездну облаках черного и белого огня; их деловой, классификаторский подход к бесконечности незаметно передавался и нам.

Меня несколько удивляло, что руководители экспедиции придавали ожидаемому событию большое значение. Я как-то сказал Ирьюле, что толпы любопытных могут помешать астрономам работать, но инженер только усмехнулся и небрежно заметил, что это окупится.

Когда срок вспышки приблизился вплотную, зал обсерватории уже с трудом вмещал всех посетителей. Однако ни в этот день, ни на следующий, ни на третий ничего не произошло, и, разочарованные, мы разбредались далеко за полночь по коридорам, шуря глаза, привыкшие к черным обзорным экранам.

На четвертый день любопытных пришло уже меньше, на пятый — всего четверть от обычного, а на шестой день утром сверхновая звезда вспыхнула наконец ослепительно белой точкой в районе Малого Облака. Быть может, потому, что мы слишком долго ждали этой вспышки либо представляли себе более грандиозное зрелище, но факт остается фактом — мы встретили вспышку довольно равнодушно. Продолжительного восторга было немного. Волна энтузиазма, подогреваемая искусственно, быстро пошла на убыль и угасла куда раньше, чем начала угасать и сливаться с однообразно светящимся облаком искорка сверхновой звезды.

Координатором группы астрофизиков был профессор Трегуб, знаменитый исследователь внегалактических туманностей, ловец звездных облаков, движущихся на границах досягаемости самых мощных телескопов. Достаточно было увидеть его один раз, чтобы запомнить навсегда. Его голова с мощным, вытянутым вперед и изогнутым, как тупой клюв, носом и нахмуренными над переносицей бровями, сросшимися в живую, довольно подвижную нитку, походила на голову нахохлившейся птицы. Он говорил короткими фразами, никогда не повышая голоса, однако его слова — какой бы галдеж ни стоял вокруг — всегда слышал тот, к кому профессор обращался. Он принимал посетителей обсерватории с любезной предупредительностью, но ни на минуту не прерывал работы. Иногда могло показаться, что он хочет ошеломить собеседника необычными высказываниями. Однажды, когда я вспомнил про Землю, он сказал:

— А мы и там находимся среди звезд: от межзвездного пространства нас отделяет лишь немного воздуха да плотный слой земли под ногами. Достаточно только голову вверх поднять.

Он был автором проекта, наделавшего немало шума, но не принятого всерьез никем, кроме него самого. По его мнению, в межзвездное путешествие следовало бы отправить не ракету, а всю Землю — мощными атомными взрывами выбить ее с орбиты и, медленно «раскручивая» по спирали, все больше удаляющейся от Солнца, направить наконец к избранной звезде; в этом космическом путешествии тепло и свет жителям Земли могли бы давать искусственные атомные солнца.

— Можно уже сегодня в общих чертах подсчитать, — говорил он, — что через каких-нибудь десять или двенадцать миллиардов лет угаснет наше Солнце и нам придется искать себе другое; проще предупредить это событие и сделать сей-

час по собственной воле то, что все равно придется делать в будущем!

Мне, признаюсь, больше всего понравилось словечко «нам», словно он всерьез намеревался прожить двенадцать миллиардов лет. Впрочем, он не делал ничего, чтобы понравиться кому-нибудь; это его совершенно не интересовало. Из-за своих оригинальных взглядов он нередко оставался в одиночестве; тогда он говорил о «бунте» коллег и сотрудников. Следует добавить, что он любил посмеяться, и в полумраке обсерватории часто слышался его басовитый смех, — например, когда, рассматривая на свет какой-нибудь снимок, он находил подтверждение своих гипотез. Я любил смотреть на этого человека, полного кипучей энергии.

В группе Трегуба работали супруги Борели. Планетолог Павел Борель на Земле был заядлым альпинистом; худой, слегка сутулившийся человек, уже седеющий, с кожей, потемневшей от солнца и ветра. Из уголков его глаз, привыкших постоянно щуриться на сверкающих ледниках, разбегалось множество мелких морщинок. Его жена Мария ничем особенным не отличалась. Когда она была среди других людей, посторонний взгляд на ней не задерживался. И я не сразу разглядел неброскую, трудно распознаваемую красоту ее лица, открывавшуюся лишь изредка, подобно непорочной наготы, которая является взору из-за внезапно распахнувшейся занавески. Супруги обычно работали отдельно; он — на телетакторах или спектро스코пах, она — на счетной аппаратуре. Во время дискуссий, в которых все понимали друг друга с полуслова, прерываемых долгим молчанием, или размеренной, сосредоточенной работы можно было перехватить взгляд, брошенный Борелем на жену. Не то чтобы он был особенно выразительным или пристальным. Ничего подобного; просто на мгновение засветятся глаза, удостоверятся: «Ты здесь», — и он снова погружается в работу.

Анна избегала меня. Ее поступки, выражение лица часто были мне непонятны. Она пропадала где-то целыми днями, а когда я, словно бы мимоходом, спрашивал, где она была, ссылаясь на сильную занятость у Чакаджан. Когда я звал ее прогуляться или послушать концерт, отказывалась под предлогом неотложных дел, а потом вдруг сама приходила ко мне — такая же, как прежде, умиротворенная, доверчивая и спокойная. Временами Анну охватывала грусть, но она тут же разгоняла ее улыбкой. Наши отношения становились все более запутанными.

Я то пытался держаться так же невозмутимо, как она, —

получалось лишь искусственное безразличие, то стремился быть искренним, но в любом случае чувствовал себя неуютно. Иногда я пускался в «высокие» рассуждения, иногда строил планы нашей будущей совместной жизни; она слушала меня внимательно, но к ее улыбке примешивалась искорка иронии, словно она не относилась серьезно ни к тому, что я говорил, ни ко мне самому. Тогда разговор обрывался или застревал на чем-нибудь, и мне стоило усилий его поддерживать; это меня сердило, я чувствовал себя, как на сыпучем песке. Каждый раз приходилось словно заново искать ту Анну, какой она была в ночь после Девятой симфонии Бетховена, продираться к ней, преодолевая невидимое сопротивление, которое, казалось, было не в ней и не во мне, а между нами.

Как-то я спросил ее:

— Хорошо тебе со мной?

— Нет, — ответила Анна, — но без тебя мне плохо.

Я привязывался к ней. Любил смотреть, как по утрам она готовит завтрак: в просторном светлом утреннем халате, с рассыпавшимися волосами, наклонившись над стеклянной вазочкой, она, словно древний алхимик, сосредоточенно перемешивала нарезанные овощи. Я называл ее про себя «звездной Анной», она была иной, чем «земная Анна», и поэтому я не произносил это имя вслух.

Она была красива. На Земле встречаются пейзажи — все равно, величественные или скромные, — которые природа создала, как бы «задумавшись о себе», наполнив их собственной красотой. Было нечто такое и в Анне, в ее волосах, ниспадавших крупными темными волнами, в бровях, изогнутых и летящих, в сомкнутых губах, глазах, словно ожидающих какого-то озарения, которое наступает очень медленно, но неотвратно.

Помню, однажды я с волнением смотрел, как она спала, видел легкие вздрагивания ресниц, колебания груди, движимой теплым дыханием. Вдруг она проснулась под моим взглядом и, как бы устремляясь ко мне навстречу из сна, на мгновение взглянула на меня своими большими глазами и внезапно вся вспыхнула. Я тут же приступил к инквизиторским расспросам, допытываясь, что заставило ее покраснеть. Она долго не хотела отвечать, наконец неохотно, сурово проговорила:

— Ты мне снился, — и не захотела сказать ничего больше.

Вот так, много раз обрываясь и начинаясь снова, суще-

ствовал наш странный союз, совместивший прекрасные ночные часы с их нежностью, приправленной чем-то горьким, и постоянную борьбу, которую каждый из нас вел сам с собой.

А на «Гее» тем временем жизнь шла своим чередом. Лаборатории работали, по вечерам мы собирались у радиоприемников слушать направленные передачи с Земли, смотрели видеопластические спектакли; в спортивных залах тренировались команды, готовясь к очередным соревнованиям, своды концертного зала наполнялись звуками музыки, — словом, если смотреть со стороны, все выглядело по-прежнему. Однако уже появились предвестники чего-то, что подступало, незаметно проникало сквозь герметический панцирь внутрь корабля, отравляя наши мысли и сердца.

Это началось, пожалуй, со снов; во всяком случае, такое впечатление сложилось у меня. Мои собственные сны стали теперь очень яркими и богатыми, но это было богатство непрощенное и нежеланное, даже невыносимое. Я видел сны, назойливо повторяющиеся несколько ночей подряд; иногда они были продолжением предыдущих. Особенно врезался мне в память один — о городе, населенном слепцами. Я тоже был слеп и жил во мраке, окруженный какими-то перепутанными ветвями. В этом сне у меня была долгая и сложная биография, совершенно непохожая на настоящую: я предпринимал путешествия в далекие миры, встречался с неизвестными людьми, и все это без малейшей искры света, в вечном мраке, сжимавшем мою голову и грудь. Этот сон или, скорее, целое созвездие снов, растянувшееся на недели, так измучило меня, что впервые в жизни я стал прибегать к снотворному, выключавшему деятельность мозговой коры; тогда я спал каменным сном, без сновидений. Однако, когда я прекращал прием лекарства, кошмары возвращались.

С жалобами на ночные кошмары приходили в амбулаторию и пациенты. Обычно они смущались — им казалось, что их жалобы смешны, они делали вид, будто это пустяк, не причиняющий серьезного беспокойства, но, наученный собственным опытом, я тщательно выслушивал их и прописывал средства, которые применял сам. Мои пациенты часто отказывались прибегать к этим средствам. В наше время никто не любит лекарств, и медицина больше занимается предупреждением болезней, чем их лечением. Но главное было в том, что пациенты не хотели спать каменным сном; они признавались мне с глазу на глаз, что хотят видеть сны, но сны... о Земле. «Увы, — отвечал я, — мы еще не умеем вы-

зывать сны по своему желанию». Я вынужден был отпускать больных ни с чем, ограничиваясь лишь кое-какими советами: заниматься физическими упражнениями, больше бывать на «свежем» воздухе.

Упоминание о парке «Геи» многих просто пугало. Творение художников-видеопластиков, которым они гордились, вызывало теперь у людей лишь чувство отвращения. Одно время обсуждали, не изменить ли наш сад. Был выдвинут проект его перестройки: хотели придать новые очертания ему самому и окружающему его миру. Но когда провели опрос, оказалось, что никто всерьез не хочет этого. Высказывались замечания: «искусственность и неправдоподобие дождя бросаются в глаза», «отсутствие птиц уничтожает всякую иллюзию», а чаще всего — что «небо и тучи явно фальшивые и совсем не похожи на то, что мы видели на Земле». Видеопластики были оскорблены этими упреками. Они уверяли, что мираж абсолютно точен, что ими были приняты во внимание все факторы, воздействующие на человека, а аппаратура сейчас работает так же, как и в начале путешествия. А ведь тогда все восторгались исключительным правдоподобием иллюзии.

К концу первого года путешествия у меня появились новые пациенты. Они жаловались на нарушение жизненного ритма, бессонницу, потерю работоспособности. Одни ощущали сонливость рано вечером и просыпались задолго до рассвета, другие, напротив, предпочитали работать до поздней ночи и спать до полудня; вызванный этим беспорядок в работе усиливался и грозил разрушить целые коллективы.

В послеполуденные часы все больше людей бесцельно бродили по коридорам; каждый в одиночку слонялся по этажам, сознательно обходя смотровые палубы. И когда я за пару дней до Нового года отправился прогуляться по смотровой палубе в те самые часы, когда здесь бывало больше всего посетителей, я встретил только Амету и двух пилотов, беседовавших о каком-то созвездии.

Все это по времени совпало с периодом самых сложных отношений с Анной, и поэтому я не уделял событиям того внимания, которого они заслуживали.

За три дня до очередного совещания астрогаторов, созываемого регулярно, Тер-Аконян попросил меня сделать сообщение о состоянии психического здоровья членов экипажа «Геи». Я поработал несколько часов и подготовил пространственный доклад. На собрание я немного опоздал, потому что приятель Нильса, любитель сахарной «ваты», взбираясь на

опорный столб ракетодома, упал и вывихнул ногу и мне пришлось вправлять ее. Когда я пришел, как раз выступала Лена Беренс. Я сел позади, на одном из последних свободных стульев в углу просторной комнаты.

Находившийся на «Гее» филиал Института фелицитологии, оказывается, учитывал, какие помещения корабля посещаются чаще. Выяснилось, что в первые месяцы полета большая часть людей охотно бывала на смотровых палубах; однако чем дальше, тем больше людей сторонилось их, и местом отдыха стал по преимуществу парк. Теперь же и палубы и парк пустовали.

— Где же все проводят свободное время? — спросил Тер-Аконян. Наклонившись над своими заметками, он не смотрел ни на кого.

— Наши наблюдения распространяются только на общественные помещения, — ответила Лена. — Однако нетрудно догадаться, что большинство проводит время у себя дома.

— Люди собираются большими компаниями, развлекаются? — спросил Тер-Аконян, все еще не поднимая головы. Я не очень понимал, куда он клонит.

— Не знаю, — сказала Лена, — но, судя по себе и по моим близким, могу сказать: нет.

— В чем же причина этого? — спросил Тер-Аконян. Он выпрямился, и я увидел его лицо.

— Думаю, что... в одиночестве, — отозвался кто-то сзади. Все головы повернулись на голос; это сказал Трегуб.

— Доктор, — обратился ко мне Тер-Аконян, — представляю тебе слово.

Я встал и в ту самую секунду понял, что мой доклад бесполезен.

— Коллеги, — сказал я, — вот у меня здесь подготовлена сводка жалоб моих пациентов за последние месяцы, но я понял сейчас, что их классификация и подсчет не имеют смысла. Все они вытекают из одной общей причины; ее сейчас назвал профессор Трегуб. Она не была понятна до сих пор ни пациентам, ни мне, их врачу. Так, по-моему, было из-за того, что мы с детских лет учились рационально, логически преодолевать жизненные конфликты. Для нас естественно умолчание о неразрешимых вопросах, так как перекладывать собственное бремя на другого можно лишь в том случае, если у тебя есть надежда получить помощь. Однако все мы одинаково бессильны перед пустотой, и поэтому все об этом молчим. Это молчание, как стена, встает между нами. Нужно с ним бороться.

Когда я сел, слово попросил Ирьюла.

— Коллеги здесь говорят, что одиночество и молчание есть первые признаки воздействия пустоты на человека. Не знаю, верно ли это. Не знаю и хотел бы обсудить это с вами. Что лежало в основе нашей жизни на Земле? Что связывало нас крепче всего с другими людьми? Некогда, в древности, людей объединяли общие традиции, обычаи, родовые и национальные связи, память о прошлом. А нас сильнее всего связывает деятельность по завоеванию будущего. Мы смотрим далеко за пределы личной жизни одиночки. В этом наша сила. Мы не ждем того, что грянет, а сами творим его. Мы предъявляем к себе требования соответственно тому, как растут наши мечты. Мне кажется, что некоторые эту основу начинают терять. Невольно они уже ожидают конца путешествия, но от его окончания нас отделяет много лет, и поэтому такое явление опасно: нельзя проводить в ожидании значительную часть жизни!

— А наша работа? — помолчав, спросил Тер-Аконян и оглядел присутствующих.

Ответил старший Руделик:

— Радиосигналы с Земли все больше запаздывают, это серьезно затрудняет исследовательскую работу, но, пожалуй, не это главное. Люди работают даже больше, чем прежде, хотя и не с лучшим результатом; работа становится своего рода убежищем, потому что она поглощает время, отвлекает внимание от нашего положения, от мыслей об остающихся годах путешествия. В ракурсе этих долгих лет повседневные занятия, на которые мы прежде не обращали внимания — необходимость вставать с постели, одеваться, есть, — отдают каким-то убийственным однообразием. Все, за что бы человек ни брался, кажется ему несущественным. Вот почему пустеют концертные залы, парки, палубы... То, что было для нас на Земле самым ценным — время, — становится здесь нашим врагом.

— Простите... Что здесь, собственно, происходит... наверное, все-таки это не диспут? — вдруг заговорил Трегуб. Он поднялся, словно собираясь уйти, но остался у своего стула, положив руки на его спинку. — Вы ищете название того, что творится сейчас на «Гее»? Зачем? Мы знали, что это наступит; не знали лишь когда. Отказавшись от комфортной среды, искусственно созданной на Земле, мы отправились в пространство. Бесконечная пустота? Да. Так что, теперь нам надо жаловаться? На что? На законы природы?! Но перечисление наших теперешних и будущих горестей

ничего не изменит. Говоря об одиночестве, я имел в виду нечто совсем иное, чем вы. Каждый из нас, пока он среди товарищей, в работе, в спорте, таков, каким был; другим он чувствует себя только тогда, когда остается один. Вот он и хочет остаться один, чтобы проверить себя. Что может быть проще? Это единственное одиночество, достойное человека. А что может сделать нам пустота?

— Победить нас, — отозвался я вполголоса.

Он услышал меня и ответил:

— О нет. Материальные силы Вселенной могут уничтожить нас, например, в столкновении. Но чтобы победить нас, Вселенной недостаточно. Для этого потребовался бы... человек.

Он помолчал несколько секунд.

— Наши рассуждения ни к чему не ведут. Вы это знаете так же хорошо, как и я. Решения приняты давно. Мы сами их приняли; все идет так, как должно идти. Так есть и так будет, какие бы изменения ни происходили в нас самих. Пусть они наступают, пусть выявляются. Слабы мы или сильны, довольны или полны страдания, все это не важно по сравнению с единственной непоколебимой уверенностью: полет продолжается!

БАЛ

В первую годовщину нашего путешествия на «Гее» состоялась общая встреча; потом ее в шутку называли балом.

Дата вылета с Земли была лишь предлогом; руководители экспедиции прежде всего хотели восстановить и расширить человеческие связи в замкнутом круге обитателей «Геи». На вечер должны были явиться все, а значит, и знаменитые ученые, больше других занятые и потому редко появлявшиеся в обществе. На этот раз им предстояло подарить людям не свой труд, а самих себя. Празднество должно было всколыхнуть застоявшуюся общественную жизнь, все более замыкавшуюся в стенах лабораторий. Много было сделано, чтобы до неузнаваемости изменить привычный облик корабля. Группа видеопластиков уже за неделю до праздника заперлась в барочном зале — вход остальным был строжайше запрещен. Встречаясь с нами в столовой, видеопластики намекали на великолепное зрелище, которое нас ожидает, но о деталях таинственно умалчивали.

Утром знаменательного дня я получил приглашение, по-

старинному отпечатанное на карточке из полупрозрачной, пронизанной прожилками мраморной бумаги. Под моим именем стояли два слова: «Одежда субтропическая». Это создавало настроение вроде того, что бывало в юности, когда я лихорадочно готовился к весенним праздникам.

Ровно в шесть часов вечера я облачился в белоснежный костюм и поехал на палубу третьего яруса. У входа в барочный зал стояли видеопластики в обществе третьего астрогатора — кудрявого Сонгтрама.

Мы церемонно отвесили друг другу поклоны; торжественные жесты, изысканные одежды — это было забавно. В толпе то и дело мелькали лукавые улыбки видеопластиков. Младшая из них, Майя Молетич, сестра историка, взяла меня под руку, приказала закрыть глаза и повела в зал. Я почувствовал дыхание влажного теплого ветерка, в лицо мне повеяло сладковатым, терпким ароматом экзотических цветов.

— Пора! — воскликнула Майя.

Я открыл глаза и остановился в изумлении.

Мы стояли в зале, таком огромном, будто он занимал половину корабля. Его стены вздымались отвесно, а на высоте нескольких ярусов сходились пологими сводами. Я заметил тянувшиеся понизу длинные темные галереи, но не они прежде всего привлекали внимание, а раскрытые настежь двери, ведущие на широкую террасу, окруженную каменной балюстрадой. Через них виднелось необъятное, сияющее море. Я направился на террасу. Подо мной простирался залитый солнцем песчаный пляж, покрытый извилистыми бороздками — следами волн, которые с непрерывным глухим рокотом катились от самого горизонта и разбивались о прибрежные отмели, заливая берег зеленоватой водой. Вдали — казалось, километрах в двух отсюда — цвет воды менялся; там, на подводных рифах, кипел прибой. Над глубинами морская гладь темнела и вдалеке неподвижной синей полосой соприкасалась с знойным небом. Посредине картины, у самого горизонта, курился окутанный голубоватой мглой вулкан. Из его конуса тянулся в сторону желтоватый дымок, лениво расплывавшийся в воздухе. Я перегнулся через балюстраду и увидел крутой потрескавшийся склон скального массива, на вершине которого разместилась терраса. С моря тянуло слабым, едва ощутимым ветерком; я облизнул губы — на них был солоноватый привкус. Позади кто-то восторженно выругался. Я обернулся — это был пилот Ериога. У него горели глаза.

— Вот что значит старые умельцы! — Мне показалось, что иллюзия ему понравилась, но он сказал: — Эх, если бы сейчас поплавать... А?

Он оперся о балюстраду, как бы раздумывая, не спрыгнуть ли вниз, потом ударил по ней кулаком и вернулся в зал. Я пошел за ним.

Людей пока было немного, да и те терялись в огромном зале. То, что я в первые минуты, ослепленный блеском моря, принял за галереи, оказалось ложами; между ними были овальные ниши, и в них стояли сверкающие автоматы. Пространство в центре оставалось свободным, в самой середине его высилась широколистая пальма со стволом, покрытым одеревенелыми, загнутыми языками коры. Вокруг нее стояли ряды низких столиков. За ложами вздымались колонны, поддерживавшие свод; над входом он немного опускался и висел, словно жемчужно поблескивавший внезапно остановленный водопад. В этом месте поверх колонн светился громадный витраж.

Из плоского фона выступали две фигуры — мужчина и женщина. Нагие, загорелые, они шли босиком по густой траве; их взгляды вырывались из плоскости витража и поверх наших голов уходили в безграничные морские дали, где, казалось, сияла видимая только им цель. По обе стороны от входа вдоль стен светились объемные панорамы, разделенные алебастровыми колоннами. Они были похожи на окна, открывающие вид на таинственное пространство. В одних роились жуки с золотыми надкрыльями, в других — насекомые-хищники, разукрашенные черными и желтыми полосами. Тут тянулись процессии муравьев с мощными челюстями, там отдыхали ночные бабочки, толстые, словно окутанные серебристым мехом. Все это переливалось, мерцало, сверкало, потому что было сделано из драгоценных камней. Взор, переходящий от картины к картине, ослепляло то фиолетовое сияние цирконов, то зеленое пламя изумрудов; многоцветьем радуги искрились бриллианты, горели кроваво-красные шпинели и рубины, фосфорически поблескивали амфиболы и дистены. Глаза резал поток ярких вспышек. Повернувшись к террасе, я с облегчением стал смотреть в спокойную синеву неба.

Неисправимая Нонна! Я готов был поспорить, что это — ее творение! Злое замечание уже готово было сорваться с моего языка, но когда я увидел ожидание на лице Нонны, то улыбнулся и сказал несколько одобрительных слов. Что ж, видимо, она не могла воздержаться от излишеств. Эту

мысль я подкрепил таким размышлением: наверное, я старею или, во всяком случае, вступаю в полосу зрелой степенности, коли принуждаю себя смиряться со вкусами, диаметрально противоположными моим собственным.

Собиралось все больше гостей. В одиночку, парами, целыми компаниями со всех концов корабля сходились астрономы и тектонофизики, гравиметристы и инженеры, художники и математики, металлурги и кибернетики, пилоты и биофизики. Большой занавес у входа трепетал без устали, как крыло птицы; на его фоне появлялись белые фигуры — все были одеты в праздничные светлые тона. Мелькали костюмы белоснежные и серебристые, голубоватого и зеленоватого оттенков; длинные платья женщин поражали разнообразием узоров. Вдруг я увидел Зорина и не мог удержаться от улыбки: обычно он щеголял в серебристо-голубом комбинезоне, а сегодня явился в травянисто-зеленом костюме, над которым его светлая голова возвышалась, как горящий факел. Все с искренним восхищением рассматривали чудеса, созданные видеопластиками, и, как мне казалось, не очень хорошо представляли себе, что делать дальше. Молодежь вынесла стеклянные столики на террасу, которая вмиг стала самым людным местом и наполнилась голосами, заглушаемыми лишь шумом океана.

Я прислонился к стене, не зная, чем заняться. Огляделся и увидел готовый к услугам автомат. Он тоже выглядел сегодня празднично. Невзрачную будничную оболочку сменил серебряный то ли панцирь, то ли колпак с изображениями мифологических сцен. Я как раз их рассматривал, когда меня вырвал из созерцательного состояния звонкий девичий голос:

— У вас что, доктор, роман с автоматом?

Раздался взрыв смеха. Я обернулся. За моей спиной стояла группа молодых людей, среди них — Нонна, Майя, младший Руделик, астрогатор Сонгграм и два историка — Молетич и другой, имени которого я никак не мог запомнить, хотя оно было не особо трудным.

— Роман с автоматом? Ведь была такая книга, очень древняя, двадцать третий или двадцать четвертый века, правда? — спросила Майя.

Она обмахивалась длинным узким футляром, в котором держала записную книжечку.

— Тебе жарко? Постой, я сейчас... — начал было ее спутник.

— Нет, нет. — Она схватила его за руку. — Я как раз

и хочу измучиться от жары, пусть все будет, как в старые и даже в доисторические времена. Взгляни, даже автоматы сегодня выглядят так, будто вышли прямо из средневекового замка.

— В средние века не было автоматов, — сказал Молетич. Майя, продолжая обмахиваться, посмотрела на меня.

— Доктор, — сказала она, — мы хотим поспорить о любви: на какую профессию она больше всего похожа? Идея принадлежит мне. Что ты скажешь, доктор?

— Но мы хотели соблюдать очередность... — заметил молодой человек, ее спутник.

— Ну, пусть будет в алфавитном порядке... Скажи сначала ты, — обратилась она к Сонгтраму.

— Но мое имя начинается на «с».

— Верно, но зато профессия — на «а», ты же астрогатор.

— Прекрасно! — ответил Сонгтрам и, обведя нас взглядом, начал: — Любовь похожа на астрогацию тем, что приносит бессонные ночи. И астрогатору, и влюбленному надо быть бдительным. Тот, кто любит, не умеет объяснить, почему он любит. Я тоже не знаю, почему стал астрогатором. Любовь преодолевает расстояние между людьми, а звездоплавание — между звездами; и любовь и моя профессия забирают всего человека без остатка; в любви и звездоплавании каждое новое открытие приносит как радость, так и тревогу...

— Ну вот, пожалуйста! — воскликнул, прерывая его, молодой человек. — Тебе-то хорошо: ты говоришь первым и исчерпал все. Я хотел то же самое сказать о математике.

— А я — о физике... — негромко отозвался Руделик.

Стоя перед дверью, ведущей на террасу, он смотрел вверх голов в небо.

— Ну, а ты, доктор, что скажешь? — спросила Майя, пытаясь спасти свою тему.

— Не знаю... — заговорил было я, но в это мгновение увидел Анну; она стояла между Зориным и Нильсом.

— Ну же, — настаивала Майя. Вдруг она посмотрела на стоявших неподвижно товарищей и смутилась. — Подожди... — сказала она мне и, подойдя к ним, спросила: — Послушайте, сначала это мне нравилось — ведь я сама придумала, а теперь — что-то не очень... Может, не надо?..

— Что ты имеешь в виду? — спросила Нонна.

— Может, неумно так развлекаться?

— Я тоже так думаю. — Нонна утвердительно кивнула.

— Умно или нет — не знаю, но, по-моему, немного рискованно, — заметил Сонгтрам.

Майя покраснела.

— Обманщики! — Она топнула ногой. — А притворялись, что вам очень нравится!

Она энергично двинулась вперед. Все направились за ней. Я снова остался в одиночестве. И продолжал смотреть на Анну. Нильс что-то оживленно говорил ей, а она слушала, как умела слушать только она одна: глазами, улыбкой, всем лицом. Я направился было к ним, но остановился, сам не зная почему, и пошел на террасу. Бескрайняя поверхность воды однообразно, размеренно двигалась; океан, казалось, дышал. С балюстрады, о которую я оперся, свешивалась тонкая лиана. В ее полураскрывшихся листьях, как в полусогнутой ладони, притаилась капля воды. Я увидел в ней свое лицо. Вдруг миниатюрное изображение покрылось тенью. Я поднял голову — рядом со мной стояла Калларла.

— Что ты там видишь, доктор?

— Год назад я был у тебя; за окнами шел дождь. Но ты, наверное, этого не помнишь.

— Помню. Смотри, какая голубизна в этой капле! Такие же сбегали тогда по карнизу. Почему ты подумал об этом?

— Не знаю. В этой капле могут плавать тысячи амёб, правда?

— Могут.

— Эта голубизна, отраженная в капле воды, для них — граница, за которую они не могут проникнуть. Граница мира. Небо.

В темных глазах Калларлы появилась искорка интереса.

— Говори дальше, — сказала она.

— Тысячи поколений людей не знали того, что можно пробить небо, голубое небо, и выйти за его пределы — как амеба, когда она выплывает за пределы своей капли.

— Это может быть страшным... для амебы, — прошептала она.

— Как хорошо ты это понимаешь!

Она беззвучно засмеялась.

— Я кое-что знаю об амёбах. А в том, что ты сказал, есть доля истины: мы и находимся в небе.

— Нет, — я покачал головой, — мы не в небе. Небо кончается вместе с белыми тучами и воздухом Земли. Мы в пустоте.

Женские глаза — они были рядом с моим лицом — потемнели.

— Это плохо?

Я молчал.

— Разве ты бы хотел быть в другом месте, кроме «Геи»?

— Нет.

— Вот видишь! — И, немного помолчав, она сказала другим голосом: — Когда я была маленькой, я играла в «другие люди». Я воображала, что я — кто-то другой, совсем другой, словно примеряла на себя чужую жизнь. Это было очень увлекательно, но нехорошо.

— Почему?

— Надо всегда оставаться самим собой. Всегда, всеми силами стараться быть самим собой, никогда не примерять на себя чужую судьбу и...

— И что?

Калларла встряхнула головой так, что ее пронизанные солнечным светом волосы сверкнули золотом, улыбнулась и ушла.

Я уставился в глухо шумящий океан. Стоя так, я невольно слышал обрывки чужих разговоров.

— Вот послушай, — послышался низкий голос, — была задумана такая фреска: из пещеры выбегает группа косматых дикарей — первобытных людей, они исполняют магический танец, есть в их позах что-то одновременно и человеческое и животное. Я страшно мучился над этим, но так ничего и не вышло. Встречаю однажды профессора, он начинает рассказывать о своих проблемах. Это продолжалось не меньше часа, — голос говорящего упал до глухого шепота, — он мямлил и загорался, прямо танцевал около меня в лекторском экстазе, понимаешь? Вдруг — а я его уже не слушал — он весь как-то изогнулся и выкинул такой пируэт, что меня осенило: вот она, думаю, ось моей композиции! И сразу принялся делать наброски, а он-то решил, что я записываю его слова!! Здорово, а?!

Раздался смех, потом удаляющиеся шаги, и все стихло.

Заходило ненастоящее солнце. Вечерняя заря охватила небосклон — это была извечная картина Земли, которую мы оставили так легко, будто не понимали, сколь она бесценна. Я стоял, подавшись вперед и опираясь на шероховатые камни балюстрады. Порывы вечернего ветра несколько заглушали шум волн, однообразный и сонный, уносивший куда-то мои мысли. Позади, за спиной, шел оживленный разговор, пересыпанный искорками женского смеха. Я слышал звон стекла, произносимые нарочито громкими голосами тосты, взрывы веселья и внезапно наступавшую тишину.

Я по-прежнему смотрел на море. Над горизонтом огромной, белой, словно наполненной до краев светом капель всхо-

дила Венера, вечерняя звезда, такая близкая и знакомая. Сумерки постепенно сгущались, становились синими, и в какой-то неуловимый миг в темнеющей глубине неба я увидел очерченный рубиновой полосой контур далекого вулкана. Загорались звезды — я стоял, должно быть, уже около часа, — вечер достиг зенита, его лиловые тона сменялись ночными. Вдруг, словно бы очнувшись, я понял, что остался один. Огляделся и вздрогнул: рядом со мной стоял человек. Как и я, он опирался на балюстраду и смотрел перед собой. Чем больше смеркалось, тем более интенсивным становилось красное зарево далекого вулкана, окрашивающее все вокруг себя в бледно-розовые тона. Человек стоял так близко, что я не мог посмотреть на него, не привлекая к себе его внимания, и все же я взглянул на него. Его лицо в сумеречном освещении обрело сероватый оттенок камня. Он посмотрел на меня или, точнее, мимо меня невидящими глазами. Я узнал его и хотел заговорить с ним, но не осмелился. Он, вероятно, догадался об этом и первым слегка поклонился мне.

— Гообар, биофизик, — сказал он.

До этого мы только видели друг друга, но никогда не разговаривали. Я называл себя и свою профессию. Мы долго молчали, но уже иначе, чем раньше: теперь мы молчали вместе. Потом как-то вдруг — не знаю, что на меня нашло, — я спросил:

— Профессор, ты знаешь Амету?

Он оживился.

— Конечно, знаю! Он когда-то со мной работал.

— Как пилот? — задал я нелепый вопрос.

— Нет. — Гообар, казалось, задумался. — Нам нужен был тогда математик, хороший математик. Амета... как бы это тебе объяснить, доктор? Иногда ребенок скажет что-нибудь такое, чего не придумает и гениальный поэт. Попадают такие самородки, но своего открытия ребенок сам оценить не может. Ему все равно: блестящая находка или ничего не значащий пустяк... Так вот и у Аметы бывают замечательные идеи, но он не умеет ни отличить их от несущественных, ни разработать. Блеснет внезапно и укажет удивительный ход — словно направление в будущее.

— Это может быть очень ценно в коллективе, — заметил я.

Этот новый Амета, образ которого вырисовывался из слов Гообара, немало удивил меня. Гообар еще больше скрылся во мраке, его профиль, озаренный отсветом вулкана, заострился.

— Нет, — сказал он. — Сами по себе такие указания мало кому на пользу. Среднему математику они не годятся, поскольку устремлены далеко и лежат вне пределов его знаний, а выдающийся математик всегда оригинален, в исследованиях идет своим путем и не остановится во имя чужого, хотя бы самого гениального открытия. Ведь никто не оставляет любимой женщины ради другой, более красивой, которая, возможно, ждет его на третьем искусственном спутнике...

— И он не мог двигаться дальше? — спросил я.

— Нет, — сказал Гообар. — Иногда он был похож на человека, которому в голову внезапно пришла необыкновенная мелодия, но он не может записать ее, потому что не знает нот, да и просто запомнить не может. В результате мелодия терялась навсегда. Его математические открытия, вернее, не открытия даже, а мысли о построениях, совершенно не зависимых от известных нам систем, походили на математические острова, затерянные во тьме. Эти острова еще предстояло открыть... Конечно, многое будет открыто исследователями, систематически занимающимися своим делом, но им и в голову не придет, что какой-то человек в одиночку уже добирался до этих незнакомых берегов... Впрочем, в его уме рождались и разные уродцы, а он не умел отделить плевел от зерна.

— Значит, все это было бесполезно... — тихо сказал я.

— Нет! — в третий раз сказал Гообар, повышая голос. — Он толкнул меня на определенный путь, я уже не раз его бросал, но всякий раз возвращался — настолько он соблазнителен. Амета сверкнул передо мной, осветил на долю секунды какой-то призрачный пейзаж и больше ничего не смог сказать о нем...

Наступила пауза.

— Потом он совершил многое... Это было, пожалуй, лет двенадцать назад, а может, и больше.

— Кажется, он стал пилотом сравнительно недавно? — высказал я догадку. — Может быть, в этой профессии он нашел то, что искал?

— И опять ты ошибаешься, — улыбаясь, сказал Гообар, которого, кажется, забавляла моя недогадливость. — Он всегда занимался одним и тем же. Все, что он делал, было связано с проблемой, которую он хотел разрешить.

— Какой же?

— «Вращение среди темных течений» — так он это называл... У него всегда была своя, сугубо личная терминология.

гия. Речь шла о путешествии за пределы Галактики. — Гоobar вдруг повернулся ко мне. — Понимаешь, доктор, размах... Амета побеждает меня своим размахом...

— Побеждает как математик?

— Нет, как человек.

Это признание ошеломило меня. Гоobar продолжал говорить, обращаясь как будто к самому себе:

— Я давно не виделся с ним, доктор, и благодарю тебя за то, что напомнил о нем.

Он долго всматривался в темноту, откуда доносился тяжелый однообразный шум, затем, взяв меня под руку, коротко сказал:

— Пойдем.

Мы вошли в зал. Там теперь было тише; у столиков в креслах сидели гости, больше всего их было вокруг пальмы. Над входом слабо светился витраж, на его стеклах выделялись огромные, выпуклые фигуры золотистых шагающих великанов. Фантастические сцены, изображающие крылатых насекомых, покрылись легкой тенью — может быть, кто-то намеренно уменьшил освещение, — зато внизу сияли созвездия хрустальных ламп, мягко отражаясь в серебряных доспехах автоматов. То и дело какой-нибудь из них нырял в толпу и, лавируя между столиками, безошибочно попадал туда, куда его вызывали. Отовсюду доносились голоса, слышался мелодичный звон стекла.

Я шел с Гообаром к центру зала. Мы пробирались по узкому проходу. Все поднимались навстречу Гообару, улыбались, приглашали за свои столики. Он остановился растерянно, не зная, за какой из столиков сесть. Мне тоже, как спутнику Гообара, досталась частица всеобщего уважения, хотя я и не заслужил этого. От столика, за которым тесным кружком сидела молодежь, меня звал Нильс Ирьола, махая обеими руками.

Я подошел к нему. Молодежь собралась вокруг троих кибернетиков, среди них своим атлетическим сложением выделялся Тембхара; он и верховодил за столом. Кое-кто из молодежи сидел на подлокотниках кресел, другие стояли, прислонившись друг к дружке. Я попал в самый разгар горячей дискуссии и услышал конец речи стройного юноши:

— Но, собственно, почему нельзя использовать автоматы при посадке на неизвестную планету? Говорят, что мы пошлем туда ракеты, пилотируемые людьми.

— К сожалению, это необходимо, — отвечал Тембха-

ра. — Ты же слышал поговорку: автоматы совершенны, но ограничены, а люди хотя и не совершенны, но ограниченностью не страдают? Дело в том, что для автоматов характерна так называемая «направленная узость оценки обстановки». Автомат всегда несколько односторонен, потому что создан для выполнения определенных задач. А на чужой планете он может встретиться с незнакомыми ему существами и попасть в ситуацию, которую нельзя предусмотреть заранее. Если послать туда автоматы, они вполне могут ошибиться, и даже весьма опасным для нас образом.

— Что такое они могут натворить? Я не понимаю.

— Они могут поступить, как умственно больной человек, — сказал Тембхара. — Чтобы объяснить это, приведу пример из старого учебника кибернетики. Пример имеет только историческое значение, но это хорошая иллюстрация к тому, о чем я говорю. Сказка, в сущности. У одного человека квартира была завалена старыми глобусами и негодными кувшинами. Он поручил автомату убрать этот хлам, сказав следующее: «Выбрось отсюда все шарообразные предметы». Послушный автомат, дословно поняв приказ, вынес весь хлам, а заодно сорвал с шеи голову этого человека — принял ее всего лишь за шарообразный предмет, который тоже следует выбросить.

— Но это чепуха!.. Этого не могло случиться... Автомат не может причинить вред человеку!.. — хором воскликнули окружающие.

— Конечно, эта история на деле не могла произойти. Я привел ее только как яркий пример того, что можно бы назвать «недоразумением» между человеком и автоматом. Для нас многое самоочевидно, подразумевается, а для автомата нет ничего очевидного, кроме того, что вложил в него конструктор. Наши автоматы, например, снабжены устройствами, снимающими возможность их самоуничтожения, и предохранителями, которые делают невозможным нанесение какого-либо вреда человеку. Но в совершенно новой, не предусмотренной конструктором обстановке, в условиях чужой планеты они могут наделать много зла. Помимо этого есть еще один момент этического порядка: нам, наверное, не понравилось бы, если бы обитатели другой планеты прислали на Землю свору машин с задачей определить, стоит ли связываться с людьми добрососедские отношения. — Тембхара улыбнулся, блеснув зубами.

— Скажи, профессор, — спросила какая-то девушка, — ты разрабатывал гироматы?

— Да. Вернее, участвовал в создании нескольких гиromатов.

— Профессор Аверроэс говорил на лекции, что гиromаты строятся вообще без проекта. Как это возможно? Объясни нам, если можешь.

— Попробую... — Тембхара задумался. — Лучше всего, может быть, это удастся на конкретном примере. Наше бюро перед вылетом с Земли разработало концепцию большого астрогиromата для Симеизской обсерватории. Это гигант особого назначения: он умеет создавать «математические модели звезд». Ему сообщают величины и факты, полученные в астрономических обсерваториях, а он на их основе воспроизводит жизнь звезды с момента ее возникновения до гибели, воссоздавая ее историю, форму, размеры, температуру, протекающие внутри звезды атомные реакции, ее орбиту, влияние на нее других небесных тел и, в свою очередь, ее влияние на эти тела — словом, может проследить за эволюцией любой звезды с абсолютной точностью и чрезвычайно быстро. Миллиард лет существования звезды машина «переживает» за какие-нибудь двадцать секунд. Конечно, такой гиromат не смог бы построить ни один человек в мире. Чтобы сделать необходимые расчеты и приготовить чертежи проектов, потребовалось бы не меньше тысячи лет, а может, и больше. Можно использовать счетные машины, но и это излишне, потому что есть несравненно более простой способ. Способ такой: прежде всего строится система автоматов, называемая базисной; этой системе мы ставим общую задачу постройки гиromата, то есть условия и сферу его действия и другие данные. Все это называется «направляющей установкой технологической программы гиromата». Затем снабжаем базисные автоматы строительным материалом и пускаем их в ход. Через небольшое время, а именно через пару месяцев, гиromат готов. Естественно, мы, проектировщики, не знаем ничего о тысячах и миллионах монтажных операций, анализах и расчетах, проданных базисными автоматами. И не только не знаем, но совершенно ими не интересуемся. Так же нас не интересует в деталях и конструкция самого гиromата: он есть, действует, выполняет наши приказы, и все — больше нам ничего не нужно.

— Знаешь, профессор, — сказала стоявшая рядом со мной Майя Молетич, — я думаю, что тысячу лет назад инженер-конструктор назвал бы сумасшедшим человека, который сказал бы, что в будущем будут сооружать самые сложные конструкции без проектов.

— Не думаю. Я попытался бы разъяснить принцип такого строительства на понятном для него примере. Тогда применялись первые примитивные счетные машины. Так вот, инженера, который перемножал две цифры при помощи такой машины, совершенно не интересовали промежуточные этапы арифметического действия. Ему нужен был конечный результат — и ничего больше. Уже тогда стал применяться — правда, в зародыше — принцип, который можно сформулировать так: «Следует избегать бесполезных знаний». Таким бесполезным было бы детальное знакомство со всеми соединениями/проводов в астрогиромате. Если бы кто-нибудь захотел составить список этих соединений, ему пришлось бы заполнить тысячи томов или трионов. Бессмысленная и никому не нужная работа. Наша техническая культура изобилует такой массой приборов, что, если бы мы хотели их изучить и знать так же детально, как люди знали раньше, например, конструкцию часов, мы бы утонули в океане совершенно ненужных описаний. Если бы не автоматизация, человечество уже тысячу лет назад вступило бы на путь все более узкой специализации каждой личности. Люди превратились бы в муравьев, и каждый выполнял бы крошечную часть общей работы, совершенно не представляя себе ее объема в целом. А автоматы не только усиливают человеческую мысль, как рычаги — силу руки человека, но и разгружают его от бремени излишних, нетворческих исследований и наблюдений, от их систематизации. Автоматы оставляют ему только самое важное, неповторимое, для чего нужны изобретательность, находчивость, сообразительность, интуиция, и так помогают создать новый тип человека, который, как главнокомандующий в древности, намечает главные направления атаки на неисследованные области, не отягощая свой ум балластом мелочей.

Тембхара умолк. Я сказал в наступившей тишине:

— Знаете, совсем маленьким мальчиком я бесконечно жалел о прошлом, когда произведения человеческих рук, подобно парусным судам, обладали индивидуальностью. Каждое было непохоже на остальные; я думал, что механизация производства навсегда устранила из нашего бытия уникальность человеческого творчества, но из слов Тембхары следует, что индивидуальность восстанавливается теперь — на другом, более высоком уровне! Если ты даешь базисной системе лишь основные принципы постройки, то любая построенная ею машина будет отличаться от другой

в несущественных деталях, не предусмотренных инструкцией, не так ли?

— Конечно, так, — ответил Тембхара. — Это может относиться ко всяким частностям — например, к внешнему виду машины, монтажным особенностям, взаимному расположению агрегатов и так далее. Об одном из моих коллег, Иорисе, человеке очень рассеянном, рассказывают, что, строя гиромат, он сообщил базисной системе все данные, кроме одного — величины аппарата. Возвратившись через месяц на строительную площадку, он издала заметил какой-то массив, напоминавший пирамиду Хеопса и господствовавший над окружающей местностью. Немного обеспокоенный, он спросил у первого встречного автомата, закончен ли гиромат, и услышал в ответ: «Где там, только начали строить: изготовлен первый шуруп!»

Все рассмеялись.

— Это, конечно, шутка, — сказал я, — но теперешние машины отличаются друг от друга так же, как отличаются от подобных себе деревья, цветы и люди: рисунком листьев, оттенком лепестков, цветом глаз, волос — чертами малосущественными, однако придающими физическую индивидуальность.

— Ты прав, — отозвался один из собеседников, — и все же эта индивидуальность — нового типа, прежде она происходила из отсутствия знания, а теперь, скорее, из избытка.

В тишине, наступившей после его слов, от столика, где сидел Гообар, донесся взрыв смеха. Мне стало интересно, что развеселило астрофизиков, я подошел к их столику и услышал голос Тер-Аконяна:

— Слово имеет профессор Трегуб.

— Что здесь происходит? — шепотом спросил я Зорина, стоявшего у пальмы.

— Это такая игра: выдумывание «возможных миров», — так же тихо ответил он мне. — После Трегуба будет говорить Гообар.

Наступила полная тишина. Мне предстояло услышать что-то вроде состязания знаменитых ученых в остроумии и находчивости.

Трегуб покачал головой, насупил брови и очень серьезно начал:

— Можно себе вообразить, что мир, в котором мы живем, существует не непрерывно, а периодически, что материя, из которой он образован, «мигает» подобно прерывистому лучу света. Материя соседнего мира в периоды его

существования может «разместиться» в промежутках существования нашего мира. Оба эти мира мы можем назвать «взаимно совмещенными» в одном и том же пространстве. Если могут быть два таких мира, их может быть и значительно больше — тысячи и даже миллионы. Все они могут сосуществовать в пространстве и обладать физическими законами, совершенно независимыми, за исключением того, который регулирует их частоты, чтобы не могло произойти «столкновение» материи двух или нескольких миров. Таким образом, можно представить себе, что через пространство, которое занимают наши тела, в данный момент проникают вереницы существ из Вселенной № 5678934, существ, которые обсуждают выдвинутую мной в настоящее время возможность.

Раздались аплодисменты и смех, которые, однако, быстро смолкли. Все с интересом ожидали выступления Гообара.

Он стоял, расставив ноги и слегка покачиваясь, как бы испытывая прочность пола. Наконец сказал:

— Предположим, что какая-то метagalактика встала на путь последовательного усложнения своей структуры, выражающегося в том, что отдельные звезды начинают соответствовать нервным клеткам мозга. Через определенное время эта метagalактика, объединяющая несколько миллиардов галактик, становится как бы единым «мозгом» шарообразной формы, диаметром, скажем — мы люди смелые, — миллиарда в четыре световых лет...

— Ужасная фантазия... — прошептала сидевшая недалеко от меня Калларла. — Какой это был бы гениальный урод из пылающей материи...

— Ты ошибаешься, моя дорогая, — очень спокойно возразил Гообар. — Я боюсь, что это был бы — по крайней мере, по нашим критериям — кретин из кретинов. — Он достал карманный анализатор и, произведя небольшой подсчет, продолжал: — В таком «мозгу» галактики соответствовали бы нервным ядрам, а световые лучи — нервным импульсам. Чтобы представить мысленно самое простое понятие, например «я существую», понадобилось бы около 10^{19} , то есть свыше ста триллионов лет... Я полагаю, что такое замедленное мышление трудно назвать гениальным.

Все рассмеялись; одна Калларла была разочарована.

— Значит, это невозможно, — сказала она. — Жаль...

Мне уже несколько минут казалось, что в зале слышно какое-то низкое ворчание или гул, но я не обращал на него внимания. Теперь, когда после слов Калларлы наступила

тишина, отдаленный гром усилился. Он доносился как будто из-под земли, несколько раз я ощутил тяжелые удары. Пол затрясся под ногами. Все вскочили с мест и стали всматриваться в открытые настежь двери террасы. Из мрака, пронизываемого холодным ветром, теперь доносился непрерывный грохот.

— Ого, там происходит что-то интересное, — сказал Гобар и первым двинулся на террасу.

За ним поспешили все.

Здесь стояла такая густая тьма, что казалось, она обрушивается на нас, как огромная тяжесть. Над горизонтом вспыхнуло багровое зарево: из конуса вулкана вырвался короткий сноп пламени. Воздух заколебался, задрожали каменные плиты террасы. Над вулканом стояла туча, ее пронизывали молнии, один за другим раздавались удары грома. Вдруг эти низкие звуки заглушило пронзительное шипение, клубы пара, словно окрашенного кровью, вырвались из океана: лава попала в воду.

Первую секунду все молчали, потом послышались возгласы:

— Великолепно!

— Кто это придумал?

— Конечно, Ирьюла!

— Смотрите, как все дрожит!

Ирьюла был найден, к нему потянулись десятки рук: каждый хотел поздравить и похлопать его по плечу. Он уверял, что не имеет к этой выдумке никакого отношения.

— Бывает, конечно, что вулканы начинают извергаться, но при чем здесь я?

Зарево все росло, над вулканом появились огненные змеи и зигзаги — это взлетали ввысь вулканические бомбы. Над нашими головами несколько раз слышался пронзительный вой.

— Пойдемте отсюда, друзья! — послышался вдруг чей-то молодой голос. — Вы не знаете видеопластиков: для усиления иллюзии они готовы обрушить нам на головы дождь из огня и серы!

Вулкан грохотал так сильно, что заглушал наши голоса и смех.

Наконец Тер-Аконян от имени всех присутствующих обратился к конструкторам этого зрелища, и те, поспорив с нами, на минуту исчезли. Вскоре извержение начало ослабевать, и мы вернулись в зал. Прежние группы распались — одни подзывали автоматы и, столпившись вокруг их сереб-

ристых фигур, поднимали бокалы с игристым вином, другие устроились в креслах под пальмой и забавлялись какой-то игрой. Смех раздавался все чаще, кое-где слышались песенки, появилось несколько огромных светящихся баллонов, которые перелетали с одного конца зала на другой.

Я нерешительно потоптался около столика, на котором пилоты, руководимые Аметой, расставляли сложные телевизионные приборы для игры в «погоню за ракетой», и наконец пошел на галерею. Она опоясывала весь зал. Огромные насекомые, изваянные из драгоценных камней, производили вблизи ужасающее впечатление. Я уже хотел уйти, когда услышал голос, доносившийся из-за скульптуры, у которой я стоял. Прошло некоторое время, пока я сообразил, что скульптура, как и морской пейзаж, — дело рук видеопластиков, однако, чтобы двинуться прямо на искрящуюся шероховатую поверхность, мне пришлось преодолеть в себе инстинктивное сопротивление. Перед глазами вспыхнули, потом исчезли огромные бриллиантовые глаза паука. Я прошел через пустоту и очутился в полумраке. У гладкой стены сидели Соледад и Анна. Устремив на меня невидящий взгляд, Анна говорила:

— Скажи, был ли у тебя когда-нибудь в жизни вечер, который, как тебе казалось, закрывает дорогу к завтрашнему дню, — совершенно бесполезный, который нужно убить, уйти от него, словно сняться с мели? Вечер, когда тебя охватывает сомнение во всем, к чему ты стремишься, вечер, когда ты оставляешь все, за что принималась раньше, и, если приходит человек, совершенно тебе безразличный, ты рада, потому что его приход снимает с тебя последнюю ответственность за время, которое ты не знаешь, как убить?

— Если такой вечер случается раз-другой в год, это ничего, — ответила Соледад. — Но если это происходит часто, смотри!.. Тебе тяжело с ним?

— Очень, — ответила Анна. Она все еще смотрела на меня.

В этот момент я понял, что она говорит обо мне, но не видит меня: я, вероятно, не вышел из зоны миража.

— Тут тебе никто не поможет, — продолжала Соледад, — но ты и он...

Сдерживая дыхание, стараясь шагать как можно тише, я поспешно отошел и снова очутился перед искрящейся мозаичной скульптурой. Мне не хотелось думать о случайно подслушанном разговоре.

На противоположном конце галереи стояли сотрудники

Гообара Жмур и Диоклес. Они смотрели на ту часть зала, где не было столиков и ходили десятки людей. Там была видна большая группа, в центре которой стояла девушка в светло-голубом платье. Время от времени оттуда доносились взрывы смеха. Потом девушка запела. Это была забавная, веселая песенка; пропев первый куплет, она показала пальцем на одного из соседей — на него пал выбор, ему надо было продолжать. Так, перебрасываясь от одного к другому, песенка под шутки и смех кочевала по всему залу, пока наконец не забралась под колонны. Там, в нише, из которой ушел автомат, стоял Гообар. Какой-то юноша, только что закончивший свой куплет, встал перед ним и указал на него пальцем. Мгновение царил тишина. Потом ученый запел хрипловатым баритоном следующий куплет. Слушатели нарадили его бурей рукоплесканий, он, в свою очередь, указал на кого-то, и песня ушла в глубь зала. Гообар, все еще сохраняя на лице улыбку, с которой он выполнял свою обязанность певца, незаметным движением достал карманный автомат и стал что-то вычислять.

— Вот он, Гообар, — сказал Диоклес. — Ты можешь с ним играть, танцевать, петь, говорить про рай и ад, но он никогда не будет целиком с тобой.

— Но ведь он действительно любит веселиться, — заметил Жмур.

— Я знаю, что он не притворяется, ну и что же? Он любит людей, но сам не такой, как мы все. Когда новый сотрудник оказывается вблизи него, — продолжал Диоклес, — он не может отделаться от желания задать Гообару кучу разных, в том числе довольно смешных, вопросов. Эти наивные попытки ни к чему не ведут, потому что он — неразрешимая загадка. Не раз я удивлялся старательности, с какой он пытался отвечать...

— Например? — спросил я.

Мы продолжали смотреть на великого ученого — он как раз остановил проходивший мимо автомат, снял с подноса бокал и начал пить вино маленькими глотками.

— Начиная с вопроса, как он добывается великих результатов...

— Да, это действительно не очень умный вопрос, — согласился я. — Ну, и что же ответил Гообар?

— Он отвечал долго и серьезно и под конец сказал: «Может быть, потому, что я неустанно думаю...» В этой фразе, несмотря на ее кажущуюся банальность, есть великая и простая истина: его ум непрерывно создает мысленные конст-

рукции и сталкивает их одну с другой; это похоже на вечные попытки грандиозного синтеза, растянутые на многие месяцы и годы; у него хватает смелости додумывать до конца гипотезы, кажущиеся совершенно абсурдными, и делать из всего этого необходимые выводы. Я никогда не пойду с ним больше в горы. Я не хочу погибнуть.

— Что общего между твоим инстинктом самосохранения и Гообаром?

— Есть общее. Мы как-то ходили на восточный траверс Памирского заповедника...

— Извини, — прервал его я, — а он хороший альпинист? Как он ведет себя в горах?

— Ты сейчас услышишь, я к этому подхожу. Конечно, альпинист он неплохой. Там было небольшое, но дрянное ущелье. Прежде чем мы вошли в него, Гообар вдруг остановился и сказал, что у него возникла идея. Я сказал ему, чтобы он записал ее, но он возразил, что и так не забудет. Он не забывал о своей идее; он только забыл, где находится и что делает. Из-за этого он едва не сломал себе шею и не убил нас. Он не видел ни гор, ни пропасти, вообще ничего. Когда закончил в голове подсчеты — уже по дороге к лагерю, — стал просить у нас извинения, но я видел, что он делал это, так сказать, по обязанности, не ощущая при этом ни малейших угрызений совести, не говоря уж о страхе. Я говорю вам: этот человек совершенно лишен инстинкта самосохранения.

Последние слова Диоклес произнес с нескрываемым раздражением.

Пение внизу оборвалось, несколько минут оттуда доносился неясный шум, отдельные голоса еще пытались продолжать песню, но их заглушал общий гул. Наконец прекрасный женский алыт запел протяжную песню, похожую на колыбельную.

— Он всегда и везде остается самим собой, — сказал Диоклес, как бы не имея силы уйти от темы. — Ты слышал, как он начал свою деятельность? Бабка обычно оставляла его — тогда шестилетнего мальчика — дома под присмотром дяди. Его дядя, Клавдий Гообар, довольно известный математик, в то время работал над созданием теории магнитного поля. Дядя сажал его где-нибудь в уголке, давал игрушки, а сам продолжал работать. Ребенок тихонько играл; он в детстве был очень молчалив. Однажды вечером, решая какую-то трудную задачу, старый Клавдий яростно заспорил с автоматом. Вдруг ребенок сказал из уг-

ла: «Надо ввести матрицу линейных операторов...» — и продолжал играть, будто не сказал ни слова. Дядя, словно пораженный молнией, раскрыл рот: это было искомое решение задачи...

— Редко случается, — заметил я, — чтобы так называемые гениальные дети действительно оправдывали потом возлагаемые на них надежды. А он не только оправдал, он превзошел все ожидания.

Около нас остановился автомат. Диоклес выпил подряд два бокала вина. У него покраснели щеки, на виске забились жилки. Я хотел ему сказать, чтобы он больше не пил: во всем, что он говорил о Гообаре, ощущались тревога и горечь. Не только в словах, но и в выражении лица, в голосе. Жмур оставил нас, его высокая фигура мелькнула на фоне мозаики и исчезла за колоннами галереи. Какое-то время мы молчали. Внизу напевали плясовую, в середине группы кто-то начал хлопать в ладоши в такт мелодии, затем послышалось ритмическое притопывание: один из юношей принялся танцевать в широком круге — вдруг выхватил из круга девушку и так закружил ее, что видно было только мелькающее светлое платье да золотистые волосы. Диоклес смотрел на танцы невидящими глазами; внезапно он повернулся ко мне, лицо его исказилось в гримасе. Он, видимо, пил и до этого; похоже, вино плохо подействовало на него. Я взял его за руку, пытаясь проводить домой, но он вырвался и тоном спонтанного признания проговорил:

— Поверь, я не какой-нибудь тупица: в научный оборот вошло шестнадцать моих работ, две были действительно хороши, но про меня никогда не скажут: «А, знаем, это тот Диоклес, который разрабатывал вопросы мнемоники», а всегда говорят: «Диоклес? Это который ассистент Гообара?» Да я бы и сам поговорил с грядущими поколениями, я бы сам им представился: биотензоры реальных объемов, инерция отраженной памяти — мои создания. Есть у меня и другие, еще не законченные работы, ведь вся моя радость — в работе. Однако все это не имеет никакого значения. Я — ассистент Гообара и войду в историю лишь как один из его группы, у которого нет ничего своего, — пустой звук, тень одного из ста тысяч листьев в кроне дерева. И я знаю, что тут ничего не поделаешь... Так должно быть...

— Что ты говоришь?

Я был ошеломлен. На лице этого низенького человека вдруг выразилось такое страдание...

— Но ты бы мог работать самостоятельно или в какой-

нибудь другой группе. Во всяком случае, ты можешь в любое время уйти от Гообара...

— Что?! — воскликнул Диоклес. Лицо его сжалось и стало похоже на темный кулак. — Уйти от Гообара? Уйти? — повторил он. — Да что ты говоришь?! Мне — добровольно уйти?! Где же я найду другого такого?

— Ну если ты не можешь смириться с тем, что он тебя так подавляет... — осторожно начал я.

— Да ты что говоришь? — спросил пораженный Диоклес и, притянув меня к себе, лихорадочно зашептал: — Да, он превосходит меня, превосходит нас всех. Ну и что же? Мы идем все дальше, за семь лет в институте выполнили огромную работу, я не хваюсь, это подтвердит каждый. И теперь я способен сделать больше, чем вначале, мои горизонты расширились, но, когда я дохожу до точки, где только что был Гообар, он уже опять далеко. Он всегда опережает нас на несколько этапов. Я атакую, но каждый раз оказываюсь побежденным. Горько ли это? Бесспорно, да! Но каждый раз меня побеждает что-то более значительное по сравнению с предыдущим!

Он улыбнулся виновато, кивнул мне и удалился легкими и как всегда быстрыми шагами. Я стал смотреть в зал.

Ниша, в которой только что стоял Гообар, пустовала. Я спустился по лестнице и вышел на террасу. Здесь никого не было видно, только откуда-то сбоку доносились приглушенные голоса. Я подошел к балюстраде и с минуту, прикрыв глаза, вдыхал свежий соленый воздух. Ветерок охлаждал разгоряченную голову. Горизонта не было видно; его можно было только лишь угадать по тоненькому пурпурному излому, очерчивавшему верхушку вулкана. Усталость, как бы таившаяся прежде где-то в укрытии, проступила наружу, разливаясь по всему телу. Я повернулся спиной к балюстраде и, широко расставив руки, оперся об ее холодный каменный край. И тут заметил женщину, одиноко стоявшую между двумя притворенными дверями. Ее фигура сливалась с царившей здесь темнотой, и только лицо, на которое падал голубоватый отблеск платья, едва проступало из мрака. Не предполагая, что кто-нибудь может ее видеть, она стояла неподвижно, повернувшись в ту сторону, откуда доносились голоса. Я проследил за ее взглядом — как следуют за тенью, чтобы обнаружить отбрасываемый ею предмет, — но ничего не увидел: было слишком темно. Пару минут стояла тишина, а потом донесся голос Гообара, низкий и сильный.

Я снова перевел взгляд на женщину. Только теперь я уз-

нал ее. Это была Калларла. Она казалась бесплотной и не-реальной, сосредоточенной и в то же время отсутствующей; полуоткрытые губы словно пили что-то невидимое. Так, наверное, выглядели много веков назад лица людей, вдохновленных религиозной идеей, когда, уверовав в возможность чуда, они, раскинув руки как крылья, устремлялись ввысь с огромной скалы в надежде воспарить в воздухе — и тут же падали вниз. Калларла явно не слышала того, что говорил Гообар, хотя как будто и вслушивалась в его низкий голос; она просто вверяла ему себя.

Она любила его. Любила за то, что он был именно таким — с непредсказуемостью его поступков и слов, с его неожиданными порывами деликатной нежности, которой он одаривал ее почти безотчетно; любила его пальцы, вечно холодные от соприкосновения с металлическими клавишами, упрямый поворот его головы и улыбку, с которой он спорил со своими автоматами; любила его манеру молча щуриться, словно его потешало, что эти машины ничего не понимают. Иногда он привлекал ее к себе, и его голова замирала у нее на груди, но вдруг резко отстранялся и смотрел отсутствующим взглядом; так прорывалась наружу вызревшая в нем мысль. Тогда он переставал видеть Калларлу, и улыбка, которую она посылала ему, не достигала цели; их разделял один из безграничных миров, которыми он играл. Минуту спустя он как будто снова начинал видеть, но прежде чем вспомнить о ней, подходил к столу и что-то записывал. Естественная легкость, с которой он отрывался от нее, причиняла ей боль. Она страдала от приступов его внезапной слепоты, понимая, что ее любовь — лишь несмелый, падающий издали свет, который лишь четче обозначает его непроницаемое одиночество.

Но она научилась любить даже его взгляд, проходящий сквозь нее; она полюбила боль, которую он ей причинял, потому что могла ею измерять огромность своей любви. В череде бесконечных потерь и обретений, хаоса и тревоги, посреди всего этого случалась какая-то минута, когда, вызволившись от раздумий, он чуть дыша, одними губами произносил ее имя, словно бы звал ее, хотя она уже была так близко, что их не разделяло ничего — кроме их мыслей.

Вспоминая свою девичью пору, светлую и спокойную, как ожидание музыки, она внезапно понимала, как ей тогда недоставало того, что сейчас приносит каждый новый день. Если бы можно было выбирать и все начать сначала, она еще раз отдала бы свое сердце этим бесконечным пораже-

ниям и снова с открытыми глазами принимала бы удары, которые он неосознанно наносил ей, и делила бы с ним все, кроме своих страданий, которые так хорошо умела скрывать. Но хоть она не могла завладеть им целиком, как парус не может вобрать в себя весь ветер, веющий в пространстве, она любила его, и больше всего то, что было в нем от наивного ребенка, удивленно смотрящего на мир; любила, когда он, засыпая, дышал, согревая теплом ее шею, любила слабое движение его губ, что-то шепчущих во сне. Она любила больше всего именно то, что было в нем и могло существовать, лишь пока он был жив, — она любила в нем человеческое и смертное. Поэтому она не спала по ночам, как будто оберегала его сон, как будто боролась за бессмертие — не его мыслей, а его дыхания, и, хотя это было неразумно и непосильно, она должна была так поступать, потому что этого требовала любовь. Так проходили годы.

Голоса из темноты зазвучали громче и сразу стихли; слышно было, как Гообар и Калларла двинулись к дверям. Когда они подошли к залу, лучи света как бы отделили друг от друга их черные силуэты. Гообар еще на миг задержался у каменной балюстрады. Я взглянул на часы — было около трех пополудни. Гообар отошел в сторону, заговорив с коллегами. В этот момент я увидел улыбку Калларлы, которая сказала мне все. И я закрыл лицо руками, чтобы уже ничего не видеть после этой прекрасной улыбки.

ЗВЕЗДНАЯ АННА

На втором году путешествия время прохождения радиосигналов между «Геей» и земными станциями так выросло, что практически прервалась наша связь с Землей. Крошечная частица человеческого племени, закупоренная в скорлупке, низвергавшейся сквозь ледяную мглу, оказалась предоставленной только самой себе. Но жизнь продолжалась. Шла работа в лабораториях; на межгрупповых конференциях обсуждались научные результаты; юноши и девушки получали образование, создавали семьи, рожали детей.

Я уделял им много внимания; довольно подробно беседовал с матерями, приходившими в амбулаторию на приемы, и должен сказать, что помимо научной добросовестности мною руководило смутное подозрение, что непосредственное соседство вечной тьмы и звезд, от которых мы старались обезопаситься толстым корабельным панцирем, все же может

оказать какое-то — пока неизвестное — воздействие на крошечные человеческие существа. Поэтому я, помогая матерям пеленать розовых пискливых младенцев, подсознательно искал в них какие-то «звездные» приметы. Но эти ожидания (смехотворность которых я понимал) не оправдывались. Все дети были совершенно нормальными, здоровыми, веселыми. Старшие уже ползали на четвереньках по газонам сада. Когда случалось, проходя по коридору, вдруг услышать в какой-нибудь из квартир детский голос, наше обиталище, с его металлическими стенами и многоярусными конструкциями, сразу становилось каким-то родным, словно здесь начинало ощущаться тепло нашего собственного детства.

Откровенно говоря, детьми занимался я один; поскольку Шрей был хирургом, а Анна по возможности избегала ими заниматься, чего я не мог себе объяснить — в начале путешествия она живо интересовалась первыми новорожденными.

Внешне жизнь на корабле стабилизировалась. Все охотно сходились в компании, дружеские встречи происходили не реже научных собраний, работали спортивные секции. Мы много говорили о повседневных, несущественных мелочах, о прослушанных концертах и прочитанных книгах, о знакомых. Но никто не вспоминал о Земле; название этой планеты вообще не появлялось в разговорах. Могло показаться, что все забыли о ее существовании; точно так же не вспоминали об оставшихся на ней близких людях, не говорили даже о самом путешествии.

Эта тема обсуждалась только специалистами. Было установлено немало интересных фактов. Так, например, через несколько месяцев после того, как ракета достигла расчетной скорости, заметили, что температура внутри корабля начинает возрастать, хотя и весьма незначительно. Инженеры принялись искать причины этого явления. Оно было тем более странным, что двигатели корабля уже не работали; источник повышения температуры мог лежать лишь вовне, а там была пустота. В кубическом сантиметре этой пустоты содержалось всего-то несколько атомов, поэтому она практически могла считаться абсолютной по сравнению со средней плотностью газа в земных условиях, когда в одном кубическом сантиметре заключается несколько десятков триллионов атомов. Но «Гея» двигалась с такой быстротой, что каждый квадратный сантиметр ее поверхности сталкивался в секунду с 800 миллиардами атомов; этого было до-

статочно для возникновения «трения» и вследствие этого — нагрева ракеты. Более того: оказалось, что, пронизывая этот межзвездный «газ», ракета постепенно обрастает тонким слоем атомов, «вдавливаемых» стремительным движением в ее внешнюю оболочку. Разумеется, происходящий таким образом прирост массы корабля был крайне незначителен, однако точная аппаратура сумела его измерить.

В амбулатории у меня бывало по несколько пациентов в день; они приходили с разными, часто совсем неопределенными жалобами; иногда казалось, что эти жалобы — лишь предлог для разговора с врачом, разговора, допускающего полнейшую откровенность. Это привилегированное положение позволило мне добраться до истоков событий, последовавших позже, спустя месяцы и даже годы.

Постепенно всех на корабле охватывало некое ощущение «легкой жизни». Люди охотно развлекались, шутили, но веселье было поверхностным. Время от времени в разговорах, не важно, на какую тему, у кого-нибудь из собеседников вырывались реплики, на которые остальные старались не обращать внимания. Помню, как однажды в саду, при обсуждении работ тектонофизиков и возможности их использования в будущем, упомянули Землю и какая-то женщина вдруг вполголоса сказала: «Да вернемся ли мы вообще?» На миг установилось напряженное молчание, а затем сразу несколько человек поспешно заговорили о чем-то другом.

Явлением, вызывавшим наибольшую тревогу — а оно затрагивало самые глубокие тайники человеческой психики, — были на корабле дела любовные.

Сотни тысяч поколений особей животного мира, сменявшие друг друга до появления человека, передали ему трудное и непереносимое наследство взаимопротяжения полов. Проходили века, зарождались и погибали цивилизации, а человек, борясь с окружающей и своей собственной природой, бесчисленное число раз пытался извлечь на свет те темные силы, которые были заложены в него без его воли и согласия. Так страсть, влекущая самок и самцов друг к другу, преобладала в тоску. Из века в век в область любви, как и других чувств, вторгалось все больше предписаний, обрядов и законов, порождаемых социальными различиями между людьми. Меркантильные тиранические режимы стремились обратить любовь в товар, доступный для имущих, сделать ее предметом безобразного торга. Она должна была стать средством, возбуждающим истощенные нервы, еще одной при-

манкой, ярким пятном в бесцветной и тоскливой жизни. Мужчины и женщины искали в ней спасение от слепых кактаклизмов, нарастающих в недрах общественных систем.

В нашей цивилизации установились новые взаимоотношения полов, обусловленные творчеством как высшим смыслом существования. Интеллектуальное творчество проистекает из телесного, являясь как бы его высшим, более ясным отражением, неустанным воспроизведением восторга и тревоги, которые вызывает в нас окружающий нас мир. Когда-то люди предавались половому влечению, не понимая, что зачатие нового существа — самая большая ответственность, которой проверяется человек. Многие поколения людей появлялись на свет и уходили, а великая, неразгаданная тайна передавалась от одного к другому как запечатанное письмо, которое выпадет прочитать лишь далеким потомкам.

Человек разрешает загадки, которые ставит перед ним окружающий мир, постигая закономерные изменения материи, одинаково происходящие в недрах звезд и в человеческой плоти. Но любовь, не поддающуюся научному эксперименту, неподвластную формулам и схемам, невозможно ни спрогнозировать, ни вычислить, а ведь в нашем рациональном мире она является тем, без чего жизнь не была бы полной.

В земной любви нашего времени нет ничего ни от страстных вожделений, от стремления кого-то насильно удержать или оттолкнуть, ни от жажды обладания и связанной с нею зависимости другого человека. Как планеты, вращаясь по своим орбитам, в определенных, очень редких точках близко сходятся в пространстве, так и мужчина с женщиной сближаются друг с другом в любви. Так рождаются общие мечты, люди начинают смотреть на мир глазами любимых, у них появляется ощущение постоянной близости любимого человека, и тогда страсть становится только одним из многих связующих звеньев, а нежность — не средством возбуждения чувственности, а языком любви, когда слова излишни — привычные, будничные, они мало что выражают и часто лгут.

На палубы «Геи» с Земли прибыло довольно много мужчин и женщин, уже созревших для любви, но еще не нашедших ее. Следовало, естественно, ожидать, что длительное путешествие соединит многие пары. Эти предвидения оправдались, но препятствия, которые большинству из них пришлось одолеть, оказались куда серьезней, чем можно было подумать. На втором году путешествия пары часто стали

складываться как бы случайно, быстро распадаться, и это было окружено общим заговором молчания.

Люди искали убежища от трудностей в объятиях друг друга. Мы знали, что взаимная жалость не соединит нас прочными узами, — это может сделать только любовь. Но то, что происходило между многими парами на «Гее», трудно было назвать любовью. Люди лежали рядом друг с другом, одинокие, понимая свое поражение. Когда становилось легче, случайных любовников оставляли. Это были попытки спастись от опасных мыслей.

О ком я думаю сейчас? Прежде всего о себе самом, хотя и догадываюсь, что не один из моих спутников пережил подобный крах. Я думаю о себе. Только о себе, ибо Анна выдержала это испытание, хотя долго страдала; а может быть, именно потому она и выдержала, что у нее хватило смелости все выстрадать, в то время как я хотел только забыться.

Когда двое людей сближаются для поцелуя, каждый не видит лица другого, потому что они слишком близки, но это близость физическая, она ничего не разрешает и ничего не скрепляет. Я напрасно пытался ускорить развитие чувства, напрасно добивался этого страстными поцелуями, крепкими объятиями — оно было в вечернем молчании, в затаенной улыбке, в случайном, неожиданном прикосновении рук, когда одному хочется погладить руку другого, но он несмело останавливается на полпути. Надо же было мне так не понимать Анну, с таким жестоким равнодушием относиться к тому, чем она жила! Не хочется распространяться о том, как я постиг эту правду.

Я замечал не раз, что она помнила мельчайшие детали наших первых встреч, тогда как я не помнил почти ничего; я приписывал это женскому свойству помнить все — этого так часто недостает мужчинам.

Однажды вечером мы сидели, вернее, полулежали на тахте, покрытой тяжелым белым мехом. Усталый, я положил голову на плечо Анны и невидящими глазами смотрел в пространство. Низко висящая лампа освещала комнату голубоватым светом. Я говорил — уже не в первый раз — о том, как мы будем когда-нибудь жить вместе, как на пути встретится планета, такая маленькая, что только для двоих там хватит места, и мы поселимся на ней в маленьком домике среди звезд. И, говоря все это, я внезапно увидел в настенном зеркале лицо Анны.

Она слушала меня, а в изгибе ее губ таилась горечь, словно она хотела сказать: «Я знаю, что все это ложь, что

ты говоришь просто так, чтобы заполнить молчание, что каждое слово ты забудешь, едва его произнесешь, но это ничего, только говори, только говори еще...»

И в это мгновение я понял, что не давал ей ничего; она была для меня теплым, тихим убежищем от пустоты в долгие часы, недели и месяцы. Я привык к ней, как человек привыкает к какому-нибудь пейзажу; когда ее не было, я ощущал пустоту, но не в себе; в себе — это означало бы любовь. А она понимала это с самого начала и шла на все с какой-то спокойной безнадежностью, потому что любила меня. Я был для нее самым дорогим и в то же время чужим человеком, который равнодушно и беззаботно вторгся в ее жизнь и перевернул самые сокровенные воспоминания, как ребенок игрушки; временами я бывал нежным — а это еще хуже.

Я замолчал, не в состоянии вымолвить хотя бы слово.

— И что дальше?.. — тихо спросила она, слегка покачивая мою голову.

Я не смог ответить, горло будто сжала железная рука, и спрятался за поцелуем, чтобы она не прочитала по моему лицу, что я все понял.

Как бы мне хотелось сказать, что я в ту же минуту полюбил Анну и мы были очень счастливы. Увы, человеческие дела не решаются так просто.

Минула вторая зима нашего путешествия, настала вторая весна. В парке под лучами искусственного солнца все деревья проходили через обычные метаморфозы: когда солнце начинало пригревать сильнее, они покрывались листвой и зацветали; когда лучи становились слабее, загорались прелестными красками осени. Одна лишь канадская ель над ручьем, покрытая темной, почти черной хвоей, не изменялась. Ботаники впрыскивали в землю, откуда она черпала жизненные соки, специальные гормоны и другие препараты, но ель стояла — неподвижная, мрачная и равнодушная; словно разгадав их наивную игру и не желая быть частью фальшивого миража, она замерла в вечном сне. Но однажды утром по всему кораблю как электрическая искра пробежала весть: черная ель поверила в весну и ночью выбросила зеленые побеги...

Нас много собралось в парке. Никто ничего не говорил. Подгоняемые непонятным чувством, люди спешили сюда, молча смотрели на проснувшееся дерево и тихо, один за другим выбирались из круга, пока не осталось всего несколько

человек; кому-то захотелось сорвать светло-зеленую иголку, растереть ее между пальцами и вдохнуть запах смолы, но ему тут же строго выговорили. Наконец я остался один, сел под деревом и опустил голову на руки. К наивной радости, которую доставил мне вид дерева, примешивалась глухая печаль.

Я ощутил чье-то присутствие, поднял голову и увидел Амету и Зорина — они стояли рядом.

— Пойдем с нами, — сказал Амета. — Прогуляемся по смотровой палубе.

Мне совершенно не хотелось туда идти, особенно теперь.

— Не хочешь? — сказал Амета. — Пойдем, пойдем...

Я рассердился на Амету за такую настойчивость, но все же встал и неохотно двинулся за пилотами. Лифт поднял нас на палубу. Минуту спустя мы оказались во мраке, под звездами. Мне не хотелось на них смотреть, и я отвернулся, но спиной, кожей, всем своим существом ощущал разверзшуюся позади меня пустоту. Вот так мы и стояли в темноте, когда вдруг Амета сказал, как бы ни к кому не обращаясь:

— Мы живем не в доме, над которым плывут облака; мы несемся в Космосе. Можно себя обманывать и держаться так, будто все обстоит иначе, но это не лучший выход. Гораздо лучше признать тот факт, что мы находимся в пустоте... и даже исходить из этого. Правда, тогда появляется страх, и наше сознание пытается отгородиться от него завесой какой-нибудь огромной лжи. Нельзя этого делать. Нам не нужен лживый уют. Мы раздвигаем горизонты жизни, узнаем все больше нового. Так не будем же закрывать глаза! Только в этом и состоит смелость, которая от нас требуется. Не отвергай пустоту, не бунтуй против нее, потому что именно таков мир. Наш мир. Нужно только понять, что все это тем больше наше, чем оно труднее нам достается.

Звезды неподвижно тлели. Я молчал. Амета снова заговорил, словно продолжая прерванный разговор:

— У тебя есть какие-нибудь планы на сегодняшний вечер?

— Нет.

— Тогда приходи через час в детский парк. Ладно?

Детским парком называли зал, похожий на небольшой ботанический сад. Деревьев здесь было немного — низкорослых, с прочными изогнутыми ветвями, хорошо приспособленными для того, чтобы на них лазить. Для самых маленьких детей были устроены песочницы и небольшой грот, выложенный камнем. В центре сада бил фонтан.

Сегодня деревья и песочницы исчезли: видеопластики превратили зал в волшебный сад, где должен был состояться необыкновенный турнир — соревнование за титул лучшего сказочника. Претендентов на победу оказалось много. Они по очереди выходили на возвышение, окруженное слушателями-детьми, державшими в руках маленькие серебряные колокольчики. Выслушав сказку, дети позванивали ими, давая выход своим чувствам, а большой автомат в забавном одеянии, наполовину скрытый в тени пальмы, безошибочно измерял общую силу звука этих колокольчиков. Одним из лучших рассказчиков оказался Зорин; обычно неразговорчивый, он удивил нас сказкой «О радиоактивных великанах со звезды Алголь». И все же пальму первенства завоевал не он, а Тембхара. Автомат в волшебном облачении под аккомпанемент вспышек бенгальских огней назвал его имя.

Воспитатели начали разводить детей на отдых, причем не обошлось без плача: малыши надеялись, что будут еще развлечения. Наконец, осмотревшись, я увидел, что в зале остались только взрослые, и непонятная грусть закралась мне в сердце, будто с уходом детей я и сам расставался с юностью. Но тут на опустевшую трибуну легкими шагами поднялась Калларла и, улыбаясь, спросила:

— А может, еще одну сказку? Если хотите, я расскажу, чтобы вы не чувствовали себя такими старыми-престарыми...

Мы подобрали брошенные детьми серебряные колокольчики, и скоро зал наполнился их веселым звоном, а Калларла с лукавым и таинственным видом начала:

— Сказка, которую я расскажу вам, — почти была. Она называется «О смеющемся Тьюринге».

Наступила тишина, еще некоторое время слышались шаги обслуживающих автоматов. Потом утихли и они, а Калларла все молчала — с легкой улыбкой, блуждающей по губам, словно чего-то ждала. Чего? Может быть, ждала, чтобы вернулось настроение, которое охватило нас, когда в зале были дети?

Наконец она сказала:

— Слышала я этот рассказ от своей бабушки, женщины очень консервативной, которая... но, может быть, при сказках комментарии не нужны? Итак, я начинаю.

Она не смотрела на нас. Глаза ее, обращенные к искрящейся струе фонтана, стали неподвижными, приглушенный голос смешивался со звуком воды, падающей в каменную чашу.

— Давным-давно, больше тысячи лет назад, мир делился

на две части. В одной правили атлантиды. Каждый человек, как в минувшие времена, так и сейчас, вынашивает какую-нибудь мечту. Была она и у атлантидов. Их мечтой было уничтожить другую половину мира, которая не подчинялась их власти. И с этой целью они накапливали яды, взрывчатые и радиоактивные вещества, при помощи которых можно было отравить воздух и воду. Но чем большие запасы таких веществ они делали, тем больший страх охватывал их. Они покупали за золото ученых, чтобы те создавали самые совершенные машины для убийства. Однажды им стало известно, что на далеком острове за океаном живет ученый, по имени Тьюринг, умеющий создавать автоматы. Тогда об автоматах знали еще очень мало, и никто не представлял себе точно, для чего они могут пригодиться. Тьюринг строил разнообразные автоматы: одни делали машины, другие выпекали хлеб, третьи вычисляли и обладали способностью логически рассуждать. Он трудился сорок лет, пока не изобрел автомат, который мог делать все, что угодно. Этот автомат мог выплавлять металл из руды и шить сапоги, превращать один элемент в другой и строить дома. Он мог не только выполнять любую физическую работу, но также и думать — о чем угодно. Он мог ответить на любой вопрос и решить любую проблему, не было дела, которого бы он не выполнил, если ему поручили. Властители Атлантиды послали своих агентов с заданием купить Тьюринга, но ученый не согласился на это. Тогда они заключили его в тюрьму и похитили чертежи его изобретений. Старший из атлантидов просмотрел эти чертежи, созвал других и сказал: «Если у нас будет такой автомат, спросим его, как уничтожить уродов, которые хотят навсегда устранить войны». А другой властитель, седовласый, всеми почитаемый, добавил: «Он, кроме того, скажет нам, как отучить наших подданных от мышления, потому что мыслящие люди неохотно умирают во славу нашего золота». Все присутствующие зааплодировали ему и решили: построим Большой Генеральный Автомат Тьюринга, будем всемогущими и никто в мире не сможет противостоять нам.

Затем собрали семь тысяч счетных работников (тогда люди еще считали в уме), чтобы те подсчитали, сколько золота понадобится на оплату строительства. Вслед за ними собрали семь тысяч инженеров и конструкторов, и те семь лет готовили чертежи. Еще до того, как проект был закончен, первые бригады рабочих отправились готовить строительную площадку в Аламогордо, посреди огромной песчаной пус-

тыни Новой Мексики, было собрано семь раз по семь тысяч рабочих. Они жили в бараках из жести, по ночам страдали от холода, а днем изнывали от страшной жары. Соленый песок выедал им глаза и легкие, болезни истребляли их, но на смену умершим стогнали все новых рабочих, которые копали огромные котлованы под фундаменты, пробивали шахты и галереи в скалах, а над ними возвышались длинноногие землеройные машины, похожие на гадов, живших сто семьдесят миллионов лет назад. Эта стройка длилась семь лет и еще семь лет, и через четырнадцать лет сто тысяч акров земли были покрыты металлическими башнями и домами и отгорожены от остального мира высокими стенами. Наступил день, когда ушли последние из тех, кто выполнил эту гигантскую работу, и ворота закрылись.

Строительные площадки опустели, кругом воцарилась тишина; только ветер свистел высоко в натянутых проводах, да по гравийным дорожкам шагали охранники с собаками. Так продолжалось семь дней, пока однажды темной, безлунной ночью у восточной стены не остановился экипаж, называемый бронированным автомобилем. Из него вышли семь человек, управляющих Атлантидой. Первый был хозяином ее железа, второй — угля, третий — нефти, четвертый — дорог, пятый — хлеба и мяса, шестой — электричества, а седьмой — армии. С ними приехал восьмой — бледный юноша, сын одного из властителей.

Навстречу им поднялся из-под земли главный инженер стройки и низко поклонился прибывшим. Властители вышли из автомобиля и увидели раскачивающиеся высоко за стенами лампы, подвешенные на проволочных канатах, а в их беспокойном свете — черные блоки и башни, стоящие рядом, как шеренги солдат; это была лишь видимая, размещенная на поверхности земли, небольшая часть Генерального Автомата Тьюринга, который уходил глубоко под землю, в галереи и залы, вырубленные в скалах пустыни. К черным дверям в стене с обеих сторон приблизились охранники, двери открылись, и посетители вошли внутрь; там их ждала застекленная вагонетка, которая сейчас же двинулась в путь.

Они ехали по залам, залитым холодным синим светом, по зданиям, как бы перевернутым вверх ногами и вдавленным в скалу, а над их головами темнели несчетные лианы проводов, висевших на огромных грибообразных изоляторах. Они проезжали мимо вмонтированных в стены триггерных ячеек; миновали шахты, у которых стояли на страже брони-

рованные автоматы; вагонетка уходила все дальше в глубину, а инженер объяснял им все и говорил, что в подземельях одних лишь главных приборов больше, чем секунд в жизни человека. Они ехали дальше, спускаясь с одного этажа на другой; за стеклом извивались коридоры, взгляд терялся в лесу проводов. Вагонетка скользила под толстыми медными трубами. Иногда где-то в глубине сверкал рубиновый фонарик, мрак густел, а вагонетка с ритмическим стуком опускалась все ниже и ниже. И весь этот необъятный и неизмеримый лабиринт был мертв: ни один импульс тока еще не прошел через миллиарды километров проводов, оплетающих медный мозг машины. Властители ехали долго, пока за стеклами не засверкали лампы, осветившие влажные стены туннеля. Вагонетка затормозила и остановилась. Они были у цели. На самом нижнем этаже этой гигантской постройки находилась небольшая бронированная комната яйцевидной формы. Они вошли туда. На черных стенах размещались контрольные часы — семьсот семьдесят семь часов. Посреди комнаты было возвышение. На нем стоял черный микрофон, а под бриллиантовым колпаком виднелась кнопка. И больше ничего. Отсюда надо было отдавать приказы Большому Генеральному Автомату Тьюринга.

Инженер объяснил, что автомат может с равным успехом выращивать экзотические цветы, закладывать сады и уничтожать людей. Автомат не имел никаких предохранительных устройств, подобных тем, какие есть у современных автоматов, и вообще совершенно не был похож на них. Это был дикий, варварский автомат, своими размерами в миллионы раз превышавший пирамиды.

Они встали у возвышения. Наступила тишина. Хотя под сводами пылали семь люстр, черные стены поглощали свет. Вообще-то пуск Большого Генерального Автомата Тьюринга должен был состояться позднее, но главный инженер, стремясь выслужиться перед властителями, предложил испытать его теперь. Уже несколько лет его самого мучило ожидание, и в глубине его сознания таилась сокровенная мысль: он понимал, что тот, кто окажется у микрофона пущенного в ход автомата, станет могущественнее ассирийских и вавилонских магов, которым служили демоны. И когда первый властитель спросил: «А что нужно сделать, чтобы привести автомат в действие?» — он ответил: «Властитель, нажмите вот эту черную кнопку, она поднимет затворы в плотинах, и воды реки Святого Хуана устремятся на лопасти семидесяти семи турбин, возникнет ток, который насытит металличе-

ские внутренности автомата, и в его органах забьется электрический пульс». Тогда властитель, несколько взволнованный, потому что он любил великие и необыкновенные дела, нажал кнопку пухлым пальцем. Стрелки на всех циферблатах качнулись, лампы открыли свои красные глаза и взглянули на людей, а над головами вздрогнуло и пришло в движение все пространство площадью в сто тысяч акров.

Вращались и пытели машины, тысячи катодов вакуумных трубок раскалились докрасна, реле начали включаться и выключаться, и через все катушки, соленоиды и обмотки прошел ток. Но в черной комнате были видны лишь неподвижные циферблаты часов, да в репродукторе слышался глухой шум: гигант, обладавший медным мозгом, был уже оживлен, но еще спал и, казалось, храпел.

Тогда властители поняли, что перед ними — всемогущее существо, бог, которого они сами создали и который сделает все, что ему прикажут. Когда они вдумались в это, то в глубине души испугались, как при взгляде в пропасть: они не привыкли к тому, что можно быть всемогущим. Каждый подумал, что автомат по его приказу может уничтожить сокровища шестерых других властителей и лишить их жизни, но отгонял эту назойливую мысль во имя интересов новой войны, которую они решили затеять.

Восьмому из них было всего восемнадцать лет, он был сыном хозяина железа, самого богатого из всех, потому что из железа производились все орудия истребления. Этот властитель умел как никто другой торговать кровью, на его заводах стучали тысячи стальных молотов — для того чтобы в далеких землях перестали биться тысячи живых сердец. А его сын был еще мальчиком, бледным и печальным. Он познал вкус всех плодов земли, всех ядов, возбуждающих ослабленные нервы, и все удовольствия, которые можно получить за золото. Поэтому мир казался ему полным безграничной скуки и в поисках еще не изведанных переживаний он охотно погружался в лабиринты темных философских учений.

Люди стояли неподвижно, подавленные собственным ничтожеством по сравнению с машиной, не пытались вымолвить ни слова и лишь вслушивались в мерный гул, говоривший о том, что чуткий и покорный гигант замер в ожидании. Но вдруг бледный юноша вышел вперед и задал вопрос:

— Зачем мы живем?

Охваченный ужасом, его отец хотел побранить юношу, но не успел открыть рот, как автомат пришел в движение.

Лампы начали мигать, свет ослабел, темные стены, казалось, то подступали к ним, то снова отступали; из репродуктора вырвался железный вздох, за ним другой, третий, четвертый, с каждым разом все сильнее. Пол задрожал, с него поднялась пыль, от этих ужасных толчков у присутствующих подкосились ноги. В грозном скрежете и грохоте все бросились к двери, толкаясь и в панике сбивая друг друга с ног: они поняли, что машина смеялась...

ПЕТР С ГАНИМЕДА

Я давно не вспоминал о Петре. Состояние его здоровья не изменилось за двадцать месяцев, какие прошли с момента первой операции. Она спасла ему жизнь — и только. Повреждения мозга приостановили мыслительный процесс. Он не умел ни говорить, ни писать, ни читать и в довершение всего страдал слепотой. Нет, он не был совершенно слеп, он видел, его глаза реагировали на свет, но центр зрения в его мозгу был как бы островом, отделенным от центров памяти, и поэтому Петру был доступен только какой-то нисвообразимый хаос цветовых пятен и фигур. Совершенно беспомощный, он и передвигался как слепой.

В этом состоянии он оставался до следующей операции, которую мы сделали на второй год полета. После нее началось выздоровление, но тянулось оно очень долго. К нему медленно и с трудом возвращалось нормальное мышление. Он заново учился говорить. По вечерам я занимался с ним. Это требовало много терпения, но я не жалел усилий — результаты занятий их стоили.

К концу второго года Петр почти ничем не отличался от любого из нас, с той только разницей, что факты из своей биографии он знал не потому, что пережил, а потому, что выучил их. Мы рассказывали ему про его собственную жизнь то, что нам передали по радио с Земли; задержка сигналов в пути, к счастью, в этом случае не имела значения: в то время, когда они догоняли корабль, они были еще бесполезны для Петра.

Петр уже сидел в глубоком кресле; он очень исхудал, но силы его восстанавливались с каждым днем, и он все чаще говорил, что хочет примкнуть к группе молодежи, изучающей звездоплавание. Мы от всей души приветствовали это желание, так как были убеждены, что работа поможет ему вернуться к нормальной жизни. Рассудив, что Петру уже

можно знать все, что произошло с ним за последние два года — тем более, что это беспокоило его, — мы с Тер-Хааром рассказали ему, как он очутился на «Гее».

Я очень осторожно поведал ему об эксперименте, который мы проделали при исследовании его мозга. Петр выслушал спокойно, почти безразлично, но потом оживился, глаза его заблестели так, что я испугался, не вернулась ли нервная лихорадка, долгое время мучившая его. Вечером он сказал мне, что хочет поделиться с теми, кто спас ему жизнь, своим единственным уцелевшим воспоминанием. Я попытался было отговорить его, но он так настаивал, что, посоветовавшись с Анной и Шреем, мы согласились. Кроме врачей и Тер-Хаара при его рассказе присутствовал Амета, чье общество всегда удивительно ободряло нашего больного. Петр говорил короткими фразами, часто останавливался и вопросительно поглядывал то на меня, то на Анну, как бы в молчаливой надежде, что мы подскажем ему нужное слово. Рассказ прерывался долгими паузами. Иногда он задумывался и в молчании, закрыв глаза, силился восстановить какую-то стертую, утраченную деталь. Порой ему это удавалось, но иногда он покачивал головой со слабой, беспомощной улыбкой, которая означала «забыл». Он походил на человека, который вернулся в родные края, нашел пепелище на месте своего дома и, стоя на руинах, пытается по каким-то осколкам воссоздать памятный ему одному образ целого. Может быть, именно поэтому его суровый и простой рассказ потряс нас. Я передаю этот рассказ не в том искаженном виде, в котором слышал сам, но переписав и заполнив пробелы по сообщениям с Земли. Вот история Петра с Ганимеда, потерпевшего крушение в межзвездном пространстве, его единственное воспоминание, которое оказалось сильнее катастрофы.

Его детство было таким же, как у сверстников. До семи лет он жил у деда с бабушкой в большом заповеднике евразийского природного парка, что на Памирском плоскогорье, и лишь два месяца в году проводил в старом доме родителей на Висле. Затем поступил в школу; изучая географию и геологию, путешествовал по морям и континентам Земли, изучая историю, посещал старые музеи и смотрел коллекции. Летом были вылазки в горы и экскурсии по руслам рек. Позже начались самостоятельные опыты по физике и химии, полеты на ракетах в обществе воспитателей и сверстников, экскурсия с осмотром моделей планет в Детском межпланетном парке и, наконец, первые две недели в обсерватории шестой космической станции.

Это было время ярких снов и мечтаний об открытиях, о необычайных приключениях на далеких планетах, о грозных силах, с которыми он собирался сражаться.

Он рос, и окружающее постепенно становилось понятным. Юношеские мечты смещались в области все более далекие и менее реальные. Он уже изучал общие основы наук и был убежден, что таинственное — если оно вообще существует — можно найти только в отдаленных уголках Вселенной. В семнадцать лет стал посещать политехнические институты и разные лаборатории, чтобы, познакомившись со многими видами человеческой деятельности, выбрать тот, которому стоит посвятить себя навсегда. Вначале он заинтересовался астрономией, но в конце концов поступил в Институт общего и экспериментального звездоплавания.

Через три года он завершил начальный курс и стал готовиться к четырехлетнему периоду более самостоятельных исследований. Именно тогда на его долю пришлось и первый успех, и первое крушение. Профессор Диаадик, оценивая результаты работы своих учеников, признал, что самые большие надежды подает Петр. Но вскоре к радости успеха примешалась горечь поражения, которое он потерпел в борьбе с неведомой силой, открытой, однако, не на далекой звезде, а в себе самом.

Он познакомился с девушкой, тоже студенткой. Их объединяли общие интересы и надежды; через год они подружились, стали близкими людьми. Было даже забавно, насколько они временами одинаково думали; впечатления от музыки или живописи, возникавшие у одного, всегда дополнялись впечатлениями другого. В ту пору Петр работал гораздо больше, чем когда-либо. Он никогда раньше не был так уверен в успехе и не штурмовал препятствия с такой решимостью. Он непрерывно искал новые дела. Иногда им овладевало непреодолимое желание отправиться в одиночку на какую-нибудь горную вершину; в то время он совершил несколько трудных, весьма рискованных восхождений. Однажды вечером, оставшись в лаборатории наедине с девушкой и глядя, как она, легкая и сильная, работает у аппаратов, он вдруг с замиранием сердца понял, что его борьба с самим собой, стремление уединиться, непонятная ему самому задумчивость, жаркие сны, невысказанная тоска — все это объясняется одним словом: любовь.

Не сразу и не скоро он сказал ей это слово. Когда же решился, все сейчас же рухнуло: оказалось, что он ей очень симпатичен, она его ценит, уважает, но не любит. После ре-

пительного объяснения он несколько месяцев не видел ее. Когда они увиделись вновь, он не стал ей ничего говорить, и, что самое удивительное, к этому времени он почти перестал думать о ней. Только изредка по ночам, при свете низко опущенной лампы, когда он корпел над своими материалами, его взгляд временами уходил за пределы освещенного пространства на столе и устремлялся в темноту, пустую и черную, как межзвездное пространство. Тогда на него накатывалась внезапная, как молния, волна грусти, такая сильная, что перехватывало дыхание. Он опускал голову и возвращался к своим расчетам, бессмысленно повторяя последние написанные фразы.

Занятия продолжались; минул год и другой. Петр приступил к дипломной работе. Он жил в филиале звездоплавительного института на Луне. Там он закончил работу и прилетел на Землю, чтобы сдать ее своему учителю Диаадику. Собираясь до ночи вернуться на Луну, но встретил одного из своих старших товарищей, и тот сказал ему полшутя: «Это нехорошо, что ты не показываешься у нас. Дочка все ждет, когда ты расскажешь ей обещанную сказку». — «Ну, раз обещал, скажи, что я завтра приеду», — серьезно ответил Петр.

У него было несколько свободных часов, и он отправился в большой парк при институте; здесь он встретил ту, которую не видел два года. Она очень обрадовалась ему и предложила погулять вместе. Они полетели в ближайший заповедник, ходили до захода солнца по зарослям вереска; она нарвала огромный букет. Наконец, разогретые солнцем, уставшие, сели отдохнуть на южном склоне холма, покрытого высокой густой травой.

Солнце уже скрылось за горизонтом, листва трепетала под прохладным дыханием надвигающейся ночи. Вдруг в северо-восточной стороне вспыхнул ослепительно яркий свет, молния прорезала тучи, поднялась к зениту и исчезла; минутой спустя сверху донесся нарастающий грохот, похожий на раскаты отдаленной грозы.

— Это была последняя ракета на Луну, — сказала девушка. — Она улетела без тебя, ты останешься на завтра?

Он не ответил. Сумерки сгущались. В тучах еще был заметен фосфоресцирующий свет; наконец он исчез. Лицо его спутницы становилось все менее различимо. Ночь разделила их, и он молчал, опасаясь, что его слова канут в пустоту. Он сидел неподвижно, ослепленный темнотой; казалось, что сам воздух превращается в какую-то невесомую субстан-

цию, которая включает все окружающее в бесформенные коконы. До него доносился только шелест невидимых листьев, касающихся друг друга, — звук то более громкий, то совсем слабый. В этом неумолчном звуке было что-то невыразимо равнодушное и оттого — жестокое.

Молчание тянулось долго.

— Пора идти, — сказала она полупшепотом, словно здесь был еще кто-то кроме них. — Уже поздно...

— Жаль, что я не вызвал гелиоплан, полетели бы, — сказал он, вставая.

— Ничего... Только я не знаю, как нам выйти отсюда, Петр.

— Будем ориентироваться по звездам и поищем аэропоезд. Он проходит где-то неподалеку. Смотри вверх. Видишь — Большая Медведица? А дальше — Полярная звезда.

Они добрались до голой, плоской вершины холма. Едва различимые звезды лишь усиливали темноту. Определив направление, они стали спускаться вниз. Ноги путались в высокой, влажной от росы траве.

— Ты уже слышал, — спросила она его, немного помолчав, — что больше не будут сбрасывать воду из океанов за пределы атмосферы?

— Это работа по плану расширения континентов?

— Да, до сих пор воду сбрасывали и не использовали. Теперь Институт аэрологии разработал проект — использовать ее для орошения засушливых планет. Смотри-ка, здесь, кажется, можжевельник: я укололась. Ага, вот начинается тропинка! По ней куда-нибудь да придем. Так вот, профессор нас всех перевел на новую работу, очень интересную...

Тропинка, по которой они шли, вилась вдоль высокого, буйно разросшегося кустарника. На повороте с левой стороны открылся вид на широкие просторы. Очень далеко, в поднебесных высях, двигалось светящееся облако; остановилось, поползло назад.

— Видишь? — Она показала в ту сторону. — Поздена ставит свои опыты... Жаль, что ты не задержишься здесь... Я показала бы тебе все новое... мы за последнее время много сделали.

— Нет, — вырвалось у него, — я не должен был приезжать!

Она остановилась. У мелких листьев кустарника была светлая изнанка, и, когда под дуновением ветра они поворачивались, казалось, что из темноты смотрят десятки белесых глаз. Он видел не девушку, а лишь беспокойное трепе-

тание листьев, на фоне которых в ореоле призрачных огоньков неясно выделялась ее фигура.

— Почему, Петр? — тихо спросила она.

— Не надо говорить об этом, — попросил он.

Он внезапно почувствовал усталость. Если бы не говорить, не думать, а только вот так идти с нею сквозь эту темноту, идти, идти...

— Петр... я думала, что... Я же не хотела, понимаешь... Я думала, что за эти два года... — Она не закончила фразу.

— Что я за два года забыл? — Он улыбнулся невидимой в темноте улыбкой. Он чувствовал только безмерное, убаюкивающее спокойствие этой ночи, ничего больше. — Не говори так, — добавил он тоном, каким говорят с ребенком. — Ты не понимаешь этого... и я не понимаю, но... дай руку.

Она протянула ему руку, он схватил эту руку в темноте. Голосом, таким легким, что он едва различался в непрерывном шелесте листьев, Петр заговорил:

— Все, что бы со мной ни случилось, сначала не существует, потом надвигается, длится и исчезает, а ты остаешься. Я не знаю почему и не спрашиваю об этом. Твои пальцы, твои губы — мне кажется, они принадлежат мне, кажется, что они — мои собственные... Я не удивляюсь этому, хотя по временам могу против этого бунтовать... Но кто же, подумай, бунтует всерьез против собственного тела? Ты не дорога мне, как не дорого собственное тело, но ты необходима мне, как необходимо оно: без него я не мог бы существовать. Я касаюсь твоей руки. Как высказать тебе это? Бессмертия нет. Мы все это знаем и в этом убеждены. Но сейчас, сию минуту, бессмертие есть. Потому что я чувствую твою руку — это объяснение и ответ. Я касаюсь твоей руки — и словно узнаю всех забытых, загубленных, узнаю все печали и горести людей... И каково иное бессмертие, если не это?

Ты молчишь? Это хорошо. Не говори мне «забудь». Не говори так, ведь ты умная. Если бы я забыл, то не был бы собой, ибо ты вошла в меня, слилась с самыми давними воспоминаниями, дошла туда, где еще нет мысли, где даже не рождаются сны, где все происходит стихийно, где мои истоки... Если бы кто-нибудь вырвал тебя из меня, осталась бы одна пустота, будто меня никогда не было, — я должен был бы отступить, отказаться от себя самого.

Знаешь, почему я выбрал работу в лунной обсерватории? Мне хотелось забыть тебя, но все равно — глядя на голубую Землю, чувствовал, будто смотрю на тебя. Я думал, что расстояние слишком мало, но это глупости. Потому что ты всю-

ду, куда я ни посмотрю... Прости, не сердись... Ах, что я говорю. Ведь ты понимаешь, зачем я это сказал? Не для того, чтобы убедить тебя или объяснить что-нибудь: этого не нужно объяснять, как человеку не объясняют, зачем он живет. Я говорю это, потому что листья с деревьев опадают и вновь вырастают, потому что камень, брошенный рукой, падает, потому что луч света, двигаясь вблизи мощной звезды, огибает ее, потому что ледники увлекают за собой валуны, а реки несут воды...

Я знаю: то, что я ощущаю, для тебя бесполезно. Но наступит время, когда у тебя будет многое позади, а впереди останется мало, и ты, возможно, будешь искать в воспоминаниях какую-то опору, что-то, с чего начинается счет или на чем он заканчивается. И ты будешь совсем другой, и все будет другим, и я не знаю, где я буду, но это не имеет значения. Подумай тогда, что мое звездоплавание, так же как мои сны, голос и заботы, мысли, еще неизвестные мне, мое нетерпение и моя робость — все это могло быть твоим, и ты могла приобрести целый мир. И когда ты подумаешь так, будет не важно, что ты не сумела или не захотела этого. Важно будет лишь то, что ты была моей слабостью и силой, утратой и обретением, светом, темнотой, болью — и значит, жизнью.

Наклонившись, Петр поднес ее пальцы к своему лицу.

— Чувствуешь этот твердый изгиб — это черепная кость. Когда-нибудь она выйдет из плоти, свободная и обнаженная. Но это ничего. Хотя все на свете — только мимолетные сочетания атомов, это мгновение все равно сохранится. Оно останется нетленным в прахе, в который обратится моя память, потому что оно сильнее, чем время, чем звезды, сильнее, чем смерть.

Он говорил все тише, под конец почти неслышно; умолк. Казалось, он перестал дышать. Потом отпустил ее руку — осторожно, словно возвращал ей что-то очень хрупкое, и первым двинулся в путь.

Тропинка вела сначала прямо, потом повернула и разделилась на две. Он свернул налево. Тучи напозлали, все больше закрывали небо; ветер усиливался. Они шли молча, и вдруг из-за живой изгороди послышалось медленное позвякивание; оно затихло, когда они подошли поближе, снова усилилось, сделалось равномерным — лязгали невидимые ножницы.

— Есть здесь кто-нибудь? Кто там? — громко сказал Петр, поворачиваясь в ту сторону.

— Здесь я... Сигма-шесть, — ответил металлический ба-
ритон.

Петр пошел на голос, но наткнулся на плотную стену ко-
лючего кустарника и остановился.

— Сигма-шесть, как до тебя добраться? Есть тут дорога?

— Если не можешь... пройти, значит, ты человек. Иди
десять метров прямо, там есть просека, — ответил голос.

— Сигма-шесть, дай сигнал.

В глубине зарослей вспыхнул малиновый шар с зелеными
полосками. Петр и девушка пробрались сквозь низко остри-
женный кустарник на поляну. В зарослях стояла трехногая
машина. Одна из ее антенн была освещена сигнальной лам-
пой; металлический кожух машины, покрытый срезанными
ветвями и крупными каплями росы, похожими на слезы, то-
нул во мраке.

— Сигма-шесть, где проходит поезд? — спросил Петр,
подошел к машине и положил руку на ее холодный кожух.

— Платформа находится в четырехстах метрах на севе-
ро-восток, — сообщила машина.

Голос ее постепенно затихал, слова звучали с большими
паузами.

— Какая-то заблудшая сигма. Похоже, она разряже-
на, — сказал Петр. — Ты заметила, как смешно она заика-
ется?

— Я не... раз... ряжена... — ответила машина с металли-
ческим скрипом, в котором слышался странный оттенок оби-
ды. — У меня... сгорела... моду... ляционная... обмотка.

Она вздохнула еще раз и умолкла.

Петр двинулся в указанном направлении, придерживая
упругие ветки, чтобы они не били идущую за ним девушку.
Вскоре сквозь темноту стал просачиваться откуда-то снизу
оранжеватый блеск. Из зарослей они вышли на широкую
равнину, по которой проходила труба аэропоезда; ее стены
тускло светились. Поодаль возвышался полукруглый купол
станции. Здесь от магистрали отделялась боковая ветка, со-
стоявшая из коротких труб; все это напоминало разложен-
ные на земле трубы исполинского органа. Они поднялись по
ступенькам, все еще молча. Петр нажал кнопку вызова; де-
вушка оперлась о металлические двери. Ее лицо сделалось
неподвижным, она как будто замкнулась в себе. На мгнове-
ние ее губы дрогнули. Она открыла рот, словно хотела что-
то сказать, но только вздохнула. Наконец раздался сигнал,
раздвинулись двери маленького вагончика.

Петр протянул руку. Девушка сначала засуетилась, буд-

то не хотела пожать ее, потом сама схватила его за руку и проговорила поспешно:

— Петр, поверь... Я хотела бы... прости меня...

— Это ты меня прости, — прервал он спокойно. — Я иногда бываю безрассуден, особенно ночью...

— Ты не поедешь со мной?

— Нет, пройдуся немного. Доброй ночи.

Двери закрылись. Вагончик, втянутый пустотой, перескакивал из одного сегмента трубы в другой, набирая скорость. Несколько мгновений на стеклянной ограде отражался пробегающий волнами свет, затем угас, и остался лишь оранжевый отблеск. Петр посмотрел на сомкнувшиеся двери, как бы удивляясь неожиданному исчезновению девушки, потом легко сбежал по ступенькам вниз.

Скоро он очутился в зарослях и долго шел вслепую, ощущая лбом, щеками и невидящими глазами ветер, который овеивал и его, и вырисовывавшиеся темными силуэтами кусты и деревья. Он дышал глубоко и все ускорял шаг. Ему казалось, что он слышит остающийся где-то позади, за спиной, далекий, но мощный шум волн, и он чувствовал себя так, словно после многодневной борьбы с морем вышел на сушу и теперь идет в темноте по пескам неизвестного побережья, обнаженный, обессиленный, не чувствуя ни сожаления о том, что поглотил океан, ни радости спасения.

В разрыве туч мелькнула одинокая звезда. «Марс», — подумал он и пошел дальше. Руки сами раздвигали ветки, мокрые листья легко, но как-то тревожно касались его лица. Эти непрерывные, деликатные, как бы вкрадчивые прикосновения вселяли в него глубокий покой — все уплывало, уходило, затихало. Вдруг, еще не зная почему, Петр остановился. Он узнал огромный куст с белесыми на изнанке листьями — место, где он говорил с нею. И тогда от сознания, что теперь через это место он пройдет один, его охватила тоска, какой он не испытывал никогда. Он отошел назад и побежал, спотыкаясь, наугад. Продирался сквозь кустарник, невидимые ветки хлестали его по лицу, пульс грохотал, но он бежал и бежал в темноту, пока не очутился на свободном пространстве. Заросли кончились. Он остановился так же внезапно, как побежал.

«От кого я убегаю? — подумал он. — От себя? Нужно что-то сделать...»

Он дышал все глубже. Сильный, ровный ветер наполнял прохладой легкие, придавал силы, а ночь была темная и бесконечная. Последняя звезда исчезла в тучах. Он ничего не

видел и не слышал. Медленно опустился на корточки, потом сел, вытянув ноги, на отяжелевшей от росы траве. Плечо наткнулось на что-то твердое, но он даже не любопытствовал, что это. В голове мелькали обрывки воспоминаний о пережитой ночи. Он не мог совладать со своей памятью, лавина ассоциаций неслась беспорядочно, путались слова, интонации, картины. Вдруг он услышал ее голос: «Петр!..» Иллюзия была так сильна, что он, казалось, ощутил колебания воздуха, вызванные ее голосом. Глухой стон, похожий на рыдание, вырвался из его груди. Тогда откуда-то сверху до него донеслись медленно сказанные слова:

— Человек, что ты делаешь?

Он увидел темное, огромное, словно измятое тучами небо, из которого — подумалось ему — много веков назад вытеснили Бога, утеху слабых и побежденных. Услышал удары своего сердца: они отдавались эхом в глубокой тишине, будто оно билось в опустевшем, запертом доме.

— Человек, — снова послышался неизвестно откуда доносившийся низкий, медленный голос, — ты заблудился?

Петр молчал.

— Чего ты хочешь? Спрашивай, я буду отвечать.

Петр сидел, ссутулившись, опершись плечом на невидимую твердую стену за спиной. От холодного прикосновения у него затекло плечо. Его словно бы вырвали из крепкого сна. Он прошептал:

— Но почему все так?

— Я не понимаю. Повтори, что ты сказал. Если ты заблудился, я укажу тебе направление.

— Мне некуда идти.

И снова настала тишина. Ветер с горы обдувал холодный, влажный лоб Петра. Им стало овладевать неясное желание продолжить этот бессмысленный, никчемный и одновременно необходимый ему разговор. Он не ощущал сейчас ничего, совсем ничего, и эта внутренняя пустота помогала преодолевать боль. Все, что с ним происходило, было одновременно и сном, и явью. Он как бы находился внутри подводного корабля, который с ним вместе погружался в бездонную глубь. Он ощущал темную массу воды за стенами, он чувствовал, как она давит снаружи, выгибает стальную обшивку и бесшумно проникает внутрь, сметая на пути одну перегородку за другой. А корабль продолжал погружаться. В этом полубредовом состоянии Петр протянул руку, чтобы коснуться стальной перегородки, в существование которой он на миг уверовал, чтобы проверить, не прогнул-

лась ли она. Пальцы нащупали холодную сталь, но это была не стена.

— Чего ты хочешь? Скажи, человек, — снова слышался голос.

— Я не хочу ничего. Ты не можешь мне помочь.

— Почему? Не понимаю. Ты потерял что-нибудь?

Этот смешной вопрос тронул Петра.

— Да, — сказал он, — потерял.

— Что ты потерял?

— Все.

— Все? Это ничего. Ты можешь каждую вещь получить снова.

— Тебе так кажется? Каждую вещь? Даже весь мир?

— Весь мир принадлежит людям. Значит, и тебе.

— Если мир не с кем разделить, он бесполезен.

— Не понимаю. Повтори фразу.

Петр вдруг сообразил, с кем он ведет этот странный разговор. Сознание, а вместе с ним и боль возвращались к нему.

— Все равно ты не поймешь, — сказал он. — Ты не можешь мне помочь.

— Я здесь, чтобы служить тебе.

— Знаю. Ты приносишь пользу людям... но я... мы ценим больше всего то, что тебе недоступно. Понимаешь, у меня нет ничего, совсем ничего, но я могу одарить других людей очень многим. Больше всего может отдать другим тот, кто потерял все. Тебе это понятно?

— Непонятно, — ответил голос — то ли покорно, то ли неохотно, но это, наверное, почудилось Петру. Сам не зная почему, он вдруг вскочил на ноги и повернулся туда, откуда доносился голос.

— Слушай... — вдруг сказал он шепотом. — Сигма, слушай...

— Я слушаю тебя.

— Убей меня!

Наступила тишина, в которой судорожное дыхание человека, похожее на рыдание, сливалось с однообразным шумом ветра.

— Не понимаю. Повтори фразу.

— Ты — машина, которая служит людям. У тебя механическая память, и все, что в ней записано, ты можешь стереть, как будто этого никогда не было. Никто этого не узнает, никому это не принесет вреда. Сигма, спаси меня! Убей меня, слышишь?

— Не понимаю. Что значит «убей»?

В Петре словно что-то оборвалось. Он навалился на металлическую холодную плоскость машины и тут же отскочил назад.

— Нет! — простонал он. — Нет! Я ничего не говорил. Молчи! Не отвечай ничего. Забудь! Слышишь! Забудь!

Он дышал тяжело. Воздух словно застревал в горле.

— Ты металлическая... мертвая... машина... Ты ничего не чувствуешь, не знаешь, ты не понимаешь, что значит отчаяние, мука, ты не знаешь ничего. Как хорошо тебе... А у меня... нет больше сил. Нет сил, но я знаю, что они нужны мне, а это уже много... Я... Забудь этот разговор, сигма, слышишь?!

— Не забуду, — возразила машина.

— Почему?

— У меня перегорела обмотка. Когда починят, забуду.

Петр рассмеялся.

— Ах, так? Ну, хорошо. Может быть, и меня починят, и я забуду...

Он повернулся и пошел прямо. И снова продирался сквозь густые заросли, пока не вышел на край поля. Стало холоднее, одежда все больше пропитывалась влагой. Он провел рукой по лицу, будто хотел стереть наваждение.

Сквозь тучи проступал фиолетовый рассвет. Начинался новый день. Из тьмы появлялись контуры деревьев, ветер ослабел, было удивительно тихо. Земля лежала перед ним — огромная, лишенная красок, как бы испепеленная ночью. Где-то у горизонта, в доме, вспыхнул огонек — мерцающая земная звездочка. Петр прикипел к нему взглядом. Где-то там бодрствовали люди, где-то, как всегда, шла работа. На далеких ракетодомах приземлялись корабли. В лабораториях люди с сосредоточенными лицами склонялись над аппаратами. Его коллеги в обсерватории сбрасывали на стальной пол покрытые изморозью скафандры и поглядывали на циферблаты часов. Они ждали его. В далекой Силистрии уже было утро, маленькая девочка говорила маме: «Я не поеду с тетей на экскурсию, потому что сегодня приедет дядя Петр и расскажет мне сказку». Петр поднял руку к лицу, протер глаза и пошел к станции, навстречу светлеющему пространству, будто отдавая себя под его защиту.

Окончив рассказ, усталый юноша быстро уснул. Я знаком попросил всех уйти; мы с Анной задержались ненадолго у постели. Дыхание Петра становилось все медленнее и глубже, прижатая к груди рука несмело пошевелилась, будто по-

гладила что-то, потом упала и неподвижно замерла на краю постели.

Мои товарищи стояли в холле у большой араукарии. Что-то внезапно побудило меня раскрыть двери моей квартиры.

— Заходите, — сказал я приглушенным голосом, хотя до изолятора, где лежал Петр, отсюда не мог долететь никакой звук.

Они вошли. В комнате было уже темно: синева океана за окном сгущалась, но я не зажег света. Мы уселись поудобнее, вглядываясь в голубой сумрак за окном; над горизонтом сверкал высокий серебристый султан зодиакального света, и звезды, искусственные, но прекрасные — мерцающие земные звезды — заполняли небосвод.

Мы вели какой-то вроде бы беспорядочный, с длинными паузами разговор, это было не случайно: мы думали об одном и том же. Вдруг дверь распахнулась так резко, что ветер прошел по комнате. Это вошел Нильс Ирьола — по вечерам он иногда бывал у меня. Он было попробовал понять по отдельным репликам, о чем мы говорим, и наконец спросил:

— Извините, можно ли узнать, о чем вы беседуете?

— Помнишь, я рассказывал об исследовании мозга Петра? Как в нем внезапно изменились токи, когда Анна спросила его...

— Конечно, помню, — прервал меня Нильс.

На фоне стекла четко проступал его мальчишеский профиль, более темный, чем синева за окном.

— Петр сейчас пересказал нам единственное уцелевшее воспоминание — о своей любви.

— И вы вот над этим размышляете в потемках? — спросил Нильс.

— Да. Это, видишь ли, была любовь довольно редкая и грустная — неразделенная.

— Ага, несчастливая любовь. — Мальчик наклонил голову и, немного помолчав, сказал с оттенком осуждения в голосе: — Да, случается и несчастливая любовь. Я читал об этом. Конечно, есть дела поважнее, но и это тоже бывает, я понимаю. В будущем, очевидно, такие случаи будут невозможны.

— Что ты имеешь в виду? — спросил я.

Нильс отвечал:

— Просто можно будет как-то изменить психику этого человека...

— Чтобы он «отлюбился»? — спросил из своего угла самым серьезным тоном Амета.

— Можно и так, но не обязательно. Ведь можно изменить психику и того, другого человека... Я читал где-то, что по желанию можно вызывать инстинкт материнской любви у животных, вводя им соответствующие гормоны. Это происходит в результате воздействия химических элементов на кору головного мозга. С человеком, конечно, будет труднее, но все же принципиальной разницы нет...

— Ты так думаешь? — спросил Амета.

А Шрей заметил:

— Это не так просто, дорогой Нильс.

— Почему?

— Ты, значит, кое-что об этом прочитал и уже составил свое мнение? У Архиепа есть такая комедия, «Гость». В ней описано, как на Землю прибыл один очень интеллигентный марсианин, который не знал, что такое музыка. Он знакомится с нашей цивилизацией и, среди прочего, попадает на концерт. «Что делают здесь люди?» — спрашивает он. «Слушают музыку». — «Что такое музыка?» Земляне пытаются как умеют объяснить ему. «Не понимаю, — говорит марсианин. — Ну хорошо, я сейчас изучу это сам». Ему показывают инструменты, он исследует их, обнаруживает в них всякие там клапаны, молоточки. Наконец дело доходит до барабана. Марсианину очень понравились большие размеры и геометрически правильная форма этого инструмента, он тщательно ощупал его и сказал: «Спасибо, теперь я знаю, что такое музыка, это очень интересно». Ты, мой мальчик, пока знаешь о любви столько, сколько этот марсианин о музыке. Надеюсь, я тебя не обидел?

— Ах нет, — сказал Нильс, — но прошу вас, объясните мне, почему то, что я говорил, глупо, если это действительно глупо.

— То, что ты сказал, Нильс, — отозвался молчавший до сих пор Тер-Хаар, — сводится к следующему: мужчина любит женщину, а та не разделяет его чувств. Других препятствий к сближению у них нет, поэтому женщина принимает пилюлю, преобразующую те свойства ее характера, которые мешали ей полюбить именно этого человека, и все кончается к обоюдному удовольствию. Так ты себе это представляешь?

— Но... — Нильс заколебался, — в твоём пересказе, профессор, это выглядит немного смешно... Может быть, не пилюля...

— Ну, технические детали не так важны — речь идет о вмешательстве в психику. В этом-то и состоит главная загвоздка.

— А почему ты думаешь, что это так сложно?

— Не знаю. Наверное, подобного рода эксперимент сегодня уже возможен. Я не касаюсь этой стороны проблемы. Но в данном случае препятствия этические, а не биотехнические. Видишь ли, эта женщина — такой же полноценный человек, как и тот мужчина. Если она его не любит, это вытекает из структуры ее характера, ее психики, ее склонностей и связано со всем тем, что составляет ее личность. Для того, чтобы она полюбила этого мужчину, следовало бы преобразовать ее ум, что-то изменить в нем, что-то из него убрать, уничтожить, убить — на это никто из нас не согласится, никто на свете, даже тот несчастный влюбленный. Существует неписанный, но неукоснительный запрет на проведение опытов над душой человека. Из чего этот запрет исходит? Наша цивилизация часто стирает грань между тем, что естественно, и тем, что создано искусственным путем, но все наши достижения останавливаются перед вторжением в область человеческого сознания. Мы сами их останавливаем на этой границе, потому что духовный мир личности для нас — нерушимая, наивысшая общественная ценность. В эту область недопустимо вмешиваться никакими «облегчающими» жизнь способами.

— Когда ты так говоришь, мне кажется, что ты прав, — сказал после минутного молчания Нильс. — Но ведь неразделенная любовь причиняет страдания? Правда, сам я никогда ничего подобного не испытывал, но думаю, что это — бесполезное чувство...

— Бесполезное чувство? — подхватил эти слова Амета. — Бесполезных чувств, дорогой мой, не бывает. Неудачи, страдания, огорчения необходимы. Это не фраза, не похвала страданию. Великие трудности, которые мы преодолеваем, возвеличивают нас самих, а удовлетворение желаний, пока они не развились и не созрели в человеке, может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому воспитатели знают: нужно, чтобы у ребенка зародилась мечта, но сиюминутное ее исполнение они исключают, поскольку благодаря мечте в характере ребенка вырабатывается целеустремленность, что весьма ценно, — она становится основой формирования человека. Мы достигаем в жизни тем больше, чем более трудные цели ставим перед собой. И не случайно на «Гее» сейчас разрабатываются планы куда более далеких путешествий, чем наше. Ты сказал «бесполезное чувство». Ты о Петре подумай. Пережитое вошло в него так глубоко, что уцелело, когда все иные воспоминания погибли. Не помня

ничего, он мог сказать себе: «Я любил», а это уже много. Теперь это воспоминание начнет обрастать другими, иначе в его возвращении к жизни было бы что-то нечеловеческое, он был бы как автомат, который запоминает по приказу. Человек, который действительно все забыл, — это ужасающее явление, слово «Я» в его устах всего лишь пустой звук. Поэтому самые тяжелые страдания не бесполезны; правда, их нужно побеждать, но побеждать — не значит отбрасывать.

Мы поговорили еще немного, и, когда все уже собрались уходить, Нильс сказал:

— Мне кажется, профессор Шрей, что теперь я знаю о любви больше, чем ваш марсианин о музыке...

Старый хирург еще на какое-то время задержался у меня. Мы довольно долго сидели молча, наконец Шрей широко открыл глаза, которые удивительно живо заблестели в темноте, и тоном, какого я никогда у него не слышал, сказал:

— Знаешь ли ты леса близ Турина?.. И широкие белые дороги, которые вырываются из них на равнины, полные ветра... И березовые рощи... Там можно бродить целыми днями и вечером греть руки у костра, дым от которого стелется так низко, а хворост трещит так громко...

— Ты это всегда можешь увидеть в видео, — сказал я, — в любую минуту, даже сейчас.

Шрей сразу встал.

— Протезы для воспоминаний мне не нужны, — сухо ответил он и быстро вышел.

БУНТ

Третий год путешествия был самым тяжелым, несмотря на то, что за этот год заметных событий почти не происходило. А может быть, именно поэтому. Предупредительные сигналы молчали. Корабль развил полную скорость и каждую секунду проходил 170 000 километров под некоторым углом к оси, соединяющей северный и южный полюсы Галактики. Все приборы «Геи» работали так хорошо, что мы давно забыли об их существовании. Воздух для дыхания, продовольствие, одежда, предметы повседневного обихода, а для желающих и роскоши — все, чего можно было пожелать, предоставлялось по первому требованию. Все это производилось в атомных синтезаторах корабля. В центральном парке сменялись времена года; дети, появившиеся на свет в первые месяцы путешествия, уже начали говорить. Коротая

долгие вечера, мы поверяли друг другу свои личные истории, и наши жизни, подчас запутанные и сложные, теперь — спрессованные во времени — делались понятными; становилось ясно, что привело каждого из нас на палубы межзвездного корабля.

Теперь уже никто не искал одиночества, напротив, люди тянулись друг к другу и иногда сближались, может быть, слишком поспешно. Амета говорил: «Ничего хорошего не получится, если объединить слабость со слабостью. Нуль плюс нуль всегда равен нулю». Я сам, будучи связан с группой людей, обладавших неисчерпаемыми резервами духа, страдал мало, но как врач замечал, что многим жилось все труднее и труднее. Пространство словно лишало смысла их жизнь и труд.

Почти все на корабле страдали бессонницей. Употребление лекарств возросло больше чем вдесятеро по сравнению с первым годом путешествия. Случались и проявления психической неуравновешенности: стычки по самым пустячным поводам между коллегами, даже между друзьями. В любую пору суток можно было встретить людей, бесцельно блуждающих по коридорам; они проходили мимо тебя, неподвижно уставившись глазами в одну точку. Особенно нас тревожили несколько десятков человек, деятельность которых сильнее других привязывала их к Земле. Оторванность от родной планеты подрывала основы их существования. Некогда предполагалось, что они включатся в другие коллективы, более загруженные работой, но так поступили далеко не все. Закон абсолютной добровольности труда, вытекавший очевидным образом из самых основ нашего бытия, обращался теперь против нас.

Однако не это было всего труднее преодолеть. Невыносимой стала атмосфера, наполнявшая ракету от верхних палуб до самых отдаленных закоулков. Было в ней что-то гнетущее. Казалось, на сознание давит незримая тяжесть. Многим стали сниться кошмары. Люди видели сны о том, что сквозь броню в корабль проникают ядовитые газы или что ученые открыли, будто «Гея» вовсе не движется, а висит в бездне. От этого ощущения нельзя было избавиться даже наяву, потому что при пробуждении человека ожидала беспредельная тишина. Ее можно было услышать в каждом уголке корабля; она вклинивалась между словами беседы, обрывала мысль и погружала людей в молчание. С ней пытались бороться: из лабораторий и мастерских убрали звукопоглощающие устройства, и грохот машин стал слышен

по всему кораблю, но в его монотонности таилась злая насмешка над нашими усилиями — однообразный шум казался тонкой, как бумага, ширмой, прикрывающей черную тишину. На смотровых палубах теперь было пусто. Звезды и так были повсюду, они возникали горящими точками в мозгу у каждого человека, едва он закрывал глаза.

Однажды между членами экипажа распространилась петиция, составленная неизвестно кем и адресованная совету астрогаторов. В ней требовали ускорить движение «Геи» еще на 7000 километров в секунду, поскольку, как говорилось в петиции, «эта скорость меньше критической на 3000 километров, что вполне надежно обеспечивает безопасность экипажа, и в то же время такое увеличение скорости значительно сократит срок путешествия».

Удивляло то, что автор этого проекта остался анонимным, тем более что под петицией, прежде чем она попала в совет астрогаторов, подписались несколько десятков человек. Очередное собрание астрогаторов было посвящено проблеме убыстрения хода ракеты; пришел на него и Гообар. Мнения на совете разделились в основном потому, что влияние близкой к световому порогу скорости на человеческий организм еще не было изучено. Амета, Зорин и Уль Вефа единодушно утверждали, что скорость в 185 000 километров в секунду, с которой они водили ракеты на испытаниях, не причинила им ни малейшего вреда, но их экспериментальные полеты продолжались всего по нескольку часов. Встал вопрос: не вызовет ли дополнительная скорость каких-либо последствий, накапливающихся в организме и проявляющихся спустя длительное время? В конце заседания выступил Гообар.

— Для нашего теперешнего положения характерно, — сказал он, — что мы детально рассматриваем проблему увеличения скорости, совершенно не останавливаясь на мотивах, побудивших часть экипажа выдвинуть это требование и поставить его перед специалистами, которым, казалось бы, единственно и принадлежит право решать вопрос о скорости полета. Мои исследования позволяют предположить, что скорость, близкая к световому порогу, воздействует на чувственные сферы человеческой психики. Несмотря на это, я все же считаю возможным увеличить скорость «Геи», главным образом, потому, что экипаж ожидает от нас конкретных действий, а установить, чего больше повлечет за собой этот шаг — пользы или вреда, сейчас не представляется возможным. Это будет несколько рискованный эксперимент, но

даже если нарушится психическое равновесие всего экипажа, мы имеем средства, чтобы обратить процесс вспять; при необходимости мы вернемся к меньшей скорости.

Большинством в два голоса совет постановил увеличить скорость «Геи». Учитывая большой риск, ускорение решили растянуть на пятьдесят дней. И уже на следующий день мы вновь слышали предостерегающий свист сигналов; с тех пор он повторялся ежедневно.

Не знаю, почему так вышло, но именно в эти дни я, гуляя, зашел на нижнюю палубу нулевого яруса. Коридор здесь заканчивался дугообразной переборкой и переходил в другой коридор. В этом месте в боковой стене помещается огромный люк, закрытый броневой плитой. Это аварийный выходной люк — именно через него была втянута внутрь «Геи» ракета Петра с Ганимеда. Круглая выпуклая крышка прижата к люку системой массивных стальных рычагов. Их приводят в движение четыре автомата, стоящие по обеим сторонам выхода. Каждый автомат обслуживает два рычага.

Проходясь здесь, я почему-то остановился в конце коридора против люка; тут царила тишина, не нарушаемая ни малейшим шумом, — от лабораторий это место отделяли шесть ярусов. И вдруг в голове мелькнула безумная мысль: за этой дверью свобода. Я положил руку на холодный металл и долго стоял, не шевелясь. Потом, опомнившись, огляделся, нет ли свидетелей моего безрассудного поступка, и потихоньку, словно провинившись, вернулся в коридор и торопливо ушел.

Через несколько дней я возвращался от Тер-Хаара и шел, как это иногда со мной бывает, глубоко задумавшись и не обращая внимания на окружающее. Вдруг я не без удивления обнаружил, что снова нахожусь в том самом месте, у слияния коридоров. В глубине ниши стояли люди. Два техника. Увидев меня, они молча разошлись в разные стороны. Я долго думал потом: выполняли ли они здесь какую-то работу или их привело сюда то же бессмысленное влечение? Я хотел было рассказать об этом Ирьюле, но раздумал.

Вечером я дежурил в амбулатории. После того как двигатели снова заработали, пациентов стало больше. Многие жалобы я знал так хорошо, что мог сам их продолжить, едва пациент начинал говорить. Например, люди жаловались на то, что их тянет смотреть на блестящие предметы; это сильно изматывало.

Ночью мне приснился кошмар. Снилось, что я стою в абсолютной тьме у люка. Чувствую, как от него тянет прони-

зывающим холодом пустоты. Невыразимо медленно крышка выходного отверстия начала поддаваться под нажимом моих рук. Я проснулся. Сердце колотилось, и я так уже и не сомкнул глаз до утра.

Первую половину следующего дня я провел в компании трех пилотов: Ериоги, Аметы и Зорина. Мы прогуливались по всему кораблю, беседуя и даже смеясь. Однако гнетущее воспоминание о сне не проходило. После обеда я пошел к Руделику. Он довольно давно работал над какой-то проблемой и нигде не показывался. Я застал его сидящим со скрещенными ногами на письменном столе; он выстукивал что-то одним пальцем на счетном автомате. Мне следовало бы уйти, однако я попросил его, не отвлекаясь на меня, продолжать работу и остался — мне всего лишь хотелось молча посидеть с кем-то, чтобы не быть одному. Я целый час смотрел, как забавно проявляются у него умственные усилия. Он грыз эбонитовую контактную палочку, морщился, кривился; вдруг лицо его прояснилось, и он осмотрелся вокруг с таким изумлением, словно перед его глазами разыгрывалась удивительнейшая сцена; потом снова что-то забормотал, соскочил с письменного стола и заходил из угла в угол, прищелкивая пальцами. Наконец он подошел к аппарату, записал несколько фраз и, улыбаясь, повернулся ко мне.

— Дело понемногу продвигается, черт возьми! — сказал он и добавил: — Это Гообар подсунул мне такой орешек.

— Ты что, теперь работаешь с ним?

— Похоже на то. Мне понадобился новый аналитический аппарат — в смысле системы суждений, а не машины. В поисках его я влез в такое математическое болото, что хоть плачь. Это проблема, к которой можно приступить с двух или даже с двадцати сторон сразу, как угодно, неизвестно лишь, откуда придешь к цели.

Руделик загорелся и начал читать мне лекцию. Я не прерывал его, хотя усваивал смысл с пятого на десятое. Насколько я понял, его преследовало ощущение, что появляющаяся в уравнениях бесконечность может уничтожить весь их физический смысл. Эта бесконечность была вначале очень послушна и позволяла перебрасывать себя с места на место; он попытался поймать ее в ловушку, рассчитывая, что, если она попадется на его уловку и появится сразу в обеих частях уравнения, он сумеет устранить ее путем упрощения. Однако упрощение из подручного приема превращалось в лавину, сметающую все на своем пути, и кропотливое преодоление математических дебрей давало в итоге

0 = 0. Результат безусловно правильный, но для радости он повода не давал.

— Ты ходил с этим делом к Тембхаре? — спросил я, когда он наконец умолк и только ерошил волосы.

— Ходил.

— А что он сказал?

— Сказал, что на «Гее» нет электромозга, который справился бы с этой задачей. Эта проблема, как видишь, очень специальная... Нужный мозг можно было бы построить, но не здесь: он по размерам может быть равен самой «Гее».

— Что-нибудь похожее на гиромат?

— В этом роде. Но такой гиромат работал бы наугад — методом проб и ошибок, то есть как слепой, и выполнил бы задачу в должное время только потому, что производит двенадцать миллионов операций в секунду. Нет, это все чепуха. Подумай только: решать задачу вслепую! Я всегда говорил, что эти электрические мозги ползают — хотя и с молниеносной быстротой, — а человеческая мысль мчится. Кибернетики вообще не представляют себе стиля работы математиков; им все равно, как автомат решает, лишь бы решил... Если бы удалось открыть необходимую метасистему... Поймай, черт возьми!

Он подскочил к аппарату и вновь начал что-то выстукивать с бешеной скоростью. Потом взглянул на экран, крикнул, проехался пальцами по своей шевелюре и нажал на выключатель. Когда он обернулся, на его лице отражалось такое разочарование, что я ни о чем не стал спрашивать. Он уселся в своей обычной манере на ручку кресла и принялся насвистывать.

— Зачем тебе нужно решать эту проблему? — спросил я.

— Ах, это связано с изменением живой материи, движущейся в переменном гравитационном поле.

— А ты советуешься с Гообаром?

— Нет, — сказал он так энергично, словно хотел предупредить всякую дискуссию на эту тему. Минуту спустя он добавил: — Я даже избегаю его. Знаешь, я похож на муравья, который бежит по поверхности огромного предмета и стремится понять, как он выглядит в целом. Я могу охватить своим сознанием только какую-то маленькую долю проблемы. А Гообар? Что ж, может, он и сумел бы охватить ее целиком, но прежде он должен подступиться к ней с той же стороны, с какой приступил и я; и пройти путь, который я уже прошел. Стало быть, он не помог бы мне, а просто решил проблему за меня. Но если мы станем отдавать Гообару

каждую проблему только потому, что он разрешит ее быстрее, мы недалеко уйдем! Впрочем, он и так завален работой.

— Если я верно тебя понял, он вошел в то же самое математическое болото, но с другой стороны?

— Да. — Руделик вздохнул. — Когда я с ним впервые встретился, то через пять минут понял, что он не партнер, что в обмене суждениями он для меня — не другая чаша весов, уравнивающая мою; его мысль накрывает меня, как стеклянный колокол — муху, вмещает в себя все мои аргументы, утверждения, гипотезы, и попытка выбраться из сферы его ума так же напрасна, как желание пешехода уйти за горизонт.

— И это говоришь ты, математик такого уровня? — удивленно спросил я.

— Если я прекрасный математик, то он гениальный, а от одного до другого о-го-го как далеко! Впрочем, и он в одиночку не справился бы, потому что даже гений может думать в каждый момент о чем-нибудь одном, и ему, таким образом, пришлось бы жить тысячи полторы лет... Да, без нас он ничего бы не сделал, это я могу сказать спокойно.

Я не удержался и задал ему вопрос, интересовавший меня уже давно:

— Скажи мне, только не смейся, как ты представляешь себе уравнения, которые ты мысленно преобразуешь? Видишь ты их как-нибудь?

— Что значит — видишь?

— Ну, представляешь их себе, скажем, маленькими черными существами?

Он сделал изумленные глаза.

— Какими существами?

— Ну, понимаешь, математическое выражение, написанное на бумаге, в общем... немного напоминает вереницу черных букашек или червячков... — сказал я неуверенно. — Я думал, что эти знаки образно предстают в твоей голо....

Он расхохотался:

— Маленькие черные существа? Это замечательно! Я бы никогда до этого не додумался!

— И как же все-таки? — настаивал я.

Он задумался.

— Возьмем какое-нибудь понятие, ну, скажем, «стол». Разве ты представляешь себе его в виде четырех букв?

— Нет, я представляю себе просто стол...

— Ну вот. Так и я представляю себе свои уравнения.

— Но ведь столы существуют, а твоих уравнений нет, — попытался возразить я и замер, увидев его взгляд.

— Их нет?.. — сказал он таким тоном, как будто говорил мне: «Опомнись!»

— Ну хорошо, если ты не представляешь их себе в виде сплетенных из букв образов, то как ты их видишь? — не сдавался я.

— Поставим вопрос иначе, — сказал он. — Когда ты сидишь впотьмах, ты знаешь, где у тебя руки и ноги?

— Конечно, знаю.

— А чтобы знать это, нужно ли тебе представлять их положение, воссоздавать в памяти их вид?

— Конечно нет, я их просто ощущаю.

— Вот так и я «ощущаю» уравнения, — сказал он с удовлетворением.

Я ушел от него с твердым убеждением, что в области математики, в которых он живет, мне никогда не удастся проникнуть. Но вот что удивительно: будучи у Руделика, я напроць забыл о преследующих меня страхах, словно их не было. Руделик помог мне, а ни Амета, ни Зорин не могли этого сделать. Почему?

Я подозревал, что пилоты спокойны только потому, что умеют подавлять те же тревоги, которые терзают и меня. А Руделик, поглощенный работой, вообще никаких тревог не испытывает. Как же я завидовал ему, погруженному в математические заботы!

Пока я раздумывал, в глубине коридора появился какой-то человек. Он прошел мимо меня и исчез за углом. Скоро умолк звук его шагов; в коридоре слышалось только пение детей, доносившееся из парка. Я хотел вернуться мыслями к Руделику, но что-то мне мешало. Смутно почувствовав, что происходит что-то странное, я поднялся и в этот самый момент вспомнил, что за углом коридор оканчивается у переборки, отделяющей жилую часть корабля от атомных отсеков. Что мог искать там, в этом тупике, человек, который прошел мимо меня? Несколько мгновений я прислушивался: всюду было тихо. Затем пошел к повороту. Там, в полумраке, у стальной стены, прижавшись лбом к металлу, стоял человек. Подойдя ближе, я узнал его — это был Диоклес. В тишине отчетливо доносилось отдаленное пение «Кукушки»:

Кукушечка кукует,
Кукушечка кукует,
За водой...
За водой...

— Что ты тут делаешь?

Он даже не вздрогнул. Я положил руку ему на плечо. Он словно бы одеревенел. Внезапно встревожившись, я схватил его за плечи и попытался оторвать от стены. Он сопротивлялся. И тут я увидел его лицо, лишенное всякого выражения и такое спокойное, словно он не имел к нашей схватке никакого отношения. У меня опустились руки.

А в тишине звучали далекие детские голоса:

Пташечки вьют гнезда,

Пташечки вьют гнезда,

А я — нет...

А я — нет...

— Диоклес!

Он молчал.

— Ради бога, Диоклес, ответь, что с тобой? Тебе что-нибудь нужно?

— Уйди.

Я внезапно понял, что этот конец коридора — самый ближний к корме. Он обращен к Полярной звезде и, значит, ближе всего к Земле. Ближе на несколько десятков метров — что это значило по сравнению со световыми годами, отделявшими нас от нее? Я рассмеялся бы, если бы не хотелось плакать.

— Диоклес! — Я попытался еще раз увести его.

— Нет!

Как же прозвучало это «нет»! Этот возглас не был простым отказом от помощи; он относился не только ко мне, но к каждому члену экипажа и ко всему кораблю, он был брошен в лицо всему существу. Мной овладело что-то похожее на ощущение ночного кошмара; чувствуя, что проваливаюсь в какую-то пропасть, я повернулся и пошел прочь по длинному коридору, все быстрее, почти бегом, словно подгоняемый песенкой:

А когда весною

Полечу я в небо

Высоко...

Высоко...

Об этом событии я не решился рассказать никому.

Вечером я отправился — на этот раз уже намеренно — на нулевой ярус. Мое подозрение подтвердилось: там, где сходятся коридоры, стояли пять или шесть человек. Они всматривались в глубь люка, как бы загипнотизированные матовым отблеском бронзового щита. При звуке моих шагов

(я нарочно старался ступать громче) они медленно разошлись в разные стороны. Это показалось мне очень странным; я отправился к Тер-Хаару и рассказал ему обо всем. Он долго молчал, не желая сразу высказывать свое мнение, но под моим нажимом — а я не без основания считал, что ему есть что сказать, — ответил:

— Это трудно назвать; у нас нет слов для обозначения таких явлений. В древности эту группу называли бы «толпой».

— Толпой, — повторил я. — В этом есть что-нибудь общее с так называемой армией?

— Нет, ничего общего: армия — понятие скорее противоположное толпе; она была формой известной организации, а толпа есть неорганизованное скопище большого количества людей.

— Позволь, но там было всего лишь...

— Это ничего не значит. Раньше, доктор, люди не были такими рациональными существами, как теперь. Под влиянием сильных импульсов они переставали руководствоваться разумом. У наших современников так высоко развито чувство ответственности за собственные поступки, что они никогда не подчинятся ничьей воле без внутреннего согласия, вытекающего из понимания обстановки. Раньше же в необычных, опасных для жизни обстоятельствах, например во время стихийного бедствия, охваченная паникой толпа, должен тебе сказать, была способна даже на преступление...

— Что значит — «преступление»? — спросил я.

Тер-Хаар потер лоб, улыбнулся как бы нехотя и сказал:

— Ах, по сути дела, это только надуманные построения... Пожалуй, я ошибаюсь: у нас слишком мало фактов, чтобы выводить из них теории. Впрочем, ты же знаешь, я немного «помешан на истории» и стремлюсь подходить ко всему с ее мерками.

На этом разговор закончился. Вернувшись к себе, я хотел обдумать слова Тер-Хаара и даже, связавшись с трионовой библиотекой, прочитать какое-нибудь историческое исследование о толпе, но не сумел разъяснить автоматам, что мне нужно, и из этого ничего не вышло.

Прошел день, другой. Новых тревожных событий не было. Мы решили, что кризис, вызванный ускорением, миновал; однако уже следующие сутки показали, как глубоко мы заблуждались.

В полдень ко мне ворвался Нильс и с порога закричал:

— Доктор! Это невероятно! Пойдем скорей со мной!

— Что случилось?

Я подбежал к столику, на котором всегда лежал чемоданчик с инструментарием и медикаментами.

— Нет, не то, — сказал юноша уже спокойнее. — Кто-то выключил видео в парке; скажу тебе — отвратительное зрелище! Там уже собралось много народу, идем!

Я пошел, вернее, побежал за ним: своим возбуждением он заразил и меня.

Мы поехали вниз. Пройдя сквозь завесу из вьющихся растений, я остановился как вкопанный.

На первом плане ничего не изменилось: за цветочными клумбами вздымала свою черную гриву канадская ель, дальше виднелись скалы над ручьем и глинистый холмик с беседкой, но на этом все кончалось. Несколько десятков метров камня, земли и растений упирались в голую металлическую стену, уже не прикрытую миражом безграничных просторов. Тяжело описать, как ужасно все это выглядело: неподвижно, словно неживые, стояли деревья, освещенные мутно-серым светом сигнальных ламп, дальше — железные стены и плоский потолок. Голубое небо исчезло без следа, воздух был нагрет и неподвижен, как мертвый, ни малейшее дыхание ветерка не касалось ветвей.

Посреди сада собрались несколько десятков человек, уставившихся, как и я, на эти ужасные по своей выразительности обломки миража. Разрывая завесу плюща, вбежал Ирьола, разгневанный, со сжатыми губами, за ним я увидел нескольких видеопластиков. Они побежали наверх. Мгновение спустя воцарился полный мрак: видеопластики выключили свет, чтобы вновь пустить в ход свою аппаратуру. И тогда случилось самое худшее — во мраке раздался крик.

— Долой этот обман! Пусть все останется как есть! Будем смотреть на железные стены, довольно этой вечной лжи!

Последовала минута глухого молчания — и вдруг над головами запылало солнце, вспыхнула, вся в белых облаках, синева, в лицо нам дохнул благоухающий, прохладный ветерок, а маленький кусочек земли, на котором мы стояли, растянулся во все стороны и зазеленел до самого горизонта. Люди вопросительно смотрели друг на друга, как бы стараясь найти того, кто кричал во мраке, но он не осмелился обнаружить себя. Хотя небо и краски сада были воскрешены, мы один за другим уходили отсюда в молчании.

Теперь было уже совершенно ясно: что-то должно случиться. Однако предпринять что-нибудь заранее было невозможно, поскольку опасность пока лишь висела в воздухе и никто не знал, против чего надо бороться. Предлагали боль-

ше не включать двигателя (из запланированного ускорения в 7000 километров в секунду мы пока достигли лишь 2800), но астрогаторы решили, что тогда бы мы отступили перед неизвестностью и признали свое поражение.

— Пусть уж это самое худшее произойдет, — сказал Тер-Аконян, как бы в ответ на сказанное Трегубом два года назад. — Пусть оно произойдет, и тогда мы будем бороться. Это лучше, чем постоянное неведение. Самое худшее знание лучше неизвестности.

Прошло пять дней напряженного, молчаливого ожидания. Однако ничего не происходило. Двигатели продолжали ускорять движение ракеты, число избегающих работы сократилось на два человека, все коллективы трудились нормально, состоялся концерт, и я начал убеждать себя, что врачи и астрогаторы раздувают пустяки и боятся мнимых опасностей.

На шестой день после событий в парке у нас в больнице были тяжелые роды. Ребенок появился на свет в состоянии асфиксии, его жизнь висела на волоске, и два часа я не отходил от кровати, у которой работал пульсатор, подающий кислород в легкие. Работа так поглотила меня, что я совсем забыл о недавних событиях. И только когда, утомленный до предела, я мыл руки в боксе, отгороженном фаянсовой перегородкой, увидел в зеркале свое лицо с лихорадочно блестящими глазами и почувствовал непонятную тревогу. Попросил Анну остаться при роженице и, сбросив запачканный кровью больничный халат, выбежал из родильного отделения. Лифт опустился на нулевой ярус. Увидев освещенный лампами пустой коридор, я облегченно вздохнул.

«Глупец, — говорил я себе, — ты позволяешь каким-то призракам тебя преследовать?» — но продолжал идти. У поворота услышал голоса; их звук, как удар хлыста, подстегнул меня. В несколько прыжков я подбежал к люку.

Там, тесно сбившись, стояла спиной ко мне кучка людей; они напирали на человека, преграждавшего им путь. Сейчас они молчали, лишь раздавалось тяжелое дыхание, как при борьбе. В одном из стоявших ближе ко мне я узнал Диоклеса.

— Что здесь происходит?! — Слова с трудом выходили из моего сдавленного горла.

Никто не ответил. Кто-то посмотрел на меня из толпы белыми невидящими глазами. Потом послышался охваченный дрожью голос:

— Мы хотим выйти!

— Там пустота! — крикнул человек, сдерживающий толпу.

Я узнал его; это был Ирьола.

— Пусти нас! — закричали несколько голосов разом.

— Безумцы! — воскликнул Ирьола. — Там вас ждет смерть! Слышите! Смерть!

— Там свобода! — эхом отозвался голос из толпы.

А Диоклес — наверняка он — крикнул:

— Ты не имеешь права нас удерживать!

Ирьолу толкнули, он отступил к стальной плите. На ее фоне резко обрисовался его темный силуэт. Он кричал, и его голос, искажаемый эхом, гремел:

— Опомнитесь, что вы делаете?

Ответом ему было только учащенное дыхание. Ирьола раскинул руки, тщетно пытаясь закрыть путь к выходу. Толпа все напирала. Спина инженера уже касалась плиты, отливавшей спокойным металлическим блеском.

— Стойте!! — крикнул в отчаянии Ирьола.

Несколько рук потянулись к залитой светом нише, где находился механизм замков. Тогда Ирьола рванулся, оттолкнул наседавших на него людей и, выхватив из-за пояса маленький черный аппарат, отчаянно крикнул:

— Блокирую автоматы!!!

КОММУНИСТЫ

Кто из нас замечает автоматы? Кто отдает себе отчет в их существовании, вездесущем и необходимом, как воздух для легких и опора под ногами? Когда-то давно людей тревожила мысль, что автоматы могут восстать против человека; сегодня такое мнение кажется бредом сумасшедшего. Могли бы мы создать автоматы для целей истребления? Конечно, но с таким же успехом мы могли бы разрушать собственные города, вызывать землетрясения, прививать себе болезни. Каждое творение человека может быть использовано для его гибели; примером могут служить смертоносные средства, создававшиеся в эпохи варварских цивилизаций. Однако мы живем не для того, чтобы уничтожать, а чтобы поддерживать жизнь, и этой единственной цели служат наши автоматы.

При подготовке первой межзвездной экспедиции перед учеными встала исключительно трудная проблема. Не исключалось, что огромная скорость корабля повредит нормальной работе человеческого интеллекта, и у слабых лю-

дей, неспособных противостоять вредному влиянию, могут возникнуть психические расстройства, и тогда они станут отдавать автоматам неправильные или даже пагубные приказы. Такую возможность нужно было исключить. Для этого была создана специальная система устройств, которая могла заблокировать все автоматы «Геи». Ею заведовали руководители экспедиции, вполне сознававшие огромную ответственность, какая на них легла. К этому средству они могли прибегнуть в исключительных случаях, когда никаким другим способом нельзя было овладеть положением. Блокировка автоматов создавала опасный прецедент — никогда еще на протяжении тысячелетней истории нашей цивилизации автоматы не отказывались повиноваться человеку. Поэтому толпа у люка замерла, услышав страшные слова Ирьюлы, и несколько десятков секунд стояла в оцепенении под желтым светом ламп. Вдруг тишину нарушил свист остановившегося лифта. В его раскрытых дверях показался Тер-Хаар.

Он пригнулся и двинулся через онемевшую толпу, как через пустое пространство. Те, в кого он упирался взглядом, уступали дорогу, но за его спиной толпа смыкалась опять. Тер-Хаар подошел к нише и встал на обрамление люка. Его массивная фигура возвышалась над всеми. Он заговорил — сначала почти шепотом, и стало так тихо, словно люди перестали дышать. Все смотрели на темную фигуру, освещенную падающим сзади желтым светом. Голос его постепенно крепчал и гулко разносился в замкнутом пространстве.

— Вы собираетесь погибнуть. Прошу вас, уделите мне десять минут вашей жизни. Потом мы — я и он — отойдем, и вы сделаете то, что хотите. Никто не осмелится помешать вам. Даю вам слово.

В наступившее молчание вместились несколько ударов сердца.

— Почти тысячу двести лет назад в городе Берлине жил человек по имени Мартин. Это было то время, когда его государство провозгласило, что более слабые народы должны быть истреблены или обречены на рабство, а собственные подданные должны не думать, а проливать чужую кровь. Мартин был рабочим стекольного завода. Он был одним из многих и делал то, что теперь делают машины: своими легкими выдувал раскаленное стекло. Но это был человек, а не машина, у него были родители, брат, любимая девушка, и он понимал, что отвечает за всех людей на земле, за судьбу тех, кого убивают, и тех, кто убивает, за близких и далеких. Таких людей, как Мартин, тогда называли комму-

нистами. Государство преследовало и убивало коммунистов, поэтому им приходилось скрываться. Тайной стражей, именуемой «гестапо», удалось схватить его. Мартин был членом организационного бюро партии коммунистов и знал фамилии и адреса многих товарищей. От него потребовали, чтобы он выдал их. Он молчал. Его подвергали истязаниям и вновь приводили в чувство. Он молчал. Ему переломали ребра, отбили ударами палок внутренности, затем поместили в госпиталь. Его стали лечить, вернули ему силы и вновь стали бить, но он продолжал молчать. Его допрашивали ночью и днем, будили ярким светом, задавали коварные вопросы. Все было напрасно. Тогда его освободили, чтобы, идя по его следам, схватить других коммунистов. Он понимал это и безвыходно сидел дома. Когда у него не стало пищи, он пошел на завод. Но там для него не нашлось работы. Он искал ее в других местах, но его никуда не принимали. И он стал умирать от голода. Голодный, исхудавший, бродил по городу, но не зашел ни к кому из товарищей; он знал, что за ним следят.

Его еще раз арестовали и применили новый метод. Мартину дали отдельную чистую комнату, хорошо кормили и лечили. Выезжая арестовывать людей, гестаповцы брали его с собой; создавалось впечатление, что это он привел их. Его заставляли присутствовать при истязаниях, которым подвергались арестованные товарищи, ставили у дверей камеры, куда приводили измученных заключенных. Им говорили, чтобы они признались, потому что за дверями стоит их товарищ, который уже все рассказал. Когда он кричал тем, кого проводили мимо него, что находится в таком же положении, как и они, гестаповцы делали вид, что это деталь сознательно разыгрываемой комедии.

Поскольку членов коммунистической партии истребляли, им приходилось избегать каждого, кого коснулось подозрение в измене. Листовки коммунистов начали предостерегать от связи с Мартином. Гестаповцы показывали их ему. Потом его выпустили на свободу. Несколько месяцев спустя Мартин попытался осторожно установить связи с товарищами, но никто не хотел сближаться с ним. Тогда он пошел к брату, но тот не впустил его к себе. Разговор шел через закрытые двери. Родители также отказались от него. Мать дала ему хлеба — и все. Он вновь попытался найти работу, но безуспешно. Его арестовали в третий раз, и высокий сановник гестапо сказал ему: «Послушай, теперь твое молчание бессмысленно. Товарищи давно считают тебя подлецом и из-

менником. Ни один не хочет знать о тебе. При первом удобном случае они убьют тебя, как бешеную собаку. Сжался над собой, говори!»

Однако Мартин молчал. Тогда его еще раз освободили. Он ходил голодный по городу. Какой-то незнакомый человек, встреченный им однажды вечером, привел его к себе домой, дал поесть, напоил водкой и ласково объяснил, что теперь уже все равно, будет он говорить или нет: если будет молчать дальше, его убьют, однако смерть ему не поможет, он все равно погибнет с клеймом предателя. Но Мартин молчал. Этот незнакомый человек отвел его в тюрьму. В одну декабрьскую ночь, через два года после ареста, его вывели из камеры и в каменном подвале пустили пулю в затылок. Перед смертью, услышав шаги убийц, он нацарапал на стене камеры: «Товарищи, я...» Больше он не успел написать ничего, кроме этих двух слов, которыми прервал свое долголетнее молчание; его тело сгорело в одной из огромных известковых ям. Остались только документы гестапо, которые во время начавшейся позднее войны были запрятаны в подземелье. Из этих документов периода позднего империализма мы, историки, почерпнули кое-что. В частности, прочитали в них историю немецкого коммуниста Мартина.

А теперь подумайте. Этого человека мучили, избивали — он молчал. Молчал, когда от него отвернулись родители, брат и товарищи. Молчал, когда уже никто, кроме гестаповцев, не разговаривал с ним. Были разорваны узы, связывавшие человека с миром, но он продолжал молчать — и вот цена этого молчания! — Тер-Хаар поднял руку. — Мы в огромном долгу у людей далекого прошлого, у многих тысяч тех, кто погиб подобно Мартину, но чьи имена останутся нам неизвестны. Он умирал, зная, что никакой лучший мир не вознаградит его за муки и его жизнь навечно закончится в известковой яме, что не будет ни воскресения, ни возмездия. Но его смерть и молчание, на которое он сам себя обрек, ускорили приход коммунизма, может быть, на минуту, может быть, на дни или недели — все равно! Мы пошли к звездам потому, что он умер ради этого. Мы живем при коммунизме... Но где же среди вас коммунисты?!

Этот возглас гнева и боли сменился страшной тишиной. Потом историк продолжал:

— Это все, что я хотел вам сказать. Теперь давай отойдем, инженер, а они откроют выход и, выброшенные давлением воздуха, вылетят в пустоту, лопнут, как кровавые пу-

зыри, и останки тех, кто струсил, не выдержал жизни, будут кружить в вечности!

Он шагнул вниз и вышел из круга расступившихся перед ним людей. Некоторое время были слышны его шаги, загудел лифт. А люди продолжали стоять неподвижно; кто-то провел рукой по лицу, как бы отодвигая тяжелую, холодную завесу другой кашлянул, третий застонал или зарыдал, а потом все, как очнувшись, двинулись в разные стороны — с опущенными головами, с руками, висящими тяжело и бессильно, качающимися в такт походке — словно неживые. Наконец остались лишь трое: Ирьола, который стоял у самого заслона с блокирующим аппаратом в руках, Зорин, прислонившийся к стене, скрестивший на груди руки, и я. Мы стояли долго. Я собрался уже уходить, когда над нашими головами раздался протяжный, глухой свист: наступила ночь и зазвучали предупреждающие сигналы — «Гея» увеличивала скорость.

ГООБАР, ОДИН ИЗ НАС

Нас, первых людей, летящих к звездам, преследовало не только гнетущее чувство одиночества в пустоте. Нас терзала никогда не высказываемая, глубоко скрытая мысль о том, что все труды окажутся напрасными. Каждый понимал, что, даже двигаясь со скоростью света, человек сможет достигнуть только нескольких ближайших звезд. А чтобы добраться до далеких планетных систем или пересечь область Млечного Пути... Это казалось утопической мечтой. Черные пропасти, через которые даже луч света проходит за миллионы лет, преграждали дорогу к звездам.

Поэтому к людям, столпившимся тогда у выходного люка, мы относились не как к отступникам, а как к спасенным от гибели товарищам, которым тяжелее других удавалось справляться со слабостями, таящимися во всех нас.

Когда они пришли к первому астрогатору, требуя, чтобы тот вынес им приговор, Тер-Аконян отказался решать дело сам и созвал совет астрогаторов. Совет тоже заявил, что не будет этого делать: в нашем экипаже никто не властен над другими. Мы составляем коллектив людей, которые как посланники Земли добровольно отправились к созвездию Центавра. Тер-Аконян сказал, что все они должны остаться равноправными членами экипажа, какими были раньше; что же касается наказания, то они уже понесли его и будут продолжать нести в собственной памяти.

В этой группе было много моих пациентов. Беда случилась с теми, у кого нервная система была слабее, чем у других; поэтому и вина их была не столь уж велика. Когда я сказал это Тер-Хаару, он ответил, что для того, чтобы они опомнились, нужны не лекарства, а слова.

Весть о событии с быстротой молнии разнеслась по кораблю. На очередном совещании астрогаторы предложили ученым познакомить экипаж с переломными моментами истории, с моментами, когда решались судьбы мира и одно поколение должно было принимать решения за десятки последующих. Оно сгибалось под огромным бременем этого решения, но несло его на себе.

Вечерами мы собирались в лаборатории историков, и те читали нам лекции — если можно назвать лекциями рассказы, подобные тому, каким Тер-Хаар потряс наши сердца. Перед нами прошла нескончаемая череда людей, восстававших против тиранических порядков во имя будущего человечества. В нашем воображении возникали их живые глаза, руки, жесты, страждущие уста, вздрагивавшие ресницы, шепот и вздохи влюбленных, последние взгляды обреченных, бессонные размышления исследователей, подвиги. Так мы обретали знания, непохожие на вынесенные из школы схемы, как не похожа на любовь осведомленность о биологическом предназначении полов. Хор давно умолкших голосов помог нам уяснить смысл человеческого существования в прошлом и настоящем.

Несколько недель спустя, когда корабль уже достиг заданной скорости и вечерние сигналы замолкли на несколько лет, среди экипажа пошли разговоры о том, что Гообар, издавна работавший над проблемой межзвездных путешествий, близок к выдающемуся открытию. Не помню, кто первый сказал об этом. Весть распространялась в различных, но всегда туманных версиях — главным образом среди неспециалистов. Может быть, ее породило то, что в последние месяцы для работы в биофизических лабораториях приглашали лучших физиков, математиков и химиков «Геи». Однако коллеги Гообара опровергали слухи о каком-то открытии; им нельзя было не верить — у них не было оснований скрывать правду, и все же слухи, несмотря на многочисленные опровержения, возникали опять, всегда в обновленной версии, и становились темой ожесточенных дискуссий.

Сам Гообар хранил молчание; трудно было сказать, до-

ходило ли все это до него, или, будучи поглощен своей работой, он не обращал на слухи внимания.

Как-то весенним — согласно календарю — вечером я выбрался на концерт. Проскользнул на свободное место в последнем ряду. Исполнялась Вторая симфония Крескаты. Рядом со мной оказались Руис и Гообар. Со времени, когда я видел ученого в последний раз, он вроде бы постарел; у него было бледное, осунувшееся лицо человека, давно лишенного свежего воздуха; веки покрывала густая сетка кровеносных сосудов. Он слушал музыку с закрытыми глазами. В какой-то момент я понял: Гообар спал, прислонясь головой к спинке кресла. Его разбудили лишь мощные звуки финала симфонии.

У выхода из зала скопилось много народа, поэтому я остался сидеть — то ли задумавшись о чем-то, то ли бессмысленно уставившись куда-то. Когда я поднял глаза, кроме нас троих, в зале не было никого. Я вскочил с места. Руис и Гообар тоже поднялись. У портала я было собрался попрощаться с композитором и ученым, однако пошел с ними дальше. Это была довольно странная прогулка: мы отмерили, наверное, половину длины корабля, не проронив ни слова. Палуба, понижаясь под небольшим углом, переходила в коридор. Мы как раз подходили к месту, где во множестве были калиточки, открытые в парк, пустой в эту пору. Оттуда тянуло свежим сосновым запахом. У последней калитки Гообар, неожиданно обогнав нас, остановился. Из темноты доносился едва уловимый звук по-земному шелестящих листьев.

— Вот и ты уже, Руис, не приходишь ко мне... — сказал Гообар.

Мы с композитором стояли за его спиной, и это прозвучало так, словно он обращался не к одному из нас, а к темноте, пропахшей сырой листвой.

— Я не хотел тебе мешать, — тихо ответил композитор.

— Ну да. Я это знаю... — Гообар умолк, как бы прислушиваясь к ветру. — Однажды на лекции — это было еще на Земле — я попросил студентов прийти ко мне. Без всякого официального повода, так просто — погулять по саду, побеседовать. Я, конечно, не думал, что придут все, но ожидал довольно большую группу. Мы с женой сидели до поздней ночи, дожидаясь гостей. Не пришел никто. Позднее я спрашивал, почему они не пришли. Оказывается, каждый из приглашенных подумал: будет много народу, мы будем мешать Гообару, кто-то должен от этого отказаться. И каждый решил, что отказаться должен он....

Он говорил тихо, словно поблизости кто-то спал. Руис ответил не сразу:

— На Земле — другое дело... Я бывал у тебя, может быть, даже слишком часто. Но теперь ты перегружен работой, устал...

— Устал? — удивился Гообар. Помолчав минуту, он вдруг добавил: — Это правда.

По тому, как он это сказал, видно было, что сам он до сих пор не думал об усталости.

— Хорошо, что ты пришел на концерт, — продолжал Руис. — Без музыки трудно жить!

— Но я там спал! — с улыбкой прервал его Гообар.

Руис умолк, пораженный и, может быть, даже огорченный, а Гообар объяснил:

— Я очень плохо сплю. Чтобы уснуть, должен забыть обо всем. Музыка заставляет меня забывать, и я засыпаю...

— Должен забыть? О чем?

Установилась тишина. С первых слов этого разговора я почувствовал себя лишним; раз десять говорил себе, что должен уйти, ждал лишь подходящего момента. Мне показалось, что такой момент наступил, но едва я двинулся, как Гообар заговорил:

— Девятый год изучаю влияние силы притяжения на жизненные процессы. Я столкнулся с громадной кучей проблем, и любая из них стоит целой жизни. Я отказался от всех. Ускорение, скорость, приближающаяся к световой, — вот моя тема. Что ждет человека, который подвергнется воздействию скорости свыше 190 000 километров в секунду? «Смерть», — скажет ученик начальной школы. То же скажу сегодня и я, с уверенностью, помноженной на девять лет работы. И что дальше? — Он облокотился на стеклянную калитку. Так мы и стояли, а сад шумел. — Вот уже несколько месяцев каждый, с кем я сталкиваюсь, хочет задать мне один и тот же вопрос. Правда, никто не задает. Молчат даже самые близкие, даже Калларла... Что сказать им? Высказать свои предположения? Посеять надежды? По какому праву? Авторитет — это ответственность. Так нас учили. Чем больше авторитет, тем больше ответственность. А все ждут. Смотрят и ждут. Они верят в Гообара. А в кого верить Гообару?

Он не кричал, даже не повысил голоса, и все же его было слышно, казалось, по всему кораблю. Кругом было пусто. Прямо перед нами тянулась длинная цепочка синих ночных ламп. Справа в черных провалах открытых настежь дверей шумел невидимый парк.

— И даже теперь, вот в эту минуту, когда я говорю с вами, вы думаете: «Все это так, но что он все-таки думает? На что он рассчитывает? Чего ждет? Каково его мнение?» ...Разве я не прав?

Мы молчали. Он был прав.

Наступила тишина. Гообар поднес к глазам часы и выпрямился.

— Что ж, надо идти начинать.

— Что?

— Новый день.

Он кивнул нам, прошел по коридору и исчез в лифте.

Было три часа ночи.

СТАТУЯ АСТРОГАТОРА

Когда горный поток встречает на пути неодолимые скалы, он начинает заполнять долину. Это длится месяцы и годы. Тонкая ниточка воды сочится неустанно, она не видна среди черных утесов; но вот в один прекрасный день долина превращается в озеро, а поток, переливаясь через его берега, продолжает путь.

Скульптору Соледад было присуще именно такое невозмутимое спокойствие. Четыре года Соледад работала над произведением, ради которого отправилась с нами в экспедицию. Это была статуя астрогатора.

Должен признаться, что я много раз задавался вопросом: почему она выбрала моделью своего произведения Сонгтрама? Ведь на корабле были такие астрогаторы, как стальной Тер-Аконян — человек с необычайно внимательными глазами, державшийся несколько особняком, был Гротриан — старик с головой мыслителя, обрамленной серебряными волосами, был самый общительный из них, Пендергаст, — высокий, немного сутулый, как бы несколько утомленный собственным ростом; зрачки его глаз, постоянно нацеленные в неизмеримые дали, сузились до черных точек, потому что он часто нес ночные вахты. А Соледад выбрала самого заурядного из них — менее героическую внешность трудно было себе представить. Сонгтрам, полноватый, темноволосый, ужасно любил смеяться, и не только, когда был среди людей, но и наедине с собой. Часто, проходя мимо его комнаты, мы слышали доносившиеся оттуда взрывы смеха. Он хохотал над любимой книжкой, над произведениями древних астрономов; его, как он говорил, забавляло не убожество их зна-

ний, а их самоуверенность. Не случайно именно к нему направилась делегация детей с самым серьезным предложением сделать какую-нибудь катастрофу — «маленькую, но настоящую», потому что без нее скучно.

Мы увидели скульптуру накануне четвертой годовщины со дня вылета с Земли. Она еще стояла в мастерской. Соледад, одетая в серый пыльный рабочий комбинезон, стянула полотно, которым была окутана скульптура. Астрогатор был изваян не в тяжелом каменном скафандре, не с поднятой вверх головой, не со взглядом, устремленным к звездам. На простом пьедестале стоял один из нас, чуть-чуть наклонившись, будто как раз хотел двинуться вперед и силился что-то вспомнить. У него был такой изгиб губ, что нельзя было определить сразу, улыбаются они или вздрогнули в тревоге. Он сосредоточенно думал о чем-то важном и, казалось, слегка удивлялся тому, что стоит один на гранитном цоколе.

Когда Соледад спросила Сонгтрама о своей работе, тот ответил.

— Ты веришь в меня больше, чем я сам.

На выпуклом щите, расположенном перед главным пультом рулевого управления, в течение четырех лет чернели цифры 281,4 и 2,2, означающие наш галактический курс, выраженный в угловых координатах. Серебристая точка, изображавшая наш корабль на большой звездной карте, дошла до половины пути, но небо по-прежнему оставалось неподвижным. Только немногие, самые близкие звезды лениво передвинулись на черном фоне: яркий голубой Сириус не спеша подползал к далекой красной Бетельгейзе, а звезды созвездия Центавра сияли все ярче. Время, казалось, замедлилось даже внутри корабля, и мы ощущали его течение лишь благодаря новым людям, появлявшимся среди нас.

Четырехлетний сын Тембхары (он родился уже на корабле) как-то за игрой спросил меня:

— Дядя, а как выглядят настоящие люди?

— Что ты говоришь, малыш! — удивился я. — Какие такие настоящие люди?

— Те, что живут на Земле.

— Так ведь все мы жили на Земле, — возразил я со скрытым волнением. — Твой отец, твоя мама, все мы... ты сам увидишь, когда мы вернемся. Впрочем, на видео записано немало всяких историй о жизни на Земле, ты ведь смотришь их и знаешь, что там люди как две капли воды похожи на нас.

— Э, — возразил мальчик, — это все ненастоящее, это только видео...

Дети постарше напоминали нам о своем существовании и более ощутимо: детский парк становился для них тесен и, расширяя игровое пространство, они устраивали на палубах и в коридорах «Геи» состязания в беге, наполняя шумом целые корабельные ярусы.

Время шло. Мальчики становились мужчинами, девочки — женщинами. В лабораториях мелькали новые молодые лица, но кроме роста научных и художественных коллективов были и другие перемены. У многих из нас в кругу близких помимо родных, коллег и друзей появились молодые люди, которые заходили поделиться чем-то сокровенным, попросить совета или помощи. Знакомства нередко превращались в дружбу. Это было и радостно и грустно. Радостно потому, что юность тянется лишь к тем, кто подает достойный пример. Грустно потому, что такой гость — первый вестник того, что твоя собственная молодость кончилась.

Нильс Ирьола бывал у меня часто. Теперь он был высоким, худошавым юношей; когда он улыбался или просто разговаривал, обнажались зубы, будто он надкусывал слова, как мелкие сочные фрукты. У него был очень живой ум, но его таланты были так перемешаны с полудетскими странностями, что автоматы, вынужденные отделять чистый металл от шлака, изнемогали. Знакомясь с его математическими работами, взрослые специалисты и бранились, и улыбались, потому что даже его чудачества отличались своеобразной прелестью. Он и сын профессора Трегуба, Виктор, моложе Нильса на год, составляли неразлучную пару; их можно было застать в самых невероятных местах за горячим спором.

Однажды вечером Нильс, в поведении которого я за последнее время заметил перемену — он сделался слишком молчаливым, — после церемонного вступления стыдливо признался, что пишет стихи. Для начала он принес несколько стихотворений; я читал их при нем и, чувствуя, с каким вниманием он следит за моим лицом, старался хранить безразличное выражение — увы, стихи были очень плохи. Вскоре он появился с новыми стихами. В этих рифмованных философских трактатах он призывал смерть, мечтал о небытии как убежище от страданий. Об источнике такого мрачного настроения я начал догадываться, когда в следующих стихах — он приносил их все больше — появи-

лась таинственная женщина. Один раз я не сумел удержать-ся и сказал:

— Вот тут ты написал «черные, как небо, глаза». Однако небо...

— Ну, потому что у нее черные глаза, — возразил он, краснея.

— Но небо-то голубое!

Он в изумлении посмотрел на меня и буркнул:

— Ну, да... я имел в виду настоящее небо...

Так; значит, небо Земли, ту светлую голубизну, которая ежедневно простиралась над его головой в парке «Геи», он уже считал вымыслом, в отличие от бескрайнего черного пространства, окружающего корабль. Так думал он — он, которому в момент отлета было уже четырнадцать лет. «Кто знает, — подумал я, — как много новых ассоциаций возникает в сознании тех, кто родился на «Гее»?»

В четвертую годовщину вылета с Земли состоялась традиционная встреча экипажа.

В этом году мы собрались в большом колонном зале. Когда я пришел туда с Тер-Хааром, физики из группы Рилианта и Руделика демонстрировали на световых моделях действие дезинтегратора. Дезинтегратор — столь мощный излучатель энергии, что одного его заряда достаточно, чтобы уничтожить астероид средней величины. Вместе с радарным устройством он предохраняет «Гею» от столкновений с космическими телами, поскольку из-за огромной скорости корабль не способен к обходным маневрам и единственный способ избежать катастрофы — распылить попавшееся на пути вещество ударами лучистой энергии. Зрелище, подготовленное физиками, было действительно весьма внушительным. Центр зала превратился в сцену, на которой была «разыграна» драма распыления на атомы метеорита, пересекающего путь корабля. В зале было темно, модели ракеты и метеорита поблескивали бледным фосфорическим светом; когда столкновение казалось неизбежным, из ракеты вылетел острый, как игла, луч и превратил каменный осколок в раскаленную тучу. Вспыхнул свет, любопытные окружили физиков, и завязалась горячая дискуссия, в которую скоро вмешались своими пискливыми голосами автоматы-анализаторы. Мы с Тер-Хааром ненадолго вышли в парк. На обратном пути перед входом в колонный зал увидели Амету, Нильса Ирьюлу и палеопсихолога Ахелиса, сидевших в глубокой нише напротив аквариума.

— В биологической эволюции, — говорил палеопсихо-

лог, — период в несколько тысяч лет представляет ничтожную величину. Строение наших тел, органов чувств, мозга такое же, как у древних, однако для аргонавтов Средиземное море было безграничным пространством, а мы называем расстояние от Земли до Солнца «астрономической единицей». Может быть, после нас появятся звездоплаватели, для которых единицей измерения их путешествий будет килопарсек...

— А все-таки разве нельзя сравнивать астронавтов с аргонавтами? — сказал Амета; по его лицу скользили зеленоватые и серебристые тени. — Разумеется, величину мужества нельзя измерять величиной преодолеваемого пространства, это бессмыслица. Головы древних были полны тумана магических верований, им везде слышались поющие сирены, виделись драконы, божества, призраки, но все равно они плыли дальше и дальше.

— Такое сравнение людей разных эпох мне кажется рискованным, — заметил Нильс. — Древние были неуравновешенными, порывистыми людьми, одинаково способными на слезы и на подвиг...

Амета поднял глаза. Напротив, за стеклом аквариума, покачивались рыбы, касавшиеся открытыми ртами стеклянной стены и словно прислушивавшиеся к разговору.

— Древние были очень простые и очень добрые люди, — сказал пилот, — и я прекрасно их понимаю. Они имели мужество мечтать, а то, что они облекали свои мечты в странные для нас сказочные образы... Ну, это не существенно. Бросать рыбацкие хижины и направляться в неисследованные просторы морей их заставляло, по сути дела, то же, что толкает нас к звездам.

— Как ты можешь говорить так? — Нильс встал. — Древние делали свои открытия бессознательно, в погоне за выдуманными, не существующими целями. Они были рабами мифов!

— Ты несправедлив, — заметил палеопсихолог. — В варварскую эпоху жизнь представлялась танцем пылинок в солнечном луче, прерываемым время от времени катаклизмами. Однако человек хотел познать смысл существования — своего и других людей. Стремясь найти его любой ценой, он приходил к логической бессмыслице: чтобы придать смысл земной жизни, переносился из реальной жизни в воображаемую вечную.

Увидев, что Нильс его не слушает, психолог замолчал. Юноша смотрел в глубь коридора. Там шла молодая девуш-

ка. Нильс, сам того не замечая, вышел из нашего круга. Девушка оглянулась. Следом за ней в коридоре показалась другая фигура, это был Виктор.

Оба — девушка и Виктор — миновали нас и скрылись в длинной анфиладе колонн. Нильс остолбенел. Пальцы его слегка шевелились, словно он хотел что-то скомкать. Вдруг он вздрогнул, вероятно почувствовав, что на него смотрят много глаз, выпрямился и нарочито спокойным, широким шагом двинулся к стеклянной стене. Закусив губу, он как будто всматривался в зеленые блики, в стекла, отражавшиеся в его невидящих глазах. И тогда, глядя на этого юношу, я вспомнил, как сам был очень молод и очень несчастлив в любви, как бродил целую ночь и вернулся под крышу дома лишь утром, вымокший до нитки, выпачканный сосновой смолой. Дом этот стоял в горах, была непроглядная мгла, моросил дождь. Я уснул. Меня разбудило первое чириканье птицы. С трудом разминая затекшие руки и ноги, я подошел к окну. Светало. Я широко распахнул раму и стал всматриваться туда, где соприкасались земля и небо и все ярче разгорался день; тучи вспыхивали, отражая невидимые лучи. Засмотревшись вдаль, я будто заглядывал в огромные, бесконечные ряды дней впереди, подобные неизмеримому богатству, которым я буду осыпан, и чувствовал, как сильно бьется мое сердце: я был так грустен и так счастлив...

Дружеская встреча затянулась до поздней ночи. Наконец шум в зале стал стихать, начал гаснуть свет. Мы уже ощутили усталость, паузы в беседах стали чаще, и тогда слышались только легкие шаги обслуживающих автоматов. В одну из таких минут кто-то затянул старинную песню. Поначалу мелодия неуверенно переходила от одного к другому, затем захватила всех. И мне и другим иногда не хватало слов. Мало кто помнил эти древние, еле понятные, странные слова о заклеянных проклятьем людях, которых мучил голод, об их последней борьбе. Когда одни голоса замолкали и песня обрывалась, словно падала, ее подхватывали другие, она снова ширилась и звучала мощно. Позади меня раздавался мощный бас. Я повернулся и увидел Тер-Аконяна. На его лице отражалась суровая красота породивших его гор; он, мечтавший, пожалуй, сильнее нас всех о путешествии к звездам и посвятивший ему всю жизнь, стоя пел старый гимн землян и плакал с закрытыми глазами.

Дней десять спустя ночью меня разбудил звонок из больницы: поступила роженица. Набросив халат, я заглянул в спальню Анны; ее постель была нетронутой. Вечером она

сказала, что должна срочно закончить опыт в лаборатории Шрея и вернется довольно поздно. Я посмотрел на часы: около трех. Мне стало не по себе. Решив сказать ей утром пару едких слов, я отправился в родильное отделение. В полумраке приемной я увидел жену астрофизика Рилианта — Милу Гротриан. У нее были первые роды. Она очень волновалась. Я спросил, где ее муж. Оказалось, что он в обсерватории, следит за затмением какой-то двойной звезды. Чтобы рассеять ее страх, я стал в шутку жаловаться на нашу общую с ней беду: чрезмерную занятость супругов. Рилиант звонил каждые четверть часа, справляясь, как проходят роды. Поскольку звонки отрывали меня от роженицы, я сказал ему, чтобы он следил за своей звездой, а я уж буду заниматься его женой.

Роды проходили медленно; около четырех часов пульс плода стал меня беспокоить; я подождал некоторое время, рассчитывая на силы природы, но, когда сердце неродившегося ребенка явно начало слабеть, решил сделать инъекцию. Подготовил инструменты, разложил салфетки и нашел голубую жилку на мраморно-белой руке женщины.

— Это совсем не больно, — сказал я, — смотри, вот уже все.

Прозрачная жидкость уходила из шприца. Почувствовав сопротивление поршня, я отвел ладонь. В это мгновение на потолке вспыхнула красная лампочка и сразу со всех сторон послышался дребезжащий голос:

— Внимание! Тревога! Готовность второй степени...

Раздался треск, пол заколебался под ногами, свет погас. Я стоял в темноте над кроватью роженицы и в тишине слышал ее дыхание. Вспомнил, что выключатель запасных рефлекторов находится у изголовья кровати, и стал его искать. Однако, не успев его найти, ощутил очень сильный толчок, похожий на удар невидимого молота об пол. Одновременно из скрытых репродукторов послышался металлический хрип; он все усиливался и перешел в судорожное рычание.

— Мила! — крикнул я. — Мила, держись!

Новый толчок отбросил меня от кровати. Я упал и потерял ориентировку. Вскочил, ударившись головой обо что-то. Раздался новый удар, я зашатался, протянул вперед руки. Все происходило в кромешной тьме, перед глазами мелькали какие-то цветные пятна. Я понапрасну таращил глаза, пытаясь что-нибудь разглядеть. Я не чувствовал ни малейшего страха, только ощущение невыносимого бессилия, переходившее в гнев. Из репродукторов, наполнявших воздух ад-

ским воем, раздался похожий на рыдание крик человека, с трудом переводившего дыхание:

— Готовность... третьей степени... включаю... аварийную сеть... Внимание...

Затем раздался двойной удар, словно рядом взорвался мощный заряд, и голос, настолько слабый, что я скорее догадался о смысле слов, чем их расслышал, произнес:

— Сила тяжести... не действует...

Мое тело теряло вес.

«Какая глупость! — мелькнуло у меня в голове. — Ну почему я не ношу с собой фонарика!» Я не носил его потому, что освещение на корабле представлялось мне абсолютно застрахованным от случайностей. Я повис в воздухе, беспомощный, как щенок, которого схватили за шиворот, и в отчаянии начал кричать:

— Мила... отзовись...

Загорелись зеленоватые аварийные лампочки. Я наискосок висел в пространстве, метрах в четырех от кровати. Мила полусидела, прикрывая одной рукой живот, а другой судорожно ухватившись за металлический поручень. После нескольких неудачных попыток мне удалось добраться до нее. Она была очень бледна. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я попытался улыбнуться.

— Ничего, это бывает! — прокричал я, хотя она не могла ничего услышать: вой над головами не прекращался.

Новый толчок чуть не оторвал меня от кровати. Я поспешно привязался ремнями к ее спинке, чтобы высвободить руки. Корабль опять задрожал, но уже по-иному. Каждые несколько секунд повторялся дьявольский свист, заканчивавшийся глухим ударом. Я понял: в глубине «Геи» разрушались герметические переборки, отделяющие один отсек от другого. Это уже не происшествие, это катастрофа.

Лицо Милы с огромными неподвижными глазами было прямо передо мной. Вдруг она изогнулась всем телом, что-то закричала — я не мог расслышать. Приблизил лицо к ее губам.

— Мама! Мама! — будто издали донесся до меня ее голос.

Послышался еще один удар, словно переборка рухнула где-то рядом с родильным отделением. В этот момент, за долю секунды, у меня промелькнули, как молнии, две мысли: одна, что роды идут и ничто, кроме смерти, не может их остановить. И другая: лаборатория Анны размещена на верхнем ярусе, вплотную к оболочке корабля. Я словно уви-

дел ее незащищенное, любимое тело и лавину падающих во мраке металлических конструкций. Сердце замерло, словно его пронзили. Я сжался и рванулся от кровати: бежать, разбивать голыми руками стальные стены, погибнуть вместе. Рвался, как безумный, забыв про ремни, которыми минуту назад привязался к кровати.

Роженица выгибалась, что-то кричала, широко раскрыв рот. Я уже не пытался бежать. Протянув руки, нащупал горячую, влажную головку, слепившиеся от крови волосенки младенца.

Призрачный свет аварийных ламп дрожал; сохранялась невесомость; вокруг наших голов летали разные инструменты. В какой-то момент большой прозрачный сосуд с кровью поднялся и проплыл около моего виска, засверкал рубином под лампой и отскочил от перегородки. Я не слышал стонов Милы, лишь видел искаженные муками губы и сверкающие зубы.

Вой, грохот, гул раздавались над нами. Я еще сильнее наклонился, заслонив собой ее живот. Свет замигал; еще секунду были видны лампы, как фосфоресцирующие шары. Потом установилась темнота, а вместе с ней — полная тишина, в которой внезапно послышался слабый, но очень отчетливый писк. В левой руке я держал — не знаю, сколько уже времени, — инструмент. Нашел на ощупь пуповину, перерезал. Удалось дотянуться до столика, вытащить из коробки несколько салфеток, сложить их и обернуть тельце новорожденного. Наверху снова что-то шелкнуло.

— Держись! — крикнул я женщине, ожидая толчка, но его не последовало.

В репродукторе долго слышался треск, потом раздался знакомый голос. Говорил Ирьола:

— Товарищи, где бы вы ни были, сохраняйте спокойствие. Произошло столкновение «Геи» с мелким космическим телом. Мы овладели положением. Пять верхних ярусов временно отрезаны от остального корабля. Сейчас включим аварийные гравитационные приборы, приготовьтесь к тому, что к вам возвратится ощущение тяжести. Через пятнадцать минут передадим новые сообщения. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь там, где вы сейчас находитесь.

Репродуктор шелкнул, снова стало тихо. Загорелись лампы. Послышался глухой, частый стук: с возвращением силы тяжести посыпались на пол инструменты и аппараты, какой-то стеклянный предмет разбился, и его осколки, звеня, рассыпались по полу. С минуту я повозился, развязывая ремни,

которыми привязался к кровати. Потом отнес ребенка в ванную. Из кранов бежала теплая вода. Ребенок оживился в ванне и попискивал все громче, мигая большими голубыми глазами. Я забинтовал ему животик и вернулся к матери, по-прежнему прислушиваясь к происходящему за стенами родильного отделения. Сначала было слышно отдаленное бульканье, словно с большой высоты падали каскады воды, потом лихорадочно застучали молотки и послышался свист газа, вырывавшегося из узких труб; что-то заскрежетало, кто-то с огромной силой тащил грузы по шероховатой поверхности, потом раздался короткий звук, согретый мое сердце: заработал лифт.

Проходили минуты. Мила, совершенно измученная, лежала на спине; у нее было маленькое, детское личико, очень похожее на лицо ее ребенка, — его самого, тепло укутанного, я все еще держал на руках.

«Я сделал все, что должен был сделать, — подумал я. — Ребенок живет, Мила чувствует себя хорошо, теперь можно идти...» Однако я остался на месте. Открылась дверь, вошел Шрей. За ним шел автомат с круглой лампой, отбрасывающей сильный матовый свет. Параллельно движению лампы на стене, словно живые, двигались тени от предметов.

Шрей остановился в нескольких шагах впереди автомата, окинул взглядом родильный зал, кровать с роженицей, разбитые и в беспорядке разбросанные по полу инструменты, пятна крови и наконец посмотрел на меня.

— Только что родился? — спросил он, глядя на ребенка у меня на руках. Слабая, невеселая улыбка смягчила его губы.

— Что с ней?.. — с трудом вымолвил я.

Шрей не понял.

— Ты о ком? — спросил он.

У меня перехватило дыхание. Это в его лаборатории Анна была ночью.

— Что... с ней?.. — повторил я, не смея назвать ее по имени.

— С Анной? — догадался Шрей. — Она была у меня дома, сейчас придет сюда... Ты что, хочешь задушить ребенка! — закричал он, увидев, как крепко я прижал его к груди.

Я дышал теперь, как после быстрого бега.

— Что случилось с кораблем, профессор?

— Я знаю столько же, сколько ты. Мне сейчас звонил Тер-Аконян, он пытался связаться с тобой, но неудачно.

— Я был здесь.

— Да, — Шрей кивнул. — Он не хотел вызывать врачей через общую сеть, чтобы не нагнетать тревоги. Нам нужно подготовиться, сейчас начнут поступать раненые...

В коридоре слышались шаги и голоса. Открылась дверь, вошла Анна. Все еще держа ребенка на руках, я побежал к ней и замер. Коридор не был освещен. Лишь из глубины его, в метре от пола к нам тянулась вереница мерцающих огоньков. Это были носилки, покрытые белыми полотнищами. Из-под покрывала ближайших носилок свеживалась, бессильно покачиваясь, женская рука.

Пролетая 170 000 километров в секунду, «Гея» встретила по курсу метеорит. Эхо радара обнаружило его на расстоянии 90 000 километров. Потребовалась тысячная доля секунды, чтобы автоматы нацелили на него дезинтегратор. Метеорит, получив удар лучистой энергии, распался. «Гея» же, продолжавшая мчаться, не снижая скорости, оказалась на месте взрыва, когда процесс атомного распада еще продолжался. Волна пылающих осколков ударила в верхнюю часть брони и разорвала ее на девятиметровом участке. Облако раскаленных газов ворвалось внутрь корабля, прорвало все слои внутренней изоляционной оболочки и пробило баки с водой в месте, где под ними проходят трубопроводы холодильной сети с жидким гелием.

Это случилось как раз в то время, когда автоматы проверяли герметичность труб; жидкий гелий циркулировал под большим давлением, а все краны, автоматически выключающие его приток, были заблокированы. Жидкий гелий с температурой всего на три градуса выше абсолютного нуля с огромной силой вырвался из разорванных труб и бурным потоком хлынул через запасную вентиляционную шахту в центральную аппаратную, стекая по оболочкам автоматов. Все электрические провода, с которыми он соприкасался, были заморожены и превратились в сверхпроводники. Вместо передававшихся в определенном порядке импульсов и сигналов возник хаос перепутанных токов. Непрерывно поступавший гелий заливал аппаратную, и автоматы под влиянием сверхпроводимости один за другим выходили из строя.

Прямо под аппаратной, в кабине рулевого управления, на этот момент — три часа сорок семь минут — был лишь один человек — дежурный астрогатор Сонгтрам. Он не мог ни заблокировать магистральный трубопровод жидкого ге-

лия, ни опустить герметические переборки, ни закрыть пробоины в оболочке временным тампоном: одни автоматы были совершенно парализованы, другие действовали, как помешанные, искажая команды и отдавая за долю секунды по нескольку различных, часто противоречивших друг другу приказов. Сонгтрам не мог установить связь ни с кем и с трудом сумел объявить тревогу по аварийной радиотелефонной сети, поскольку и ее кабель на некотором протяжении подвергся воздействию жидкого гелия.

Он был один. Висевшие перед ним циферблаты и указатели уже ничего не измеряли и не показывали; все контрольные лампочки гасли и загорались без малейшего смысла, корпуса трансформаторов дрожали, некоторые сгорели, в других от перенапряжения группами перегорали предохранители — по контрольным приборам проскакивало фиолетовое пламя. Сонгтрам знал, что гелий скапливается у него над головой, и понимал, что рано или поздно гелий заполнит всю аппаратную, проникнет в глубоко укрытый электрический регулятор атомных реакций и корабль погибнет.

Неизвестно, о чем он думал, но то, что он делал, было зафиксировано регистрационной аппаратурой: она действует на принципе сверхпроводимости и ее не затронула катастрофа. В кабине рулевого управления становилось все холоднее, потолок, над которым перекачивалась большая масса жидкого гелия, сверкал изморозью, на досках пюпитров оседал иней, дыхание вырывалось изо рта белым паром. Гелий наверху все кипел и заливал секции автоматов, расположенные выше, а через отверстие в броне каждую секунду улетучивались сотни кубических метров воздуха. Сонгтрам еще раз попытался пустить в ход центробежные насосы, дистанционно управляемые предохранительные затворы и включить аварийную сеть, проложенную параллельно основной, но это ему не удалось.

Был еще один способ. Он знал, что, если открыть вентиляционные клапаны в потолке, скопившийся над ним гелий хлынет в кабину рулевого управления и, прежде чем он заполнит ее, температура наверху поднимется — хотя и незначительно, но достаточно для нормальной работы автоматов; после этого автоматы уже сами остановят приток гелия. Электрорегулятор аппаратуры был заблокирован, и надо было открывать клапан вручную, поворачивая маховичок вентиля на боковой стене кабины управления. Открыв один клапан, он успел бы выбежать из кабины, но он не был уверен, что через это отверстие из аппаратной будет уходить

гелия больше, чем поступает туда из лопнувших труб. Открыв все клапаны, он не успел бы спастись. Жидкий гелий замораживает так быстро, что погруженный в него человек за секунду превращается в стекловидную мумию. Сонгтрам еще раз попытался запустить центробежные насосы, но безрезультатно.

Тогда он перестал нажимать на кнопки. Четыре секунды с долями он не делал ничего. Потом начал открывать клапаны один за другим. Он успел открыть четыре. Гелий четырьмя водопадами стал низвергаться в кабину, автоматы вверх были освобождены, и все произошло так, как предвидел Сонгтрам. Одни автоматы прекратили доступ гелию, другие пустили в ход насосы, и те выкачали гелий из кабины рулевого управления; третьи закрыли отверстие в оболочке слоями быстро твердеющего, металлизированного цемента, выбрасываемого под высоким давлением, выключили гравитационное устройство и опустили в глубине «Геи» герметические переборки, чтобы не дать испаряющемуся гелию смешаться с воздухом в жилом отсеке. Потом из аварийных люков выползли механоавтоматы; они двинулись в резервные проходы, пробрались между изоляционными оболочками аппаратной и принялись ремонтировать взорванный резервуар с водой. Они работали непрерывно до шести часов утра и устранили следы катастрофы внутри корабля.

Несколько членов экипажа были легко ранены на третьем и четвертом ярусах осколками лопнувших труб. Перевязав раненых, мы пошли с Ирьюлой в кабину рулевого управления, уже просушенную и приведенную в порядок. Когда мы уходили оттуда, было семь часов утра. Тихие пустые коридоры были залиты искусственным светом. Ирьюла дошел со мной до места, где дороги наши должны были разойтись, но все шел дальше, словно не мог меня оставить. Перед самой дверью больницы — я туда возвращался, чтобы осмотреть контуженых, — он внезапно остановился.

— Если бы я не сделал этого подсчета... — сказал он.

Я вопросительно посмотрел на него. Но он не глядел на меня.

— Я не мог удержаться... Ты знаешь, ему не нужно было... Достаточно было открыть один клапан. Он мог бы...

Я понял:

— Он не знал?

— Не мог знать. На подсчеты надо было затратить по меньшей мере несколько минут. Он не позволил себе этого.

Я молчал, перед глазами вновь возникло то, что я увидел

в кабине рулевого управления: пустое, большое помещение, в котором почти не осталось следов катастрофы, и все еще стоявший — с рукой на маховичке вентиля, не окончившем последний оборот, — памятник астрогатору.

Ирьола все сильнее сжимал мои пальцы.

— Ты... не знал его...

Он вдруг осекся, и я второй раз за этот год увидел плачущего мужчину.

На следующий день инженеры приступили к восстановлению металлической брони «Геи» в месте разрыва. Открылись аварийные люки, и на поверхность корабля вышли механо-автоматы. Людям представилась единственная в своем роде возможность вылазки в межзвездную пустоту.

В той части палубы, где сходились коридоры, работа была в разгаре. Каждую минуту из шахты высовывался какой-нибудь автомат, а другие, ожидавшие у транспортера, нагружали его инструментами и металлом, после чего стальное создание, не оборачиваясь, входило в лифт, шагая так тяжело, что казалось, пол прогибается под ним.

Желающих выйти на поверхность «Геи» оказалось много, и мне пришлось долго ждать своей очереди. Наконец я очутился у барокамеры. Амета, уже приготовившийся к выходу, помог мне надеть скафандр. Я влез в него через широко раскрытое головное отверстие; затем на плечи мне был опущен круглый воротник, наподобие кружевного жабо, какие носили в древности, с той только разницей, что это металлическое жабо, где помещались аппаратура обогрева и дыхательные трубки, было довольно тяжелым. Поверх него на меня надели шлем из прозрачной пластмассы с выпуклым забралом над глазами. При движениях я ощущал два толстых скафандра — внешний, металлический, с плотным серебристым покрытием, с виду напоминающим пух, и внутренний, шелковистый на ощупь. Там, где действовала сила тяжести, двигаться в этом массивном убранстве было нелегко. Подталкиваемый сзади, я попал в барокамеру; сквозь стекла шлема электрический свет казался желтоватым и слабым, и я потерял из виду Амету. Последним торжественным движением автомат у выхода проверил, плотно ли присоединен кислородный баллон, после чего крышка внутреннего люка закрылась. Несколько секунд я слышал легкое шипение воздуха, потом, не прижимаемая более внутренним давлением, у моих ног открылась крышка внешнего люка, и я начал спускаться по лесенке; сначала ноги, потом

корпус и голова оказались снаружи «Геи» — впервые за четыре года.

Держась за конец трапа, я встал на металлическую оболочку; магниты подошв крепко пристали к ней. Я выпрямился. Глаза еще не отошли от света помещений, однако через несколько секунд они приспособились к темноте. Внешняя оболочка «Геи» была неподвижна; лишь внутреннее, населенные помещения корабля вращались подобно гигантской карусели для создания искусственной силы тяжести. Там, где я стоял, все было неподвижно. Вокруг, образуя горизонт, сверкали во мраке скопления светил Млечного Пути. Я перестал ощущать тяжесть скафандра и чувствовал себя голым, словно вся поверхность моего тела была отдана во власть пустоте. Опасаясь, как бы из-за неосторожного движения не сорваться с невидимой стальной оболочки, я съехал и припал к ее твердой поверхности. Вспомнив, что с горловиной внешнего люка меня связывает длинный трос, которым опоясали скафандр перед выходом, я стал судорожно искать его и, нажав случайно на выключатель магнитов, свалился в бездну. Расширенными от ужаса глазами я увидел, как медленно разматывается равномерно уложенный, светящийся люминесцирующий трос. Он вытягивался, как длинная белая пуповина, пока я не повис наискосок, словно воздушный шар, под кораблем — или над ним — в отсутствие тяготения это было все равно. Я задрал голову вверх — звезды. Я взглянул вниз, под ноги, — звезды; всюду были мертвая темень и застывший в ее пропастях звездный песок. Я почувствовал внезапное головокружение и судорожно зажмурился. Удары пульса глухим эхом наполняли небольшое воздушное пространство вокруг моей головы.

Я опять открыл глаза и перевел взгляд от знакомых очертаний Большой Медведицы ниже, туда, где между эпсилоном и дельтой Кассиопеи светила неподвижная искорка — Солнце. Оно было такое невзрачное, такое непохожее на все мои воспоминания о нем, что я не почувствовал ни тоски, ни даже удивления, а лишь безразличие, под которым скрывалось неподвластное разумным аргументам неверие в то, что эта желтоватая пылинка, ничем не отличающаяся от многих тысяч других, — мое родное светило.

Мне захотелось взглянуть на «Гею». Я думал, что увижу висящее неподвижно в пространстве темное, стройное веретено, но не увидел ничего. И во второй раз отвратительный страх схватил меня за горло; мелькнула ужасная мысль, что трос развязался и я остался один в бескрайней крошеч-

ной тьме. Охваченный паникой, я беспомощно извивался, как слепой червяк, пытаясь ухватиться за что-нибудь, прикоснуться к какой-нибудь твердой опоре. Сердце стучало как молот, взглядом я пытался охватить небо. Всюду неподвижно светились миллионы звезд, настолько слабых, что я не видел собственных вытянутых рук, будто растворился в этой всепоглощающей черноте. Я слышал лишь шум крови в своих жилах, видел непроглядную бездну и — больше ничего.

Неожиданно в поле зрения очутился длинный змеевидный трос, который связывал меня с кораблем. Напрягая до боли глаза, я увидел «Гею» или, скорее, догадался, что она рядом, — ее рыбий контур закрывал звезды. Корабль образовал черный провал среди южных галактических скоплений. Я торопливо начал перехватывать трос и через несколько мгновений почувствовал твердую опору, уткнувшись обоими коленями в бронированную оболочку корабля. Вспомнил про магниты и включил их. Теперь я мог ходить. Вдруг совсем близко вспыхнул зеленый светлячок: лампочка чьего-то скафандра. Кто-то стоял и смотрел, как работают механоавтоматы. Я подошел ближе. Несколько рефлекторов освещали место работы. Края развороченной брони, причудливо оплавленные при ударе, отбрасывали уродливые тени под лучами рефлекторов. Одни автоматы отрезали стальные лохмотья, другие сшивали раны электрической дугой, следом за ними принимались за работу шлифовальные машины. Они отбрасывали во мрак снопы золотисто-лиловых искр. Это было потрясающее зрелище: машины, словно какие-то чудовища, скорчившиеся под вечными звездами, создавали разноцветные миры и те гасли, едва возникнув.

По другую сторону площадки горел еще один зеленый светлячок. Я зашагал к нему. И снова меня окружил поблескивавший звездами мрак. Не хотелось верить, что «Гея» и вправду стремительно мчится — я на себе ощутил относительность движения: понятие скорости не значит ничего, если скорость не соотносится с другими объектами. Сначала я подумал, что одиноко стоящий человек — Амета, но он был выше Аметы. Я поднял руку, собираясь коснуться его плеча, и тут же опустил ее. Это был Гообар. Он стоял, скрестив руки на груди, освещенный снопом искр, летящих рядом с нами, и смотрел в бесконечную пустоту Вселенной. Он улыбался.

Не знаю, когда я полюбил Анну. Это, должно быть, случилось давно, но я осознал это лишь во время катастрофы, когда мы потеряли товарища. Наша жизнь и теперь не стала сплошной вереницей светлых, тихих дней. Слишком много впечатлений приносило путешествие. Я не всегда справлялся с ними и, бывало, впадал в гнев или чувствовал себя беспомощным и совершенно разбитым. Но и в гневе, и в печали я любил Анну — начинал скучать по ней даже тогда, когда она была совсем рядом, стоило ей выйти из комнаты.

Много месяцев подряд я работал до поздней ночи. После такой работы обычно спал как убитый и просыпался рано утром, не помня, кто я и как меня зовут. Когда же я себя обретал, первым ощущением было одно: Анна со мной. Это осознание окружало меня, казалось, оно освещает и комнату, и каждый предмет, которого касается ее взгляд; если бы я утратил все воспоминания, забыл прошлое и не помнил ничего, кроме нее, я все равно остался бы самым богатым человеком на свете. По вечерам мы уходили на смотровую палубу, туда, где я когда-то целовал ее под звездами. Мы смотрели в темноту и ощущали — не касаясь друг друга, — что мы рядом. А высоко над нами сияло скопление Плеяд, огромные стаи светил, летящих в пространстве.

Однажды Анна прервала молчание словами:

— Любимый, правда там, вокруг этих солнц, обращаются населенные планеты?

— Да, — сказал я, еще не понимая ее мысли.

— Таких планет, населенных разумными существами, в Галактике должны быть миллионы, верно?

— Конечно.

— Значит, эта чернота не мертвая и не пустая: ее непрерывно пронизывают взгляды миллионов живых существ!

Как поразили меня эти слова, такие простые и естественные! Анна права, подумал я. Когда я смотрю на холодные огни Южного Креста, мой взгляд, может быть, скрещивается со взглядами неизвестных существ, которые хотя и выросли под другим солнцем, но, как и мы, всматриваются в грозную вечную красоту Вселенной.

Четыре месяца спустя после катастрофы я получил отпечатанную в старинном стиле карточку со словами:

Группа биофизиков «Геи» имеет честь пригласить Вас в Большой зал на расширенное заседание; начало в шесть часов вечера по местному времени.

Порядок дня:

- 1. Предварительное сообщение профессора Гообара.**
- 2. Дискуссия.**

Тема предварительного сообщения — «Проблема транс-галактических путешествий».

Казалось, никогда еще время так не тянулось, как в этот день. Работая в больнице, я то и дело посматривал на часы. Решил прийти на заседание в пять часов, но, как бы случайно, направился к Большому залу в четыре часа, полагая, что там еще никого нет. Каково же было мое удивление, когда уже издали стал слышен шум голосов. В пять двадцать зал был заполнен до отказа. Со своего места в верхнем углу амфитеатра я видел море голов: во всех проходах стояли люди, оставалась свободной лишь узкая полоска пространства у больших черных досок. Собрался весь экипаж «Геи»; лаборатории опустели, не было только одного человека — дежурного астрогатора, но и тот следил за всем, что происходило в зале, по телевизорам, установленным в кабине рулевого управления.

Когда пробило шесть часов, из боковой двери вышел Гообар. Поднялся на трибуну, довольно долго перебирал куски мела, уложенные под доской, наконец взял один, повернулся, слегка поклонился и заговорил.

Он начал с перечисления некоторых общеизвестных фактов, напомнил о мерцании сознания при некоторой субсветовой скорости — «светового порога», — о попытках преодолеть этот порог, иногда кончавшихся смертью участников опыта. В конце своего короткого вступления он сказал:

— Большинство специалистов считало, что путешествовать со скоростью свыше 190 000 километров в секунду для человека невозможно. Однако другие выражали надежду, что нам когда-нибудь удастся открыть средства, предохраняющие человека от губительного действия огромных скоростей. Поскольку общепринятая теория жизненных процессов исключает возможность таких средств, они утверждали, что эта теория, по всей видимости, ошибочна и будет опровергнута. Что касается меня, то я никогда не придерживался ни первой, ни второй точек зрения. Я просто поставил себе задачу расширить теорию жизненных процессов.

По залу пронесся легкий шум.

Гообар написал на доске общеизвестное энергетическое уравнение живой клетки и, отряхивая мел с пальцев, продолжал:

— Коллеги, вероятно, поражены моим утверждением, что может существовать теория более общего характера, чем та, которую выражает написанная формула. Действительно, эта формула охватывает все известные проявления жизненных процессов в земных организмах, от простейших — например, бактерий, — до высших, включая человека. Кажется, представить себе теорию более общую, чем эта, невозможно? Единственную возможность ее усовершенствовать я вижу в такой постановке вопроса: жизнь на Земле есть всего лишь конкретный случай активного существования, имеющегося на планетных системах Вселенной. На других небесных телах могут быть существа, возникшие иначе, чем на Земле. Наша жизнь — форма существования белковых соединений, но давно уже высказывались предположения, что могут существовать структуры, подобные белку, построенные из атомов кремния, — так называемые силиколипоиды. Опираясь на это рассуждение, я решил искать более общий закон, управляющий возникновением всех форм жизни, которые могут возникнуть на миллионах планетных систем Космоса. Возможность создания такой теории на основе эксперимента исключалась, поскольку мы даже отдаленно не знаем, как могут возникать неизвестные нам организмы. Единственным доступным путем было создание теории на основе всеобщих законов, действующих во Вселенной, то есть законов мертвой материи. Как известно, создана новая отрасль математики, отражающая жизненные процессы земных существ, так называемая биотенсорика; я поставил себе задачу обнаружить ее математическую «кровную родню» и могу сказать, что после нескольких лет работы нашему коллективу это удалось.

По залу вновь разнесся глухой шум, будто волна пронеслась над головами собравшихся и стихла.

Гообар написал первую формулу и некоторое время всматривался в нее, наклонив голову. Затем он начал писать очень быстро. Уравнения вытекали одно из другого. Глухо скрипел мел в мертвой тишине; иногда он со стуком падал на пол. Постепенно доска покрывалась малоразборчивыми знаками. Я уже давно потерял нить рассуждения и следил за развитием доклада по реакции ученых. Некоторые делали записи. Подавшись вперед на стульях, они читали каждую

появившуюся на доске формулу, временами морщили лбы или застывали неподвижно; иногда на их лицах появлялась улыбка, словно они замечали в чужой толпе знакомое лицо. Напряжение в зале неуклонно росло: то тот, то другой хватал обеими руками доску пюпитра, как бы стремясь встать, но застывал, не закончив движения. Тембхара, сидевший впереди меня, облизывал пересохшие губы, а его соседка Чаканджан приложила обе руки к вискам, как бы желая отгородиться от всего, что мешало следить за развивающимся рядом уравнений, заполнивших доску вплоть до рамы. Гообар, ни на секунду не задумываясь, продолжал выписывать свои вычисления на сверкающей панели темно-красного дерева. Закончив их, он сказал:

— А теперь заменим детерминанты...

Он нажал на кнопку. Механический рычаг поднял покрытую формулами доску и опустил на ее место новую; ученый подул на руку, обсыпанную белой пылью, и стал писать дальше. Остановился, наклонил по-птичьи голову, вглядываясь в формулы, и хрипловатым голосом произнес:

— Теперь подставим везде однородные поля и получим... — Он написал короткое уравнение. — Как видите, пример, сведенный к этой общей формуле, показывает неизбежное прекращение жизненных процессов при скорости выше светового порога. Иначе говоря, за этим порогом должна наступить смерть.

Короткий отзвук, похожий на сдавленный вздох, вырвавшийся из одной огромной груди, всколыхнул воздух. А Гообар, стоя у доски, невозмутимо продолжал:

— Все это совершенно верно. Смерти избежать нельзя — так заканчивается данная формула. Я долго не мог найти выход, мне казалось, что дальше двигаться некуда. Однако это не так. Что произойдет, подумал я, если перевернуть проблему, отбросить общепринятый путь и подойти к ней не со стороны жизни, а именно со стороны смерти? Если за основу принять организм, внезапно убитый огромной скоростью, и последовательно рассмотреть ситуацию с ним на меньших скоростях?

Гообар опять повернулся к доске, стер рукавом несколько знаков и начал писать, продолжая рассуждение:

— Подставим еще раз однородные поля... А сейчас Гарганову транспозицию... теперь у нас получилось...

Он заключил написанную формулу в рамку. Еще мел в его пальцах не успел оторваться от темной доски, как в зале послышались едва сдерживаемые возгласы восхищения. Я

оглядел зал. Кибернетики, биологи, математики вскочили с мест и замерли, словно пораженные явившимся им чудом. Они всматривались горящими глазами в доску. Гообар вытер со лба крупные капли пота, повернулся к залу и, словно не замечая, что там происходит, сказал:

— Как видите, смерть, наступающая при превышении скорости света, обратима... Когда скорость возрастает постепенно, происходит постепенное умирание организма: распающиеся группы энзимов, или иначе ферментов, начинают отравлять и уничтожать ткани, наступает разложение. Однако, если световой порог преодолеть быстро, путь к изменениям молекулярной структуры организма будет как бы заблокирован. И когда мы так же внезапно перейдем на меньшую скорость, все функции тканей восстановятся, как восстанавливается движение маятника на временно остановленных часах. Какое ускорение следует придать организму, чтобы он преодолел порог скорости в зоне обратимой смерти? Формула отвечает: ускорение в двадцать раз больше земного, при котором человек будет весить около полутора тонн. Такое ускорение не убьет его, если будет воздействовать ничтожную долю секунды, а больше нам и не нужно. Фигурально выражаясь, таким образом можно пробить стену светового порога.

Каковы же дальнейшие перспективы? Представим, что у нас есть ракета с экипажем, которая приблизится к световому порогу скорости, а затем одним скачком перейдет к скорости более высокой. Наступит почти полная остановка всех жизненных функций членов экипажа. Людей в ракете постигнет смерть; однако она обратима, и, когда ракета так же внезапно сделает скачок от скорости, превышающей световой порог, к скорости ниже порога, люди оживут. Следует подчеркнуть, что состояние такой обратимой смерти, или, если хотите, нечто подобное глубочайшему летаргическому сну, может длиться довольно долго — сотни или даже тысячи лет, поскольку в ракете, движущейся со скоростью, скажем, 999 тысячных скорости света, влияние времени практически прекращается, а значит, прекращается и процесс старения. Это даст возможность предпринимать экспедиции в любые отдаленные части Вселенной. Даже если путешествие продлится 100 000 лет, к цели долетят те же люди, которые отправились с Земли, а не их отдаленные потомки; эти люди не будут подвержены старению, не будут страдать от тягот путешествия; этот огромный отрезок времени не будет для них вообще существовать, поскольку на это время

их сознание будет отключено. Как видите, в этом случае перед нами открываются перспективы, несравненно более широкие, чем если бы мы могли путешествовать, не замедляя течения времени. Прежде всего нам станет доступно произвольное замедление и ускорение движения времени; благодаря этому человек, погруженный в обратимую смерть, сможет перескочить через целые века и дожить до отдаленного будущего. Конечно, этот новый способ передвижения в Космосе непременно повлечет за собой серьезные психологические последствия. Появится огромное количество проблем, из которых я хочу коснуться одной. Группа людей, отправившаяся в глубь Галактики, вернется на Землю через несколько сот или даже тысяч лет. Эти люди оставят общество на определенном этапе развития, у них на Земле останутся близкие, родные, друзья. Их мировоззрение, привычки, обычаи, эстетические привязанности, их знания будут связаны с конкретной культурной формацией. И вот они возвращаются в общество, им совершенно чуждое и неизвестное. Оно непрестанно развивалось на протяжении веков, тогда как они остались на этапе, достигнутом при их вылете с Земли. Я вижу здесь серьезные трудности. Вернувшаяся группа людей окажется обособленной в среде землян, а если трансгалактические экспедиции станут обычным явлением — а я считаю это неизбежным, — то на Землю в определенный период начнут почти одновременно возвращаться корабли с людьми, родившимися в 3100, 3200, 3500, 4000 году и так далее. Таким образом, будет возникать своеобразное соседство разных, далеко отстоящих друг от друга поколений и соответственно возникнет необходимость в новых формах сосуществования, которые помогут возвращающимся быстрее освоиться в новом для них обществе. Все это, конечно, проблемы весьма отдаленного будущего. Я коснулся их лишь потому, что характерным для прогресса считаю эффект появления новых трудностей в тот самый момент, когда перед человечеством открываются новые перспективы... Это все, что я хотел сказать.

Гообар положил мел.

— Будут какие-нибудь вопросы? — спросил он, не глядя на собравшихся и безуспешно пытаясь стереть носовым платком белую пыль, вьевшуюся в кожу пальцев.

Уже к концу лекции несколько десятков человек встали с места и подошли к первому ряду кресел. Теперь же все спустились по проходам и столпились около доски, будто их притягивала цепочка написанных плохим почерком формул.

Трегуб, проходя мимо, окинул меня невидящим взглядом, пошевелил губами, как бы намереваясь что-то сказать, но не произнес ни звука и снова повернулся к доске.

Я посмотрел на Гообара. Он опирался обеими руками о стол и выглядел очень усталым. Я попытался отыскать на его лице выражение гордости или торжества — ведь он совершил открытие, превосходящее человеческие мечтания, — распахнул перед людьми всю Вселенную! Но ничего похожего не было в его лице. Он смотрел на неподвижных и все еще молчащих людей и почти неуловимо улыбался той самой улыбкой, которую я подглядел, когда он стоял на обложке «Геи», повернувшись лицом к безграничному звездному пространству.

Трудно выразить настроение, охватившее нас после доклада Гообара. Когда улеглось первое впечатление и пучок радиоволн понес на Землю основные положения доклада (они могли достигнуть цели лишь через два с лишним года), специально созданный межгрупповой организационный совет начал распределять между исследовательскими коллективами программу новых работ, связанных с проектами трансгалактических путешествий. Конструкторы взялись за расчеты ракет нового типа, способных преодолеть порог скорости, кибернетики получили задание разработать новые виды автоматов для управления такими ракетами. Работы было невпроворот, и стало ясно, что коллектив «Геи» сможет выполнить только малую ее часть. Гообар и другие биофизики не намеревались почивать на лаврах и стремились выявить, к каким еще результатам может привести разработанная им теория. Все делалось с невероятным воодушевлением. На корабле установилось праздничное, светлое спокойствие. Трехчасовой доклад дал нам так много сил для преодоления пустоты, что мы почти перестали замечать ледяной мрак, окружающий «Гею». Вечером следующего дня я невольно улыбнулся, увидев на смотровой палубе десятки людей, прогуливавшихся, как в первые дни путешествия, и державшихся еще более непринужденно, чем тогда. Останавливаясь, люди показывали друг другу отдаленные созвездия, словно огни городов, которые надо посетить в будущем.

Поздним вечером я отправился к Тер-Хаару; историк пригласил своих друзей Амету, Зорина, Тембхару, Руделика, Нильса и меня на бокал вина, чтобы, как он сказал, отметить в домашнем кругу нашу огромную победу.

Мы засиделись до поздней ночи. И если в прошлом мы

окружали проблему галактических путешествий заговором молчания, то теперь беседовали о ней как о чем-то таком, о чем давно думали и что не вызывало у нас сомнений. Было уже далеко за полночь, когда Тер-Хаар, почти не принимавший участия в беседе, сказал:

— А знаете ли вы, что «Гею» не удастся переоборудовать для полетов со скоростью выше светового порога?

— Конечно, — ответил молодой Руделик. — Двигатели слишком слабы, и, кроме того, нужны новые автоматы.

— Почти три года отделяет нас от цели, — продолжал историк, словно не слыша замечания Руделика. — Потом мы начнем исследования планет Центавра. Они продлятся года два, а может, и больше. Потом восемь лет обратного пути — итого семнадцать лет. Мы будем совсем не молоды, когда вернемся на Землю. Следующая экспедиция, «настоящая» экспедиция в центр Галактики, отправится не так скоро; должно пройти немалое время, пока проделают все испытания и опыты...

— Ну и что? Я не понимаю, к чему ты это говоришь, профессор? — нетерпеливо спросил Руделик.

Мы тоже не без удивления смотрели на историка, но он не смутился. Он сказал:

— Никто из нас, конечно, никогда больше не отправится в галактические просторы... Значит, в нашей жизни ничего не изменилось. Все идет по-старому. Открытие Гообара ни в малейшей степени не повлияет на наши личные судьбы ни теперь, ни в будущем, не так ли?

Наступила пауза — все молчали в удивлении. Наконец Руделик воскликнул:

— Профессор, что ты говоришь? Ты будто ослеп и не видишь, что происходит на «Гее»!

— Конечно, вижу, потому и хочу узнать причину подъема; ведь на наши судьбы, как я сказал...

— Ничего себе, не повлияют! — гневно прервал его Руделик. — Ты говоришь, что наша судьба никак не изменилась, а я говорю, что она изменилась полностью. Профессор! Разве ты не был здесь эти четыре года? Разве не чувствовал страшного бремени ожидания, которое — хотя мы боролись с ним и сопротивлялись ему — возвращалось каждый раз под новой маской? И никакой надежды на будущее: достаточно было представить себе, что до звезд, расположенных чуть дальше альфы Центавра, ракеты будут лететь по тридцать — сорок лет и путешествие станет похоже на пожизненное заключение, что пустота будет поглощать корабли и

возвращать Земле старцев или детей, не знающих, как выглядит настоящее голубое небо, что за пределы, скажем, Сириуса мы не вырвемся никогда, — достаточно было все это осознать, чтобы у человека опустились руки... А теперь мы знаем, что галактическое путешествие будет выглядеть совсем по-иному, что мы остановим поток пустоты и она не только не будет пожирать, уничтожать жизнь, превращая ее в ужасное многолетнее ожидание, — люди вообще не будут ее ощущать. Мало того! Перелетая, скажем, из Евразии в Австралию, человек, возможно, будет стареть больше, чем во время полета с Земли к туманности Гончих Псов, поскольку на Земле мы не сможем останавливать течение времени, как на межзвездном корабле!

— Все это очень красиво, — отстаивал свою точку зрения Тер-Хаар, — однако ты говоришь о будущих экспедициях. Но сейчас ты не на палубе этого «сверхпорогового» звездного корабля, а на «старомодной» «Гее». Какая же тебе польза от этого открытия?

Руделик с отчаянием взглянул на нас, пошевелил губами, вздохнул, пожал плечами и ничего не ответил.

Вдруг Тер-Хаар рассмеялся. Никто не присоединился к нему, он смеялся один довольно долго, наконец между приступами смеха произнес:

— Нет... нет... Сейчас... Постойте... — Он закрыл глаза, смахнул слезу и сказал: — Вы должны меня простить. Я совсем не хотел позабавиться за ваш счет. Это действительно очень серьезная и интересная проблема: как много из того, что составляет самую основу нашей жизни, лежит, по сути дела, вне ее физических границ!

— Да! — сказал Нильс. — Но разве так будет всегда? Разве люди всегда будут умирать?

Наступила тишина, которую прервал голос Тембхары:

— Представь себе, Нильс, что ты соединил концами три прямых отрезка. Какая это будет фигура?

— Треугольник.

— Правильно. Когда мы соединяем три прямых, получается треугольник, безотносительно к тому, хотим мы этого или нет. Если бы кто-нибудь приказал мне соединить эти отрезки и одновременно категорически потребовал, чтобы это не был треугольник, я как конструктор заявил бы, что задача неразрешима и останется неразрешимой всегда — и теперь и через миллиарды лет. Так вот, ответ на твой вопрос зависит от того, необходима смерть для существования жизни или нет?

— Как может она быть необходима? Смерть — это отрицание жизни.

— Индивидуума — да, но не вида. Если бы я хотел одним словом ответить на вопрос, что является движущей силой биологической эволюции, я сказал бы: изменчивость. Если бы не изменчивость, первобытная плазма, возникшая в глубине палеозойского океана, прозябала бы в неизменном виде и до сегодняшнего дня не породила бы невообразимого богатства растительных и животных форм и в конце концов — человека. А теперь вопрос: на чем основана эта изменчивость? На том, что одни формы уступают место другим, рождается на свет потомство и из поколения в поколение происходят перемены — мелкие, трудно уловимые, но накапливающиеся в течение миллионов лет. Переведем на наш обычный язык: это исчезновение родительских форм и возникновение последующих поколений, эта смена одних поколений другими называется смертью. Без смерти не было бы изменчивости. Без изменчивости не было бы эволюции. Без эволюции не было бы человека. Вот ответ на твой вопрос.

— Ты доказал, что в основе конструктивных принципов эволюции лежит смертность ее творений, — после долгой паузы сказал Нильс. — Пусть так. Но если эволюция не в силах создать бессмертие, может, этого достигнет человек?

Тембхара молчал.

— Ну, а если даже... — раздался голос в глубине комнаты. — Если даже... — Это говорил Амета. — Что такое смерть? Кошмарное напоминание о небытии? Застенчивая горсточка праха, в который мы превратимся? Сознание того, что, борясь против Земли и неба, против звезд, мы побеждаем мертвую материю лишь затем, чтобы превратиться в нее? Да. И еще — знание того, как горение белка в наших телах, дающее начало музыке и наслаждениям, превращается в гниение? Но в то же время смерть придает бесценную стоимость каждой секунде, каждому вздоху; она повелевает нам напрячь все силы, чтобы мы смогли добиться как можно большего и передать завоеванное следующим поколениям; смерть — напоминание об ответственности за каждое наше действие, потому что сделанного нельзя ни изменить, ни забыть за такое короткое время, как жизнь человека. Смерть учит нас любить жизнь, любить других людей, смертных, как и мы, исполненных мужества и страха, как и мы, в тоске стремящихся продлить свое физическое существование и строящих с любовью будущее, которого они не увидят. Ради

бессмертия человеку понадобилось бы отказаться от самого ценного свойства — памяти: разве чей-то мозг сможет охватить весь гигантский объем воспоминаний, рожденных бесконечностью? Ему было бы нужно обладать холодной мудростью и безжалостным спокойствием богов, в которых верили древние. Но разве найдется такой безумец, который захочет стать богом, если можно быть человеком? Кто захочет жить вечно, если его смерть дает жизнь другим, как смерть астрогатора Сонгграма? Я не хочу так жить. Каждый удар моего сердца славит жизнь, и поэтому говорю вам: я не позволю отнять у меня смерть.

СОЛНЦА ЦЕНТАВРА

Секцией астрозоологии на «Гее» руководил профессор Энтрель, весьма энергичный и вспыльчивый старик в возрасте около девяноста лет. Уже на «Гее» он представил свою сотую работу. За свою почти вековую жизнь он создал систематику существ, обитающих на планетах иных солнечных систем. Как известно, астрозоология — область науки, о которой охотно злословят. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что за время ее существования — за несколько веков — ученые, посвятившие ей себя, кроме нескольких видов лишайников и мха с Марса, не видели никаких живых организмов неземного происхождения. В астрозоологии было множество дешевых сенсаций, почти столько же борющихся между собой школ и не меньше специалистов. Энтрель открыл (острословы говорят «изобрел») чувство осязательного обоняния, каким, по его мнению, должны обладать существа на планетах, погруженных в вечную ночь. Это чувство якобы позволяет им воспринимать не только запахи, но и форму объектов, их выделяющих. Заседания секции астрозоологов, на которых обсуждались такие и им подобные проблемы, превращались в сплошной нескончаемый спор. Их обычно посещали члены экипажа, желающие не столько расширить свои познания об обитателях иных миров, сколько увидеть Энтреля, мечущего грома и молнии на оппонентов.

Однажды, когда на повестке дня стояла проблема, касающаяся внешнего вида обитателей системы альфы Центавра, из последнего ряда кресел поднялся профессор Трегуб и попросил предоставить ему слово.

Антагонизм Энтреля и Трегуба был общеизвестен. Надо заметить, что знаменитый астрофизик делал немало, чтобы

подзадорить Энтреля. То он называл астрозоологию «плодом, не доношенным на девять веков», поскольку она появилась на девятьсот лет раньше срока: ведь проверить выдвигающиеся астрозоологами теории можно только при посещении звезд. Однажды в кулуарах заседания секции кто-то поинтересовался мнением Трегуба о последней работе Энтреля и услышали в ответ: «Пинг Муа учился у Фу Чена убивать драконов. За шесть лет упорных занятий он в совершенстве овладел этим искусством, но не оказалось возможности его проявить...»

Как-то я спросил Трегуба о причине неприязни к астрозоологу. Он ответил мне:

— Дело в том, что астрозоологи чувствуют себя лучше всего в тех случаях, когда солнце вообще не имеет планет. Тогда они излагают нам все с величайшей точностью — как бы выглядели создания, населяющие планеты этого солнца, если бы они у него были. Астрозоологи — схоластики ХХХ века. У них слишком мало веры в природу и слишком много — в самих себя.

Каждое подобного рода изречение Трегуба рано или поздно становилось известным Энтрелю и доводило старика до исступления, в котором он, надо сказать, прекрасно себя чувствовал, потому что — как говаривали — это было нормальным его состоянием.

Поэтому, когда Трегуб попросил слова, все астрозоологи встрепенулись, а гости вытянули шеи, предчувствуя новый подвох Трегуба. Астрофизик с серьезнейшим видом заявил, что с его точки зрения человек вообще не в состоянии увидеть обитателей системы Центавра. В зале воцарилось недолгое молчание; астрофизик добавил, что он предлагает провести некий эксперимент, и объяснил:

— Я буду человеком, у которого перед глазами находится именно такое существо, а вы будете меня расспрашивать, как оно выглядит. Если на основании моих добросовестных, подробных, с самыми лучшими намерениями предоставленных ответов вы сумеете вообразить себе это существо, я признаю, что вы победили. В противном случае правым окажусь я.

Астрозоологи тихо посовещались. Энтрель усмотрел в словах Трегуба то ли парадокс, то ли шутку, но тот заверил его в своих самых серьезных намерениях. Наконец Энтрель вышел на середину зала, пригласил туда и Трегуба, но тот ответил, что предпочитает говорить со своего места. Старый исследователь звездной фауны выставил вперед, будто готовясь к сражению, свой острый подбородок и начал:

— Как велико это существо?

— Иногда оно несколько выше человека, иногда — ниже, временами совсем маленькое.

— Значит ли это, что оно сжимается и расширяется?

— Нет, оно изменяется подобно тому, как человек на вид становится ниже, когда он опускается на колени, садится или наклоняется.

— Так, значит, это существо может становиться на колени, садиться и наклоняться. Почему ты сразу не сказал об этом? — спросил Энтрель, распаляясь.

— Я говорил об этом только по отношению к человеку, поскольку, чтобы становиться на колени, нужно иметь ноги, чтобы наклоняться — спину и позвоночник, а я ничего такого не вижу.

— У этого существа есть конечности?

— Кажется, нет.

— Как это — кажется? Ты в этом не уверен?

— Нет.

— Почему?

— Это зависит от того, что мы отнесем к конечностям. Если бы это создание впервые увидело человека, оно могло бы решить, что у него пять конечностей и что пятой конечностью он говорит и принимает пищу. Это звучит странно, но это всего лишь возможная нечеловеческая точка зрения. Так вот и я, пожалуй, вижу части этого существа как бы обособленными в пространстве.

— А не имеют ли часом эти «как бы обособленные в пространстве части» искусственное происхождение, как, например, обувь или одежда у людей? — спросил Энтрель и окинул нас взглядом, который, казалось, говорил: «Ты хотел меня перехитрить, но нашла коса на камень».

Трегуб ответил не сразу, и, когда астрофизик начал говорить, выражение лица Энтреля стало меняться.

— Я не знаю, что в этом существе искусственное, а что — натуральное. Неземное создание также не ведало бы, где кончается наша одежда и начинается тело. Оно могло бы предположить, что человек снаружи весь покрыт «засохшими выделениями брюшных желез» — так он мог воспринять нашу одежду. Увидев человека верхом на коне, мог бы подумать, что это какая-то разновидность кентавра, а если бы вдобавок заметил, как всадник слезает с коня, то готов был бы воспринимать это как акт распада одной особи на две... Поэтому и то, что я вижу, в действительности может быть не одним существом, а двумя, а может быть и целой колонией.

Энтрель весь сжался, но, подумав минуту, сказал:

— А может быть, ты сориентируешься в том, какие его части являются конечностями, по тому, какие функции они выполняют?

— Спрашивая так, ты совершаешь ошибку. Как я понимаю, ты начинаешь соглашаться с моим утверждением, что сие создание устроено столь отлично от человека, что их невозможно сравнивать, но, принимая это, допускаешь, что если его тело ничем не похоже на наше, то, может быть, действия, которые оно может производить, подобны нашим. Но здесь ты опять — разумеется, несознательно — впадаешь в антропоцентризм. Да, конечно, это создание производит какие-то движения, но я совершенно не понимаю их значения.

— Хорошо, — сказал Энтрель, — попробуем иначе. — Он прищурил глаза и спросил: — Это существо принадлежит к позвоночным?

Трегуб сдержал улыбку.

— Для того, чтобы определить его строение, ты хочешь обратиться к морфологии и физиологии. Что ж, таким образом тебе бы удалось многое узнать об этом существе. Но прежде чем ответить тебе, мне самому следовало бы изучить его с этой точки зрения, тогда как я должен отвечать только на вопросы, касающиеся его внешнего вида. Ну и как, можешь ли ты теперь его обрисовать, хотя бы в самом общем виде?

Старый астрозоолог молчал.

— В основе суждений каждого из нас, — продолжил Трегуб, — кроется атавистическое, неразумное убеждение в том, что разумные существа с иных планетных систем по внешнему виду должны быть как-то на нас похожи, хотя бы в общем, хотя бы карикатурно, пусть даже уродливо. А ведь может быть совсем иначе. Тот, кто увидит такое существо, будет чувствовать себя подобно слепому от рождения, которому операция вернула зрение. Вместо знакомого нам с вами упорядоченного пространственного мира со всеми присущими ему измерениями, наполненного разнообразными по цвету и формам объектами, этот человек видит лишь хаотически движущиеся темные и светлые пятна. Ему придется долго изучать окружающее, прежде чем он приведет этот новый для него мир в соответствие с тем, что ранее подсказывали ему ощущения. Может быть, для того, чтобы действительно научиться видеть, то есть одним взглядом охватывать и адекватно воспринимать строение неземных существ,

нам надо будет понять историю эволюции жизни на их планете, условия среды, которая их сформировала, многообразие видов, им предшествовавших. Только тогда то, что на первый взгляд было хаосом, окажется необходимостью, протекающей из законов естественного развития.

Энтрель, закрывая дискуссию, конечно, не признал себя побежденным. Он прочитал длинный доклад, в котором рассказал об анатомии и физиологии обитателей системы Центавра так, будто знал их многие годы. Они, по его мнению, состоят из клеток, интенсивно насыщенных металлическими соединениями — для защиты внутренних органов от радиации, излучаемой солнцами Центавра, некогда более яркими, чем наше. Трегуб больше не выступал, только после заседания сказал, как бы обращаясь к самому себе:

— С машинами все же приятнее разговаривать: они хотя бы не пытаются пропагандировать свои ошибки!

Энтрель, отличавшийся прекрасным слухом, стукнул кулаками по кафедре так, что там что-то грохнуло, и заорал через весь зал:

— Факты сами за себя скажут, коллега Трегуб! Факты решат все!

Астрофизик церемонно поклонился противнику.

Подходил к концу седьмой год путешествия; приближался час, когда все наши ожидания, планы и надежды должны были осуществиться.

Пурпурный свет Проксимы становился все ярче. В ручные телескопы видны были планеты этого красного карлика — более отдаленная, по своим размерам превосходящая Юпитер, и более близкая, сходная с Марсом. Две другие составные части системы — солнца А и Б Центавра — обладали большими семьями планет. Оба они, разделенные расстоянием в несколько дугowych минут, сияли на нашем небе ослепительно белым светом. Сириус и Бетельгейзе светили слабее.

Красный карлик увеличивался очень медленно: не то что со дня на день, а даже от недели к неделе изменения в его размерах трудно было увидеть. Но мрак на смотровых палубах все же незаметно редел, приобретая чуть-чуть сероватый оттенок.

Однажды утром на палубе, наполненной отсветом темно-пурпурного тона, люди стали что-то показывать друг другу: предметы и наши тела начали отбрасывать тень.

Когда расстояние, отделяющее нас от красного карлика,

сократилось до шестисот миллиардов километров, послышался давно не слышавшийся звук предупредительных сигналов — «Гея» ежевечерне сбавляла скорость. Удивительно: мы искали в себе и не находили гнетущего чувства, которое когда-то возбуждал этот сигнал — он звучал теперь, как фанфары победы. После шестнадцати недель торможения ракета уменьшила скорость до 4000 километров в секунду и уже приближалась к первой планете красного карлика. Орбита планеты лежала под углом в сорок градусов к линии полета «Геи». Астрогаторы умышленно не направляли корабль в плоскость обращения планет, поскольку можно было предполагать, что здесь, как и в нашей Солнечной системе, скопилась метеоритная пыль, затрудняющая маневры. Первую планету мы миновали на расстоянии четырехсот миллионов километров. Астрофизики и планетологи, не отрываясь, дежурили по целым суткам у своих наблюдательных аппаратов. Мы не стали приближаться к планете — это был обледеневший скалистый шар, окруженный плотной корой замерзших газов.

На девятнадцатый день после прохождения орбиты первой планеты «Гея» пересекла плоскость обращения планет карлика, однако мы не обнаружили космической пыли. Поздним вечером, когда я уже ложился спать, динамики предупредили, что обсерватория будет передавать чрезвычайное сообщение. Минуту спустя раздался голос Трегуба: четверть часа назад «Гея» прошла сквозь полосу газа необычного химического состава и теперь маневрирует, стремясь возвратиться к этой полосе.

Я поспешил одеться и вышел на смотровую палубу. Хотя уже пробило полночь, там было полно людей. Далеко внизу, под нашим левым бортом, плыл во мраке красный карлик, окруженный венцом казавшихся неподвижными огненных языков. Блеск звезды едва достигал одной двадцатитысячной солнечного, но космическое пространство казалось наполненным кроваво-красной мглой. Наверху простиралась однообразная тьма.

Вдруг все на палубе вскрикнули. «Гея» вошла в полосу газа, который при контакте с обшивкой корабля стал светиться; в один миг всю поверхность охватил дрожащий бледный огонь — возгораясь, пламя вытягивалось в полоски и гасло далеко за кормой, и мы продолжали нестись в призрачном сиянии. Вскоре «Гея» миновала эту полосу. Мы постепенно снизили скорость, «Гея» почти неподвижно повисла в пространстве, подняла нос (при этих маневрах, как

всегда, казалось, будто поворачивается и вращается неподвижная до сих пор звездная сфера) и вновь попала в полосу невидимого газа. Он был очень разрежен, и, когда корабль шел в его полосе медленно, не светился; лишь когда скорость увеличилась до 900 километров в секунду, ионизированные атомы при столкновении с броней корабля начали вспыхивать и на стенах смотровой палубы вновь затрепетали бледные языки света.

В толпе на палубе появился астрофизик, только что закончивший дежурство. Он рассказал, что газ, в котором мы движемся, подвергли анализу и он оказался молекулярным кислородом. Это вызвало всеобщее изумление, так как в мировом пространстве раньше не встречались скопления свободного кислорода.

— Астрогаторы полагают, — сказал астрофизик, — что мы попали в хвост какой-то исключительно своеобразной кометы, и намерены потратить немного времени на ее поиски. Поэтому «Гея» проникла в глубь газовой полосы и идет, как бы испарывая ее.

Полоса, как несколько часов спустя выявили автоматы, располагалась по кривой. Это укрепило предположения, что она является газовым хвостом кометы или какого-то космического тела, слишком малого по размерам, чтобы мы могли его заметить. Мы гнались за убегающей от нас и все еще невидимой головой кометы двое суток. Лишь поздно вечером на третьи сутки в динамиках снова зазвучал голос Трегуба, сообщавшего, что главный телетактор обнаружил голову кометы в девятнадцати миллионах километров от нас.

Люди хлынули в обсерваторию, однако голова кометы, казавшаяся во мраке еле различимой точкой, долго не увеличивалась в размерах. Вечером смогли измерить ее диаметр: не больше одного километра. Астрогаторы пришли к выводу, что загадке кометы мы отдали слишком много времени: она представляла большой интерес для астрофизиков, но отвлекала нас от главной цели путешествия; поэтому решено было лечь на прежний курс. Однако астрофизики вымолили еще одну ночь для погони за кометой; учитывая малую «населенность» пространства в этом районе, мы увеличили скорость до 950 километров в секунду, и «Гея», озаряемая все более сильным пламенем пылающего кислорода, устремилась за головой кометы. В пять часов утра вновь выступил по радио Трегуб. С первых слов, прозвучавших в динамиках, все сердца усиленно забились. Голос этого человека, всегда владеющего собой, дрожал:

— Говорит центральная обсерватория «Геи». Предполагаемая голова кометы является не космическим телом, а искусственным сооружением, как и наш корабль.

Трудно описать возбуждение, охватившее всех, кто был на палубах. Корабль продолжал лететь по прямой вдогонку за убегающей во мраке бледной искоркой. В обеих обсерваториях началась такая давка, что астрофизикам в конце концов пришлось попросить часть любопытных уйти, чтобы они не мешали работать. Тогда, вооружившись наблюдательными приборами, какие только можно было достать, все столпились в головной части смотровой палубы левого борта, откуда уже невооруженным глазом была видна точка, медленно передвигавшаяся на неподвижном звездном фоне.

Когда расстояние уменьшилось до тысячи километров, «Гея» направила передающие антенны в сторону чужого корабля и, запустив на полную мощность свои мощные передатчики, послала запрос. Учитывая, что неизвестные существа могли не понять нас, мы непрерывно передавали теорему Пифагора и другие простые геометрические чертежи, но этот зов, брошенный в пространство, оставался без ответа. Направленные на корабль присматриватели молчали.

Тогда мы начали сигнализировать светом; из носовых дюз в черный мрак полетели зеленые и синие сигнальные атомные ракеты; взрываясь, они вспыхивали сербристым огнем — чужой корабль продолжал молчать.

После полудня совет астроготоров решил послать к кораблю группу автоматов на легкой разведывательной ракете. И вот в шестнадцать часов по корабельному времени около двухсот человек, собравшихся на верхней галерее стартовой площадки, наблюдали, как тягачи вытаскивают четырнадцатитонную сигару обтекаемой формы и в нее входят автоматы в матовых доспехах. Ракета скрылась в стартовом шлюзе, за ней закрылся внутренний люк. Минуту спустя невидимый нам первый астроготор нажал кнопку на пульте центральной кабины рулевого управления. Раздался глухой металлический звук, похожий на бой гигантских часов; стальной корпус «Геи» едва заметно вздрогнул; ракета, выстреленная из носового отверстия, отделилась от корабля, описала вокруг него петлю и, направляемая радиоволнами, понеслась к цели.

Мы пошли на смотровую палубу, чтобы следить за дальнейшим ходом событий. К сожалению, мало что удалось увидеть над неизвестным кораблем сияли солнца-близнецы Центавра, затрудняя наблюдение своим ослепительным бле-

ском. Полоса разреженного кислорода уже не светилась, так как двигатели «Геи» были выключены и мы летели просто как спутник красного карлика. Павел Борель дал мне бинокль со стократным увеличением. Устроившись в передней части галереи, щурясь от невыносимо яркого света, я видел, как посланная нами ракета, сверкая атомными выхлопами, разрезает мрак. Наконец она подошла к кораблю так близко, что слилась с ним в одно пятнышко. Выхлопы ее двигателей погасли; очевидно, она затормозила. Сообщения ракеты транслировались вещательной сетью «Геи», так что каждое сообщение, направленное автоматами, поступало к нам без промедления.

Первое известие пришло через одиннадцать минут после вылета ракеты. Оно гласило: «Неизвестный корабль поврежден».

Через три минуты поступило новое сообщение: «Старемся войти внутрь, не повредив оболочки».

Потом наступило молчание. Астрогаторы послали запрос — он остался без ответа. Наши сердца замерли в тревоге. Вдруг послышалось одно слово: «Возвращаемся», и мы увидели, как сверкнул запущенный двигатель.

Ракета, выполнив обычный маневр, подошла к приемному шлюзу, магниты втянули ее, и она оказалась на первом ярусе пассажирского ракетодома.

Мы на лифтах спустились вниз. Двойные створки люка открылись, нос ракеты стал подниматься вслед за тянувшей ее стальной рукой; за ним показался весь корпус. Механоавтоматы открыли крышки выходных люков сразу с четырех сторон. Наступила тишина, в которой был слышен шум еще не выключенного насоса охлаждения ракеты. В открытые люки вышли первые автоматы; спустились на платформу. Гротриан задал им какой-то вопрос; ответа мы не слышали, до нас донесся лишь крик, вырвавшийся у тех, кто стоял рядом с астрогатором. Несколько человек хором закричали сверху:

— Что они говорят?

Гротриан поднял внезапно побледневшее лицо:

— Они говорят, что там люди.

UNITED STATES INTERSTELLAR FORCE

Спустя тридцать минут экипаж «Геи», собравшийся на галерею ракетодома, смотрел, как Ланселот Гротриан, его ассистент Петр с Ганимеда, Тембхара, инженеры Трелоар и

Утенеут, а также Тер-Хаар входят по трапу в ракету, поставленную на стартовую площадку.

Вторую ракету, с инструментами и автоматами, должен был вести один Амета, но в последнюю минуту решили, что группе может понадобиться врач, и выбор пал на меня.

Я стоял рядом с пилотом и, с трудом выдерживая тяжесть снаряжения для вылазки в безвоздушное пространство, пытался держаться так же непринужденно, как Амета. Ажурная конструкция креплений, рельсы, идущие наклонно к стартовым люкам, корпуса ракет — все отливало нежно-серебристым цветом бериллия, чуть более темным, чем серебро наших скафандров.

Когда закрылся внутренний люк, большой стальной поршень выдвинулся из стены и втолкнул ракету в стартовый колодец. Раздался приглушенный шум катапульты. Прошло двадцать секунд, на сигнальном щите зажглась зеленая лампа. Поршень отодвинулся, поставил на освободившиеся рельсы вторую ракету. Мы вошли в нее.

Я хотел жестом попрощаться с товарищами, собравшимися наверху, но там стояло такое напряженное молчание, что я, ни слова не говоря, опустил наголовник шлема и забрался вслед за Аметой внутрь ракеты.

В ее носовой части было тесно. Едва я улегся рядом с пилотом и затянул ремни, послышался сигнал, загорелись контрольные лампочки на панели управления, и ракета, которую толкала стальная лапа, вползла в глубь туннеля. Раздался грохот, я внезапно почувствовал, что тело стало тяжелее. В круглом иллюминаторе перед лицом Аметы показалось черное небо. Мы летели.

Описывая уставную петлю вокруг «Геи», Амета включил двигатели на малую тягу. Лишь когда мы удалились от корабля, он привычным движением обеих рук перевел рукоятки ускорителей. Я не столько услышал, сколько ощутил всем телом, вытянутым на пружинистом гамаке, глубокий мелодичный звук, с каким атомные газы стали вырываться из дюз.

Мне хотелось посмотреть в иллюминатор, чтобы увидеть первую ракету, но это было нелегко в тесной кабине. Несколько раз кроваво-красный свет заливал лицо Аметы, и на стеклах приборов вспыхивали рубиновые искры: это на поворотах ракеты в иллюминатор заглядывал красный карлик, освещая нас своими негреющими лучами. Я приподнялся на локтях, но увидел лишь уходящие назад трепещущие языки пламени, которые вырывались из носовых отверстий: замедляя движение, мы включили тормоза.

Подтянувшись повыше, я внезапно увидел неизвестный корабль. Он был похож на веретено с одинаково заостренными носом и кормой. Сквозь середину его корпуса я увидел далекую звезду и сначала подумал, что он прозрачный, но сразу понял, что ошибся. Это был не межзвездный корабль, а примитивный искусственный спутник. То, что мне показалось заостренным корпусом, было в действительности кольцом, видимым сбоку.

Мнимый звездолет увеличивался в размерах с невероятной быстротой, будто раздувался, набухал. Это была типичная для межзвездного пространства иллюзия, возникающая при сближении корабля с целью. Амета опять включил тормоза и сделал поворот. Таинственный корабль проплыл внизу под нами. Он был похож на большое колесо со спицами и приплюснутой ступицей в центре. Он медленно вращался; трубчатые спицы лениво передвигались по черному фону бездны, как бы перемалывая звезды. В центре сооружения на решетчатой башне возвышалась посадочная площадка. Мы еще описывали круги, а первая ракета уже спустилась. Она не осталась на посадочной площадке, а пошла ниже и, ритмически мерцая огнями двигателей, выравнивала свое движение с вращающимся кольцом спутника, повисла над ним, выбросила из тормозных дюз короткое пламя, выдвинула магнитные причалы и закрепилась на спутнике в месте, где на его поверхности темнело пятно неправильной формы.

Амета слегка передвинул рычаги. Мы устремились вниз. Плоский диск посадочной площадки рос с чудовищной быстротой, закрывая небо: казалось, мы, как пуля, пробьем его насквозь. Подойдя к нему, ракета подняла нос и взмыла вверх. Наша продолговатая тень как молния промелькнула по гофрированной металлической обшивке, озаренной мутно-красным светом карлика. Теперь, когда мы вновь набрали высоту, я заметил надпись, пересекавшую посадочную площадку:

FOR ARMY JETS ONLY*.

Амета описал петлю и пошел вокруг искусственного небесного тела. Мы кружились в плоскости его окружности по все сужающейся спирали. Серебряное кольцо спутника, то освещаемое красным карликом, то вновь покрываемое мраком, росло, пока не заполнило иллюминатор, закрыв собой

* Только для военных ракет (англ.).

черное, усыпанное звездами небо. По мере того как Амета тормозил, свет и тьма чередовались все реже.

Мы продолжали сбавлять скорость. В нескольких десятках метров за иллюминатором с быстротой молнии убегала назад металлическая обшивка искусственного небесного тела. На ней темнели какие-то неразборчивые знаки; из-за скорости они казались трепещущими полосами. Из носовых дюз ракеты вырвался еще раз сноп пламени, и выпуклая серебристая стена, летевшая нам навстречу, замедлила движение настолько, что полосы распались на буквы. Я прочитал:

A.J.S.O.6.

Амета в последний раз включил тормоза. В свете вылетающего из носовых отверстий бледного пламени можно было прочитать пробегающие буквы:

U-N-I-T-E-D S-T-A-T-E-S*.

В окне промелькнула решетчатая башня, и показались новые буквы:

I-N-T-E-R-S-T-E-L-L-A-R F-O-R-C-E**.

Бортовая обшивка проплыла перед нами так медленно и близко, что мы ясно видели длинные утолщения в местах сварки. Потом показалась огромная пятилучевая звезда, и снова начались буквы:

A.J.S.O.6 UNITED.

Надпись повторялась. Мы описали полный круг.

— Что значат эти слова? — спросил я у Аметы.

— Не знаю, — ответил он, не поворачивая головы.

Ракета вздрогнула. Мы остановились рядом с первой ракетой. То, что казалось пятном, в действительности было большим отверстием, пробитым в кольце. Товарищей я не видел — они, очевидно, уже вошли внутрь корабля. Амета открыл кормовой люк, выпустил механоавтоматы, отстегнул ремни и вышел наружу.

Наши товарищи установили на поверхности кольца временные кронштейны и протянули по ним канат. Мы крепко ухватились за него: спутник, на который мы опустились, вращался и центробежная сила легко могла выбросить нас в

* Соединенные Штаты (англ.).

** Межзвездные силы (англ.).

пустоту. Мы стояли на большом серебристом кольце. Оно медленно кружило нас в пространстве; поэтому казалось, будто все сооружение неподвижно стоит под величественно вращающейся черной звездной сферой. Далеко вверх двигался огненный шар красного карлика. Помост центральной посадочной площадки, поднятый над уровнем кольца, отбрасывал длинную тень, моментами покрывавшую нас. Я хотел поискать глазами «Гею» — она должна была находиться в направлении звездного облака Стрельца, но Амета уже опустился в отверстие. Я последовал за ним.

Мы очутились в коридоре, проходившем внутри трубчатого кольца. Большое отверстие в нем, несомненно, пробил навывлет метеорит. По краям отверстия стены коридора были сильно исковерканы. Разорванные листы обшивки обнажали деформированные части каркаса, а пол был словно гофрированный — сбился в складки, и через них приходилось перешагивать. Величина деформации свидетельствовала о плохом качестве материала, из которого было построено сооружение.

Мы дошли до первой двери в отвесной гладкой стене. Ее поверхность была густо покрыта выпуклыми утолщениями, расположенными крестообразно; впоследствии инженеры объяснили, что это — так называемые заклепки, которыми некогда соединяли броневые листы.

Дверь была полуоткрыта. Четыре глубоких шрама на ее поверхности свидетельствовали, что высланные с «Геи» автоматы проникли внутрь корабля именно здесь. По узкому, тесному проходу мы добрались до прямоугольной комнаты — дверь в нее была открыта. Амета прошел туда, я за ним. Там уже были те, кто вылетел на первой ракете.

Они стояли посреди длинного, довольно просторного помещения: все включили наплечные лампы своих скафандров, поэтому здесь было достаточно светло. В стенах виднелись шкафчики, некоторые были полуоткрыты; в глубине их поблескивала стеклянная посуда. На двух рядах столов возвышались груды фарфоровых и стеклянных колб, реторт и другой химической посуды; под столами кучами валялись керамические осколки и бутылочки каплевидной формы. В одном углу был застекленный вытяжной шкаф, в другом зияло квадратное отверстие. Кто-то из товарищей направил вглубь луч света; он о разился в огромных бутылках, наполненных коричневой застывшей массой. Я заметил с удивлением, что потолок, стены и пол этого помещения покрывает свинцовая обшивка. На осколке стекла, упавшем с груды об-

ломков, виднелись какие-то буквы. Я хотел взять его в руки, но Гротриан закричал:

— Не трогать ничего! Идите прямо, вот сюда, — и показал нам проход между столами.

— Что это такое? — спросил я.

Утенеут манипулировал у механоавтомата.

— Это культуры микробов, — ответил Гротриан. — Они могли перенести низкую температуру.

— Но космическое излучение должно бы давно убить их... — возразил было я, но тут же умолк: стало понятно назначение свинцовой обшивки.

Гротриан направил сноп света на синюю облицовку стен.

— Этот панцирь предохранял бактерии от космических лучей. Впрочем, мы сейчас всё подвергнем стерилизации.

Механоавтомат поднял головку излучателя и выбросил сноп ультрафиолетовых лучей, смертельных для микроорганизмов. Астрогатор приказал облучить и наши скафандры, после чего мы двинулись дальше.

Так началось путешествие по искусственному спутнику. Темный коридор, все время уходящий вниз, заполняла абсолютная, всепоглощающая тишина, в которой наши шаги оставались без эха. При каждом шаге с пола поднимались клубы невесомой пыли, которая ленивыми волнами обвивала нас по самые плечи, то искрясь серебром в свете рефлекторов, то отливая кровавым отблеском в лучах красного карлика, падавших через иллюминаторы в потолок, — тогда стеклянные шлемы идущих впереди людей вспыхивали рубиновым светом. Сквозь полупрозрачные клубы пыли проступали стены и предметы, покрытые сизым налетом. Все помещения были тесные, словно это кольцо строили какие-то пигмеи, — так загромождено было оно всякими перегородками и аппаратами, так низко надо было наклонять голову в дверях. Мы прошли через склад, заваленный стальными бутылками. Далее снова потянулся коридор, с облаками пыли, подкрашенными красным светом. Он кончался дверью размером побольше остальных. Тот, кто шел впереди, стер рукавицей белый налет с висевшей над ней таблицы; там было написано:

WELCOME, BOYS, IN THE AMERICAN UNIVERSE!*

Гротриан толкнул створку двери и замер на пороге, преградив путь остальным. Я заглянул через его плечо внутрь

* Парни, добро пожаловать в американскую вселенную! (англ.)

помещения. Лучи наших ламп осветили высокую комнату, с обеих сторон заставленную конструкциями, которые я сначала принял за клетки, — на деле это были многоэтажные койки. Прямо у ног Гротриана, обутых в серебристый металл, лежало что-то похожее на полупустой мешок из зеленоватого брезента. С одной стороны мешок раздвигался, а со стороны, ближней к астрогатору, заканчивался шарообразным утолщением. Я вздрогнул.

Это был человек.

Он лежал навзничь, с полусогнутыми ногами, прижав руки к телу. Его лицо скрывал кожаный шлем. Он был мертв уже много веков. Такого открытия следовало ожидать. Неужели это он так поразил Гротриана? Но астрогатор смотрел не на него, а на противоположную стену. Там было изображение нагой женщины. Она сидела на спине большой черепахи, заложив ногу за ногу, касаясь цветком своей обнаженной груди, и улыбалась. На ее ногах были странные башмаки с каблуками в форме острого клюва. Ногти окровавлены. Красные губы, раздвинутые улыбкой, открывали очень белые зубы. В этой улыбке было что-то невыразимо мерзкое.

Я отвернулся. Позади меня стоял Тер-Хаар. За стеклом шлема я увидел его лицо. Оно было сурово и бледно.

— Что это значит? — спросил я, невольно переходя на шепот.

Никто не ответил.

Гротриан перешагнул через труп и вошел внутрь комнаты. Мы двинулись за ним по узкому проходу между койками, похожими на клетки. Астрогатор безуспешно попытался открыть следующую дверь, вызвал механоавтомат, и тот коротким ударом раскрыл створки двери. От толчка прикрепленный к стене лист с обнаженной женщиной свернулся и упал.

Пыль, поднимавшаяся между мной и тем, кто шел впереди, густела по мере того, как мы спускались ниже, в каюты, лишённые окон. Свет наших ламп мерно колебался в такт шагам, освещая трупы; поверх их тел — плоских, коричневых, словно высохшие мотыльки, — на нас глядели обнаженные женщины. В висках, как огромные часы, стучала кровь, горло сжималось.

Однажды мне приснился сон, будто после долгого блуждания по темной, пустынной местности я встретил человека; он подошел ко мне и дружески подал руку. Вглядевшись поближе в его улыбавшееся, доброе лицо, я внезапно увидел,

что это не человек. Под искусно натянутой кожей скрывалось какое-то существо, которое двигало ее изнутри; оно растягивало губы в добрую улыбку и наблюдало за мной через глазные отверстия холодным, тупым и одновременно торжествующим взглядом. И вот теперь, продвигаясь в облаках пыли — это был замерзший в пустоте воздух, — я вновь попал в такой же кошмар. Большинство предметов, вырываемых из темноты светом наших ламп, были мне неизвестны. Среди беспорядочно сдвинутой мебели и оборудования, закутанные в измятые одеяла и пледы, лежали, стояли на коленях, сидели мумии, по двое, по трое, судорожно вцепившись руками друг в друга, уткнувшись в пол головой или откинув ее назад, с глазами, превратившимися в ледяные комочки; поблескивая зубами, припорошенные снежной пылью. Их лица утратили какое бы то ни было человеческое выражение — и все же это были человеческие останки. Много веков назад такие катастрофы случались, это можно было понять.

Но картины на стенах? Эти обнаженные женщины с белыми, тонкими пальцами, заканчивающимися окровавленными ногтями в виде остроконечных капель, озлобленно поглядывавшие на нас уголками прищуренных глаз, застывшие в позах, оскорбляющих все, в чем кроется беззащитная и бессловесная таинственность наготы. Неужели это тоже были люди?

В глухом молчании мы переходили из одной каюты в другую. Миновали камбуз, где на белом кафельном полу валялись груды пустых банок и сухих костей, а из блестящих кранов свисали ледяные сосульки. Прошли в следующую секцию коридора — здесь тоже передвигались по полу круги красного света, проникавшие через иллюминатор. Еще одна дверь. Перешагнув через порог, я увидел, что с противоположной стороны входят восемь высоких серебристых фигур: наши отражения в зеркале, закрывавшем всю стену. В комнате царил хаос. Между разбросанными трехногими стульями, обитыми красной кожей, на замерзших лужах разноцветных напитков, на осколках бутылок лежали мумии. Ближняя прислонилась головой к бочонку, из которого вытекла жидкость, превратившись в зеленоватый лед. Одной рукой мумия прикрывала лицо, другой сжимала короткую оксидированную металлическую трубку. На поверхности зеркала чернели многочисленные отверстия, от них лучами расходились линии трещин. В потолке зиял открытый люк. К нему вела лесенка. С нижней ступени, согнувшись почти

пополам, свисали два тела. Я обернулся. Стену покрывала большая картина. На голубом фоне, среди пенистых белых облаков парили розовые тела женщин.

— Что это такое? — спросил я и не узнал собственного голоса.

— Это атлантиды, — ответил Тер-Хаар и, словно объяснив этими словами все, обошел меня, отстранил тела, свисающие с лестницы, и стал подниматься. Мумии свесились набок.

Чья-то сердобольная рука прикрыла их куском грубой ткани. Мы вышли наверх и в полумраке опустились в тесный колодец, ведущий в центральную камеру. Здесь надо было передвигаться, держась за тонкие металлические канаты, прикрепленные к стенам. Центробежная сила действовала все слабее. Коридор перекрывала массивная бронированная дверь; когда стерли тонкий слой изморози, на двери показалась надпись красными буквами:

ATOMIC POWER SECTION. RADIATION DANGER*.

Действовать режущими инструментами пришлось бы слишком долго; поэтому Гротриан вызвал автоматы, снаряженные горелками. Голубое пламя вгрызлось в металлическую плиту, преграждавшую путь. Сталь покраснела, посыпались чешуйки обугленного лака; линия разреза была слегка закругленная. Наконец броню прорезали по всей длине; оба автомата сначала нажали на нее, потом потянули к себе. Большой кусок стали медленно наклонился и открыл вход.

Гротриан вошел первым. В помещении было темно. Лучи рефлекторов блуждали по каким-то отсекам и нишам, невесомость затрудняла ориентировку. Благодаря магнитным присоскам мы могли ходить, но полностью заменить тяжесть эти присоски не могли. В пустом пространстве поднимались и медленно проплывали мимо какие-то крупные сосуды, похожие на пузатых рыб; временами от их полированной поверхности отражался свет наших фонарей. Лишь когда механоавтоматы закрепили сосуды и включили мощный прожектор, я увидел, что нахожусь в глубине сводчатой камеры. Сверху свисала лапа крана, охватывающая ракету — почти четырехметровой длины — с грубыми стабилизаторами. Когда рефлектор в головке автомата описал круг, стало видно, что в темных нишах стоят грушевидные сосуды. Их

* Атомный отсек. Радиационная опасность (англ.).

было около тридцати. Узкие рельсы шли от каждой ниши к поворотному кругу крана.

Гротриан спросил у Тер-Хаара:

— Бомбы, правда?

— Да, — ответил историк. — Урановые.

Гротриан вызвал механоавтомат и приказал ему просветить грушевидные сосуды рентгеновскими лучами. Мы зашли с другой стороны, чтобы видеть экран, флюоресцирующий под действием рентгеновских лучей. Я заметил, что под краном в полу есть углубление; в нем был приоткрытый люк. Нагнувшись, я заглянул в зияющее отверстие и увидел мерцающие звезды.

Механоавтомат дал ток. Экран зажегся зеленоватым светом, появилась тень внутренней конструкции сосуда. Я не понимал его назначения; в середине его концентрическими кругами сходились четырнадцать или шестнадцать труб (их тени могли покрывать одна другую). От труб тянулись кабели; они затем соединялись в одном месте. Там был маленький колпачок, открывающийся при помощи пружины; под ним был контактный рычажок, и больше ничего.

Гротриан запретил прикасаться к чему бы то ни было. Мы вышли через отверстие, проделанное автоматами в броне, и вернулись в большое помещение с зеркалом. Отсюда коридор вел в маленькую каюту, где под потолком сходились пучки проводов в заиндевевших оболочках. На стенах были размещены мраморные распределительные щиты с рядами выключателей; это была очень старая вакуумная вычислительная машина. Под щитами стояли трехногие стулья, на них, скорчившись, сидели четверо с наушниками на головах. Лица троих были скрыты масками. Четвертый свесился со стула, его шлем свалился с головы, и посеребренные кристалликами воздуха волосы касались пола. Его глаза превратились в комочки мутного льда.

Следующий отрезок коридора был устлан мягкой толстой дорожкой. Он вел к двери, на которой были мелкие серебряные буквы:

Commander in chief Lt. General John McMurphy*.

Сквозь два круглых иллюминатора в потолке проникали лучи Проксимы. Ее пурпур смешался теперь с белым светом наших ламп. В этом ярком свете нашим глазам открылась большая комната. В ней стояли застекленные шкафы со ста-

* Командующий генерал-лейтенант Джон Мак-Мэрфи (англ.).

рыми книгами, громоздкие кресла. На стене висела карта Земли в устаревшей проекции Меркатора; Евразия была обведена жирной красной линией. Всю ее перечеркивала надпись:

COMMUNIST SPHERE*.

На остальной части света черными буквами было написано:

FREE WORLD SPHERE**.

В широком кресле за письменным столом сидел человек. Он, вероятно, был высокого роста. Его вытянутые ноги высовывались из-под стола. Голова была откинута, и острый кадык торчал из-под отогнутого белого мехового воротника. За ним на стене было натянуто большое полотнище с красными и синими полосами и звездами. Как и все остальные, мумия была одета в кожаную куртку; уголки воротника были украшены четырьмя золотыми звездочками. Перед мумией среди покрытых инеем бумаг стоял стакан с осколочком льда. С правой стороны находился пустой кожаный футляр, а на книге, на которой золотыми буквами было написано: «The Holy Bible», лежал оксидированный предмет с короткой трубкой. Когда я подошел ближе, мне показалось, что командир мертвого корабля улыбается. Я обошел вокруг письменного стола и заглянул в темно-серое, покрытое инеем лицо. Оно ничего не выражало. Под судорожно приоткрытыми губами виднелись зубы, между которыми были какие-то блестящие осколки. Я наклонился, невольно затаив дыхание, и увидел, что это — куски стеклянной трубки. Кто-то положил мне руку на плечо. За мной стоял Тер-Хаар.

— Пойдем, — сказал он.

Только тогда я заметил, что мы одни в комнате.

С порога я еще раз оглянулся. Красный свет карлика освещал лицо мумии как бы в бесплодной попытке оживить ее. Высохшая, сморщенная, она, казалось, не имела возраста, всегда была мертвой, словно в ней никогда не бежала живая кровь.

Мы вошли в пустое помещение. Под потолком тянулись аккуратные пучки труб, у стен высились узкие газовые баллоны, закрепленные в металлических стояках. Здесь собрались все наши товарищи.

— Этот искусственный спутник, — сказал Гротриан, —

* Коммунистическая зона (англ.).

** Зона свободного мира (англ.).

покинул Землю больше одиннадцати веков назад. Атлантиды намеревались рассеивать с него бактерии и метать атомные снаряды. Чтобы лучше прицеливаться, установили на нем ракетное устройство, позволявшее переходить с орбиты, близкой к Земле, на другую, более отдаленную. Из-за какой-то ошибки в расчетах корабль сошел с намеченной орбиты. Так начался его полет в пространстве. Через несколько сот лет он попал в сферу притяжения Проксимы и пополнил число обращающихся вокруг нее тел.

Слушая Гротриана, я невольно представлял себе, как замкнутые в металлическом кольце люди падали в ледяную бездну, как в них медленно стыла кровь, как они боролись за жизнь и тепло.

С момента смерти последнего из них прошли сотни лет, а стальная машина продолжала неумолимо кружиться вокруг остывающей звезды, неся в себе оледеневший экипаж.

— Они пожалели то, что готовили другим. Хотя страдания, какие они перенесли перед смертью, не могут искупить попытки уничтожить человеческий род, тем не менее я считаю, что мы не должны ни углубляться в детали этой древней трагедии, ни оскорблять мертвых, ибо сейчас это всего лишь рассыпающиеся в прах останки. Человеческие останки. Поэтому, мы должны уничтожить этот корабль. Не надо, чтобы еще кто-нибудь мог видеть то, что увидели мы. Поэтому решение необходимо принять безотлагательно. Тер-Хаар?

— Согласен с тобой.

— Утенеут?

— Я за твой план.

— Трелоар?

— Согласен.

— Амета?

— Я не уверен, что ты прав, — сказал пилот, — но не буду противоречить большинству. Не знаю, имеем ли мы право забыть обо всем этом.

— Мы не забудем, — возразил Тер-Хаар, — тем более что я соберу все документы и материалы, представляющие интерес для исторических исследований.

Казалось, Амета хочет сказать еще что-то, поэтому Гротриан вопросительно посмотрел на него, но пилот шагнул назад и отвернулся. Астрогатор посмотрел на меня — последнего из группы. Я молча кивнул головой. Тер-Хаар, взяв на помощь инженеров, отправился в каюту командующего. Гротриан вышел, чтобы связаться по радио с «Геей», а я двинулся вперед без определенной цели. Теперь, когда я про-

ходил этот коридор второй раз, меня вновь охватило чувство, будто я вижу кошмарный сон, чувство, проистекающее из неосознанного убеждения, что жизнь не может быть такой жестокой. Я шел, погруженный в свои мысли, и вдруг у меня тревожно сжалось сердце. Я остановился, вслушиваясь в мертвую тишину; показалось, что я остался один. Я не боялся трупов — хуже было соседство вызывающе ярких картин, с которых над покрытыми инеем мумиями в пустоте улыбались обнаженные женщины.

Я пошел скорее, почти побежал и увидел падающую из полуоткрытых дверей полосу света. Остановился на пороге.

Это была пустая большая комната. Против двери находилась высокая полукруглая ниша. В ней стоял резко выделявшийся на белом фоне черный деревянный крест. Внезапно я увидел, что у ниши была коленопреклоненная, с лицом, прижатым к полу, мумия. Ее острые плечи прикрывала черная ткань. Эта мумия, похожая на замерзшую грудку земли, отбрасывала на белую стену бесформенную тень. Я взглянул в противоположную сторону, отыскивая источник света. В глубине отсека стоял Петр с Ганимеда. Его нагрудная лампа ярко освещала крест. Петр — стройный, огромный, одетый в серебристый скафандр, со скрещенными на груди руками — смотрел на этот символ суеверия.

КРАСНЫЙ КАРЛИК

Гротриан оставил механоавтоматы в камере атомных бомб. Потом ракеты одна за другой взлетели и описали вокруг корабля положенный круг. Перед нашими глазами еще раз проплыли черные буквы:

UNITED STATES INTERSTELLAR FORCE.

Ракеты повернулись носом к «Гее», ускорили ход, и мы скоро очутились на ее палубе.

Многочисленные зрители, собравшиеся на ракетодроме, перешли на смотровую палубу, чтобы наблюдать за уничтожением искусственного спутника. Отправились наверх и мы. Через десять минут механоавтоматы сообщили, что установили взрывную радиоаппаратуру, после чего за ними послали ракету. Когда они вернулись на «Гею», в динамиках слышался спокойный голос Тер-Аконяна:

— Внимание... осталось четыре минуты... три минуты... полторы минуты... сорок секунд... пять секунд.

Сердца забились быстрее. Мы молча всматривались во мрак, где смутно виднелось кольцо корабля атлантидов.

— Внимание... ноль... — раздался голос первого астронавтора.

Темноту прорезал ослепительный свет. Огромный шар вспыхнул, погасив звезды, стал увеличиваться в объеме и бледнеть. В глазах еще мелькали яркие пятна, а в шестистах километрах от «Геи» уже расплывался грязно-белый клуб дыма.

Я считал, что с кошмарной встречей все покончено, но вечером Гротриан вызвал меня к себе: у него собрались все, кто был на спутнике.

Возвратясь на «Гею», мы в специально отведенной для этого камере сняли скафандры, и их подвергли тщательно-му бактериологическому исследованию. Гротриан сказал, что анализ подтвердил стерильность скафандров. Потом он с минуту смотрел на нас, как бы не решась, говорить ли дальше.

— Я хотел бы сообщить вам один странный факт, — наконец сказал он. — Если помните, я один касался атомной бомбы — той, единственной, которую мы просвечивали рентгеном. Микрохимический анализ показал, что на правой перчатке моего скафандра остались очень слабые следы астрона... — Видя, что мы не понимаем всей важности его слов, Гротриан тихо продолжал: — Мое внимание привлекло то обстоятельство, что при просвечивании бомбы еще до того, как автомат включил рентгеновскую трубку, на экране появилась очень бледная тень конструкции. Эту слабую тень не могло вызвать собственное излучение помещенного в бомбе урана-235, поскольку он не выделяет достаточно жестких лучей, способных проникнуть сквозь стальную оболочку. Поэтому мне пришла в голову мысль, что бомбу еще прежде обработали порошком какого-то элемента, выделяющего гамма-лучи. Поэтому я собрал перчаткой немного пыли с ее поверхности. Анализ показал следы астрона... Не подлежит сомнению, что спутник был построен в XX веке, когда люди еще не знали астрона и не умели его синтезировать. Таким образом, атлантиды не могли иметь его на борту своего корабля. Впрочем, если даже это не так, астрон, жизнь которого измеряется десятками лет, за тысячелетие бы распался и нам не удалось бы его обнаружить. Астрон не встречается в межзвездном пространстве; его пыль осела на оболочке бомбы не очень давно, во всяком случае не более шестидесяти лет назад. Следовательно...

Затаив дыхание, мы вглядывались в лицо астрогатора; он потер рукой лоб и продолжал, тщательно подбирая слова:

— Перед нами здесь открывается поле для догадок, которые пока невозможно подтвердить. Самое простое логическое рассуждение сводится к следующему. На вопрос, для какой цели поверхность бомбы была опылена астроном, мы знаем лишь один ответ: астрон, выделяющий жесткие гамма-лучи, может с успехом заменить рентген. На второй вопрос — откуда пыль астрона могла оказаться на спутнике атлантидов — напрашивается ответ: астрон доставили туда существа, хотевшие ознакомиться с внутренней конструкцией атомных бомб... Поскольку живые люди до настоящего времени никогда не посещали этих районов Галактики, существа, которые проделали это, не были людьми...

— Значит, тут кто-то побывал до нас! — вырвалось у Аметы, который был взволнован не менее других.

— Это не бесспорно, но весьма правдоподобно, — сказал Гротриан. — Чтобы дать другое объяснение фактам, которые я привел, пришлось бы допустить крайне необычные стечения обстоятельств.

— Но ведь пол и стены спутника покрывал иней, на котором отпечатывался каждый наш шаг, — сказал я. — Как же эти существа могли не оставить после себя ни малейших следов? Кроме того, насколько можно судить, там ничто не было сдвинуто с места. А разве не ясно, что эти существа пожелали бы тщательно исследовать и мумии, и конструкцию корабля?

— Я думал об этом, — сказал Гротриан. — Но эти существа, если они и производили исследования — о чем говорит присутствие астрона, — могли не оставить после себя никаких следов...

На мгновение я представил себе образ неведомых созданий, не подчиненных законам механики. Не прикасаясь ни к полу, ни к стенам, они двигались когда-то по тем же закоулкам искусственного спутника, по которым недавно проходили мы. Я почувствовал дрожь. Астрогатор продолжал:

— Что касается нетронутой поверхности инея, то надо вспомнить, что спутник обращался вокруг Проксимы по очень вытянутой эллиптической орбите, подобной орбите кометы. Когда он на своем пути приближался к карлику — а, как показывают подсчеты, в перигелии он находился от него в сорока миллионах километров, — он разогревался, и тогда замерзший в резервуарах кислород превращался в газ и улетучивался, так как резервуары не были плотно закры-

ты. Так и возник своеобразный газовый хвост, благодаря которому мы открыли существование спутника. Когда же, удаляясь от карлика, он уходил во мрак, испарившийся газ замерзал и, оседая, покрывал все инеем. Таким образом новые наслоения инея, образовавшиеся при последующих обращениях вокруг Проксимы, могли скрыть следы посещения. Мы взяли пробу этого инея, и исследование показало, что он действительно таял во время приближения к карлику и вновь намерзал в афелии. Это происходило при каждом обращении с периодом около двенадцати земных лет. Кроме того, неизвестные существа могли проникнуть в атомную камеру непосредственно через полуоткрытую створку бомбового люка; мне это представляется даже более вероятным, поскольку бронированные внутренние двери оставались нетронутыми. Однако нельзя сказать с уверенностью, были ли створки бомбового люка отодвинуты человеческими руками или нет.

— Как в таком случае они могли бы узнать, куда им направиться, почему, не заходя в корабль, они сразу направились в атомную камеру? — спросил я.

— Может быть, они прежде просветили снаружи весь корабль, — ответил Гротриан. — Я предпочитаю, впрочем, не углубляться в дальнейшие предположения, поскольку чем дальше, тем более шаткими они становятся и тем меньше фактов можно привлечь для их обоснования. Однако мысль о том, что до нас на этом корабле побывали какие-то живые существа — высокоразвитые, использующие технику излучения, как об этом свидетельствуют следы астрона, — кажется мне довольно правдоподобной.

— А откуда могли взяться эти существа? — спросил Тер-Хаар. — Есть у тебя какая-нибудь гипотеза на этот счет?

— Ничего не знаю. Наиболее вероятным представляется, что они прибыли с ближайших систем, с одной из планет Проксимы — впрочем, они, кажется, не населены, — или с систем Центавра... Ничего определенного об этом сказать нельзя.

— Астрогаторы знают обо всем? — спросил я.

— Конечно.

— Возможно, мы поторопились уничтожить этот спутник... — заметил Тер-Хаар. — Можно было бы провести более тщательные исследования...

— Сомневаюсь, что это дало бы нам что-нибудь. Впрочем, нет нужды говорить о том, чего нельзя вернуть. Это все, что я хотел вам сказать. Товарищам мы все сообщим

немного позже, когда приступим к исследованию планет. А теперь, как вам известно, мы направимся к красному карлику и подойдем к нему как можно ближе; это сопряжено с определенным, хотя и незначительным, риском.

И действительно, «Гейя», направляясь в сторону Проксими, увеличивала скорость.

Красный карлик давно уже интриговал астрономов. Эта слабая звезда, по размерам значительно уступающая Солнцу, с температурой около 3000 градусов, вспыхивает через определенные промежутки времени, многократно усиливая свое свечение. Астрофизики объясняют это колебаниями атомных процессов, происходящих внутри звезды. Профессор Трегуб как-то пошутил, что эти вспышки, возможно, есть результат «экспериментальных работ существ, населяющих ближайшую планету. Они, видимо, недовольны низкой температурой своего солнца, стремятся поднять ее и разгребают кочергой разогревающий его очаг».

На протяжении одиннадцати дней полета багряный диск звезды становился все больше. Уже на восьмой день он казался примерно таким, как Солнце, когда на него смотришь с Земли. На десятый день пришлось включить гелиевые холодильные установки, поскольку корабль стал разогреваться.

Все больше людей стало появляться на палубах и рассматривать сквозь темные стекла красное солнце. Мы пока не заметили никакой вспышки. Палубы были залиты равномерным пурпурным светом, и с каждым днем он становился все сильнее.

Меня самого этот полет интересовал мало. Я долго и безрезультатно думал над словами Гротриана. Наконец однажды вечером набрался храбрости и пошел к Трегубу. Мне хотелось узнать, что он скажет об этом. Астрофизик терпеливо выслушал меня (разговор происходил в маленькой обсерватории, где ученый не раз засиживался до полуночи), потом сказал:

— Мой дорогой коллега! Совершенно ясно, почему ты пришел именно ко мне. Твоим визитом я обязан славе самого смелого из всех смельчаков, когда дело касается создания гипотез. Должен тебе объяснить, откуда берется эта слава. Я считаю, что науке для ускорения ее развития и уточнения понятий необходимы противоположные точки зрения. Много раз мне случалось оказываться в научных спорах неправым, но почти всегда — сознательно или бессознательно — моим оппонентам приходилось при дискус-

сии дополнять и уточнять детали положений, которые они защищали. Благодаря этому их теории становились более четкими, более простыми и, стало быть, более совершенными. Это, конечно, не означает, что я стараюсь любой ценой быть в оппозиции, но часто в ней оказываюсь и дорого плачу за это. Впрочем, если я чего-нибудь да стою, то лишь потому, что не боюсь рисковать. Однако думаю, что гипотезу, с которой ты пришел, дальше развивать нельзя. Каковы факты? Полуоткрытое отверстие бомбового люка да несколько микрограммов астрона на одной из бомб — вот, собственно, и все. А ты хотел бы не только узнать, как выглядят существа, которые якобы посетили спутник, но и услышать от меня что-нибудь об их психологии; поэтому я думаю, что тебе лучше обратиться к профессору Энтрелю — на этот случай надо сочинить еще одну звездную сказку, а он здесь выдающийся специалист, на голову выше всех прочих краснобаев... Я не буду рассказывать сказки!

Так я и ушел из обсерватории, ничего нового не узнав. Волей-неволей я отбросил эту проблему, но совсем ее забыть не удалось: загадочные существа преследовали меня во сне, то в виде студенистых облаков, похожих на надутые ветром паруса, то в виде закованных в броню осьминогов. Амета заметил, что мое воображение попросту создает комбинации знакомых образов, да иначе и быть не может: то, чего мы не знаем, нельзя вообразить себе ни в целом, ни в отдельных деталях.

Через две недели после того, как мы свернули к Проксиме, ее диск закрыл десятую часть неба. Холодильные установки «Геи» работали с большой нагрузкой, чтобы поддерживать на корабле нормальную температуру. Астрофизики почти уже совсем не покидали своих обсерваторий.

На восемнадцатый день утром я вышел на палубу и почувствовал, как пышет сквозь стены жар. Диск красного солнца, казалось, стоял неподвижно. Его вращение можно было угадать только по величественному движению темных пятен, окруженных венцом пламени. Хотя холодильники работали во всю мощь, температура на корабле поднималась на одну пятую градуса в час, и к полудню термометры уже показывали 32 градуса по Цельсию. На смотровой палубе было трудно выдержать даже несколько минут: холодный ветер, который гнали туда вентиляторы, не мог побороть жару.

Диск карлика — фактически это было вытянутое наискось, неизмеримое огненное пространство — простирался во все стороны до звездного горизонта. Небо над «Геей», то

ли в результате оптической иллюзии, то ли из-за того, что лучи карлика действительно проходили сквозь межзвездную пыль, окрасилось в цвет застывшей крови. Алый мрак едва преодолевали самые яркие звезды. Любопытствующие беспрерывно появлялись на палубе и сразу уходили; они словно уносили в своих воспаленных глазах отражение огненных лучей.

Иногда красное солнце казалось чудовищных размеров воронкой с загнутыми краями. Со дна воронки поднимались протуберанцы; одни так медленно, что изменения в их формах нельзя было уловить глазом; другие стремительно, подобно пружинам, словно из хромосферы появлялись огненные ящерицы. Дугообразная линия диска карлика отделялась от темного неба взлохмаченными языками пламени. О вращении карлика свидетельствовало величественное перемещение темных пятен на фоне ослепительного огненного пространства.

В этот день даже во внутренних помещениях температура достигла сорока градусов. Вечером в амбулаторию явился второй ассистент астрогатора Пендергаста, молодой Канопос. Он жаловался на сильную боль в голове, ломоту в спине и общую слабость. Пульс у него был странно замедлен. Я назначил ему стимулирующие препараты и проинформировал Ирьюлу, что, по моему мнению, болезнь Канопоса вызвана резким повышением температуры на корабле. Я поместил больного в изолятор, где температура поддерживалась на уровне двадцати пяти градусов — на палубах она за ночь поднялась до сорока четырех.

Состояние Канопоса на следующий день меня очень встревожило. Температура повысилась, селезенка набухла, общее самочувствие ухудшилось, анализ крови показал уменьшение количества лейкоцитов. Около полудня больной начал бредить.

Средства, примененные мной, не принесли улучшения, и я вызвал на консилиум Шрея и Анну. Характер болезни был для нас непонятен. После консилиума я пошел к Ирьюле и категорически потребовал прекратить полет к солнцу. Астрофизики отнеслись к этому весьма сдержанно, так как по плану мы должны лететь к красному карлику, пока температура на корабле не достигнет 56 градусов, а сейчас она не превышала 47; несмотря на это, я продолжал настаивать на своем. Трегуб обратил мое внимание на то, что, помимо Канопоса, никто до сих пор не заболел, и спросил, уверен ли я, что заболевание Канопоса связано с повышением темпе-

ратуры. Хотя я не был в этом уверен, но продолжал настаивать, и астрогаторы решили уступить.

В три часа пополудни «Гея» уменьшила скорость, произвела поворот, описав дугу с огромным радиусом, и начала удаляться от карлика со скоростью 50 километров в секунду. Состояние больного ухудшалось. Я сидел около него до полуночи; он бредил, температура поднялась до сорока градусов, сердце начало слабеть, как бы под влиянием таинственного яда. Я провел уже две ночи на ногах и так устал, что почти не мог сопротивляться сну; в два часа меня сменила Анна. Я отправился к себе, чтобы поспать несколько часов но в четыре утра раздался телефонный звонок.

Услышав слова Анны: «Острая сердечная недостаточность, состояние угрожающее», я полусонный вскочил с постели, набросил халат и побежал в больницу.

Больной был без сознания. Воздух со свистом вырывался из его запекшихся губ; все тело содрогалось от сухого мучительного кашля; стрелка пульсометра показывала свыше 130 ударов. В ход была пущена кислородная аппаратура, уколы, поддерживающие кровообращение; я собирался применить искусственное сердце, но это было абсолютно противопоказано из-за признаков общего отравления. Я разбудил Шрея; он появился через несколько минут. Втроем мы снова попытались установить причину таинственного заболевания. Было уже очевидно, что оно не имеет ничего общего с тепловым ударом. Мы еще раз произвели анализ крови на микробы (на «Гее» их совершенно не было, но мы считались с возможностью заноса болезнетворных микроорганизмов с корабля атлантидов) — он дал отрицательный результат.

Сделав все, что было возможно, я вышел на несколько минут на пустую — было около пяти часов утра — смотровую палубу. Слышался глухой, монотонный шум работавших на полную мощность холодильников. Я шел задумавшись, не обращая внимания на вид за стеклянной стеной; вдруг прямо в глаза ударил свет. Я остановился.

В первую минуту я увидел лишь красное пламя — не неподвижную, тяжелую массу раскаленной стали, а полужидкий, клочковатый океан хромосферы. Приглядевшись, стал различать детали. Стена пламени, закрывавшая три четверти неба, на первый взгляд однородная, казалась теперь живой. Там бушевали какие-то багровые леса, сквозь их беспорядочную гущу пробивались протуберанцы; они разветвлялись, троились, множились, раздувались, превращаясь в огненных чудовищ, горевших кровавым пламенем, в какие-то

ужасные рожи — их пылающие челюсти то открывались, то закрывались. Они существовали несколько минут, затем вздымались и рассивались, а на их месте со дна, как бы взметенные невидимым вихрем, всплывали новые. Иногда взрыву протуберанцев предшествовало появление двух вращающихся в разные стороны огненных столбов, более темных, чем окружающий океан. Кос-где пылающая поверхность начинала колебаться, потом внезапно разбухла и выбрасывала молнии, которые взлетали с ужасающей быстротой, затем становились слабее и бледнее; потом их ослепительное сияние приобретало оранжевый оттенок, и сквозь них просвечивали глубокие слои непрерывно колеблющейся хромосферы.

Это было неопишное зрелище. После нескольких лет беспредельного мрака пустоты, в которой камнел от холода самый летучий газ, я видел теперь, как за хрупкой стеной «Геи» вздымалась не гора, не море, а сплошной гигантский мир огня, в котором, казалось, распадался, таял наш корабль — ничтожная крупинка металла, повисшая над ослепительной бездной.

Как безжалостна Вселенная! — подумал я. Как мало в ней уголков, где могла бы зародиться и какое-то время существовать жизнь, как слаба и беспомощна эта жизнь перед раскаленным добела огнем и черным холодом, этими двумя полюсами бытия... И все же, думал я, эта слабая жизнь способна на многое, и вот мы уже над звездой, над бездумно пылающим огнем — таким же, какой нас породил.

Размышляя так, я чувствовал, как в лицо, в глаза, в кожу головы миллионами невидимых раскаленных иголок проникает жар, источаемый красным карликом — карликом по отношению к другим звездам, но чудовищем по отношению к людям.

Я вдруг почувствовал, что здесь есть кто-то еще, — сзади в двух шагах стоял Трегуб. Хотелось, чтобы он помог мне обрести внутреннее равновесие, и, наверно, поэтому я спросил:

— Профессор... а что случилось бы с карликом, если бы мы выстрелили в него всем зарядом нашего дезинтегратора?

Без секундного промедления он ответил:

— То же самое, что с океаном, в который ребенок бросает песчинку.

Его слова уже не дошли до моего сознания: мысли опять вернулись к больному, потому что внезапно мелькнула ужасная догадка. Несмотря на раннюю пору, я прямиком от-

правился к Гротриану и спросил, были ли по возвращении на «Гею» обеззаражены автоматы, побывавшие до нас на спутнике атлантидов.

Астрогатор встревожился и немедленно позвонил Ирьюле. Минуту спустя мы получили ответ: автоматы подверглись стерилизации лишь после нашего возвращения на корабль; таким образом, они могли почти три часа соприкасаться с людьми.

— Но ведь вы утверждали, что заражение болезнетворными микробами исключено! — сказал Гротриан, закончив разговор и внимательно приглядываясь ко мне.

Я молчал. Гротриан подошел к аппарату и вызвал к себе специалистов; вскоре явились Тер-Хаар, Молстич и палеобиолог Ингвар. Астрогатор коротко сообщил им факты.

Когда он закончил, Ингвар вскочил с места.

— Вирусы! — крикнул он. — А вы исследовали кровь на вирусы?

— Нет, — ответил я, побледнев.

Мы не подумали о такой возможности. Это была роковая, но понятная ошибка: последние вирусы исчезли с Земли девятьсот лет назад. Я попросил Гротриана узнать, сталкивался ли Канопос с автоматами до их стерилизации, и вернулся в больницу.

Больной оставался без сознания. Одышка усиливалась, веки и пальцы посинели, удары сердца достигли ста пятидесяти в минуту. Анна, отчаявшись, непрерывно давала кислород. Я взял кровь из локтевой вены и передал автоматам-анализаторам. Я вынужден был дать им точную инструкцию, как действовать: они не были приспособлены для таких исследований, и поэтому только в девять часов утра я, очумевший от бессонницы, с головой, казалось, разрывающейся от боли, получил и прочитал результаты анализа. В крови больного были обнаружены мелкие тельца диаметром в две десятитысячные миллиметра. Уже поверхностное исследование показало, что это — болезнетворные микроорганизмы. Сомнений не было: наш товарищ заражен вирусами, принесенными автоматами со спутника. Еще раз я разбудил Шрея, чтобы сообщить ему об этом. Он сейчас же явился в больницу вместе с Ингваром и еще одним палеобиологом — специалистом по древней микрофлоре. По материалам трионовой библиотеки мы быстро определили микроорганизмы: это были вирусы так называемой мраморной болезни, страшной инфекции, свирепствовавшей на Земле больше тысячи лет назад.

Мы были в аналитической лаборатории, когда нас вызвала Анна.

— Агония, — сказала она по телефону. Я повторил это присутствующим.

Наш товарищ умирал. Пульс был уже неразличим, лицо сделалось пепельно-серым, дыхание с трудом вырывалось из горла. Мы снова перелили кровь, попробовали разгрузить сердце, но напрасно. Тогда, выполняя высший врачебный долг, попытались вернуть ему на несколько минут сознание, чтобы он мог выразить последнюю волю, но и этого не удалось. Отравленный ядами, мозг терял власть над телом. В десять часов шесть минут дыхание прекратилось.

Это был первый случай смерти от болезни на нашем корабле. Мы вышли из больницы, подавленные своим поражением; если бы мы раньше распознали причину болезни, нам, вероятно, удалось бы ее побороть. Теперь следовало подготовиться к возможной вспышке эпидемии. Гротриан сообщил, что Канопос действительно соприкасался с автоматами; именно он привел их в лабораторию астрогаторов, где их сообщения зафиксировали на трионах. Автоматы, вероятно, заразились культурой вируса, проходя через обитые свинцом лаборатории искусственного спутника. Они не приняли необходимых мер предосторожности — их конструкторы не предусмотрели подобного случая.

Мы изолировали всех, кто в последние дни соприкасался с Канопосом, в специальном отсеке больницы. Опасность заражения была очень велика: организм, не привыкший на Земле к борьбе с болезнетворными микробами, оказывал им очень слабое сопротивление. Пока биологи и химики анализировали белковую структуру вируса, я обследовал всех, кто мог предположительно заразиться. В крови одиннадцати человек были эти опасные тельца. Синтезаторы получили команду изготовить вещество, губительное для вируса, но безопасное для человека; они начали работу вечером и уже к полуночи дали первую порцию лекарства; его тут же передали в больницу. На следующий день мы ввели лекарство всему экипажу «Геи». Опасность эпидемии была подавлена в зародыше.

Вечером на смотровой палубе я встретил Тер-Хаара и Нильса Ирьюлу. Нильс спрашивал меня о последних минутах Канопоса — тот был его другом.

— Подумайте, — сказал Тер-Хаар, когда я закончил свой рассказ, — они настигли последнюю жертву тогда, когда последняя пылинка от них уже рассеялась в пустоте...

Мы молчали. Позади, за кормой «Геи», горел огненный

карлик. Багряный отсвет лежал на потолке палубы, на лицах людей, отражался в их глазах.

— Это была слепая случайность, — вдруг отозвался Нильс, — но какая несправедливая. Их чудовищные намерения пережили века, но от тех, кто с ними боролся, не осталось ничего...

— Как ты можешь так говорить! — чуть ли не с гневом воскликнул Тер-Хаар и поднял руку, словно бы указывая на звездное небо.

— Профессор, ты горячишься, — сказал я. Может быть, все это не имело смысла, может, это была печаль, тоска по умершему товарищу, а может быть, гнев, вызванный поражением, но я продолжал язвительно: — Может быть, без них и звезд бы не было?

— Звезды были бы, — спокойно ответил Тер-Хаар, — но людей среди звезд не было бы.

ПЛАНЕТА КРАСНОГО КАРЛИКА

Вторая планета карлика была видна как небольшой, рыжеватый диск, который, казалось, по мере нашего полета все больше приближался к двум самым ярким звездам на небе — солнцам-близнецам Центавра.

Солнце А имеет планетную систему, состоящую из двух групп — дальней и ближней, очень похожую на планетную систему Солнца. Солнце Б не имеет планет в собственном значении этого слова: его окружает огромный рой метеоритов и астероидов; самые крупные из них приближаются по размерам к Земле и Луне. Астрофизики назвали это солнце «мусорщиком двойной системы». Оно, похоже, втянуло в свою орбиту осколки, оставшиеся после образования планетной семьи Телемаха.

В эти дни, наполненные событиями, планетологи почти не покидали обсерватории. В нашей Солнечной системе давно было измерено и взвешено все, что хоть немного напоминало планету, и теперь можно было лишь уточнять результаты прежних исследований. Здесь же планетологов просто захлестывал поток новых фактов: куда бы они ни обернулись — к большим ли солнцам Центавра или к красному карлику, — всюду сияли неисследованные планеты. Не удивительно, что им приходилось работать без передышки; они и питались и дремали у своих телескопов.

Все же мне удалось настичь Бореля в безлюдном саду;

он забежал туда, по его словам, «на одной ноге, чтобы освежить голову ароматом цветов». Мы присели на камнях над ручьем, и Борель под большим секретом рассказал об открытии, которое он только что сделал. Вторая по порядку планета солнца А, несколько меньшая, чем Земля, обора-чивается вокруг оси за три четверти земных суток. Я терпеливо ждал дальнйших разъяснений, но Борель не торопился с ними и, лишь когда заметил мое спокойствие, изумленно сказал:

— Как, неужели ты не понимаешь? Вспомни, Меркурий вообще не вращается вокруг оси, а Венера — очень замедленно. Быстрое вначале вращение этих планет за миллионы лет затормозилось приливным трением, вызванным притяжением Солнца. Так вот, внутренняя планета системы А Центавра обращена к звезде всегда одной стороной, как Меркурий; другая же, по положению соответствующая Венере, имеет период вращения в тридцать раз меньший, чем Венера...

— Что это значит?

— Вмешательство внеастрономического фактора.

— Что это за фактор?

— Живые создания, населяющие планету, — ответил Борель. — При этом — создания, по меньшей мере равные нам, а может быть, и превосходящие нас по уровню развития: мы-то ведь пока не пытались воздействовать на скорость вращения Земли.

— Что?! — воскликнул я. — Ты считаешь, что они регулируют?!

— Да. У этой планеты нет луны; по всем расчетам она должна совершать один оборот вокруг своей оси за двадцать или восемнадцать суток. Теоретически меньший период вращения исключается, значит... Мы должны приготовиться к встрече с действительно разумными существами!

Я спросил, почему после такого важного открытия мы теем время на погоню за второй планетой карлика.

— За восемь лет путешествия, — объяснил Борель, — двигатели «Геи» превратили в энергию несколько десятков тысяч тонн горючего. Надо пополнить его запасы. Ты знаешь, что мы можем получать атомную энергию из любого вида материи. Теоретически безразлично, каким веществом — жидкостью, газом или минералами — приводить корабль в движение, но астрогаторы требуют, чтобы этот материал можно было получить много и переправить на «Гею» легко и быстро. Надо надеяться, что вторая планета карли-

ка, окруженная разреженной, безоблачной атмосферой и покрытая песчаными пустынями, подойдет наилучшим образом.

— Когда древнему садовнику удавалось вырастить плоды, то прежде, чем их касалась чья-то рука, он мог сказать: я сделал свое дело.

Так говорил Амета. Он стоял с Ирьюлой на передней смотровой палубе, залитой красным светом пылающего в вышине карлика.

— О чем вы говорите? — спросил я, подходя. — Кто этот садовник и что значит твоя метафора, пилот?

— Мы говорим, что, если бы нам пришлось сейчас повернуть к Земле, мы знали бы, что экспедиция так или иначе выполнила свою задачу, — ответил за Амету инженер.

— Ах, значит, это мы — садовники, а это — созревший плод? — Я показал туда, где до самого горизонта возносилось рыжее полушарие планеты. — Что касается меня, то я предпочел бы не возвращаться, особенно теперь, когда мы приближаемся к цели!

— Ни у кого такого намерения нет, — возразил Ирьюла. — Мы ведем разговор на всякие возвышенные темы, потому что сегодня Амете исполнилось пятьдесят.

— Полвека! — воскликнул я невольно. — А ты с каждым днем все молодеешь! Как тебе удастся?

Амета ответил:

— Мы уже давно отправили на Землю основную формулу теории Гообара. Этот пучок радиосигналов сейчас несется в пространстве и дойдет до Земли через два года. Пусть черти нас заберут — разве это не великолепно?

— Это зрелище — черти, которые нас забирают, мне не кажется великолепным, но, если оно тебе необходимо ко дню рождения, пусть будет так, я согласен, — ответил я и спросил у Ирьюлы: — Инженер, почему на корабле ничего не делается? Почему не готовятся к высадке?

— Мы все выполнили ночью. Предстоит пройти еще около тридцати тысяч километров, но это займет не меньше часа, так как движемся очень медленно: приближаемся к сфере Роша...

— И первым полетит Амета? — спросил я.

— Конечно, Амета, — словно эхо отозвался пилот.

А инженер добавил, улыбаясь:

— Лететь должен был Зорин, но он уступил свое право Амете — подарок ко дню рождения.

— Я все же надеюсь, что у всех будет возможность поразмять кости на настоящей твердой земле? Ты подумай только, восемь лет чувствовать металл под ногами... Может быть, астрогаторы смилуются над нами?

— Смотрите, — негромко сказал Амета.

Бурую поверхность планеты прорезали трещины. Все на ней казалось неподвижным, мертвым; но, внимательно всматриваясь в плоские и как будто абсолютно гладкие равнины, можно было заметить, что по ним лениво передвигаются сероватые пятна. Картина была очень похожа на ту, что открывается перед путешественниками на подлете к Марсу; внизу, казалось, перемещались с огромной скоростью пыльные бури.

Палуба наполнилась людьми. «Гея» двигалась все медленнее, как бы размышляя, опуститься ей на поверхность планеты или нет.

— Надо собираться, — сказал Амета и улыбнулся.

Я заметил, что у него совсем седые виски. Падающий сверху свет карлика засверкал на этой седине чистым рубином.

— Надо собираться, — повторил он. — Отправляюсь в другой мир, но не прощаюсь: скоро вернусь!

Амета провел в разведывательном полете три часа, после чего сообщил: «Маленькая, пустынная планета типа Марса. Довольно глубокая безводная эрозия. Никаких следов органической жизни; большие каменистые и песчаные пустыни; одинокие утесы, горные цирки и погасшие вулканы. Атмосфера раз в двадцать менее плотная, чем на Земле, без следов кислорода и водяных паров. Разница температур между дневным и ночным полушарием доходит до 110 градусов. Вдоль терминатора проходит зона бурь, движущихся со скоростью вращения планеты. В центральной горной системе субтропической зоны южного полушария — большая правильной формы впадина, обнажающая глубокие слои коры; вероятно, кристаллический базальтовый щит. От этого района на несколько сот километров расходится широкий слоистый пояс раздробленных вулканических скал».

Планстохимики дали заключение, что хотя энергетическая ценность базальта и родственных ему минералов значительно уступает ценности тяжелых земных элементов, которые до сего времени служили горючим, простота добычи и транспортировки компенсирует эту разницу. Было решено, что «Гея» на пять-шесть дней ляжет в дрейф над этим

районом и грузовые ракеты наполняют ее резервуары размельченными минералами.

Всю ночь в лабораториях анализировали фотоматериалы, привезенные Аметой. «Гея» дрейфовала на высоте около 200 километров, далеко за пределами разреженной атмосферы. Выйдя утром на палубу, я стал свидетелем прекрасного зрелища. Корабль выходил из конуса тени, который отбрасывало ночное полушарие планеты. Вверху гигантского полукруга, закрывавшего звездное небо, появилась кроваво-красная черта; потом на однообразном черно-буrom небе показался красный край карлика. Когда его отвесные лучи пронизали атмосферу, она вспыхнула, как озаренная бенгальскими огнями. Кое-где словно перскатывались по прозрачным коридорам кровавые волны, диск планеты до самого края засверкал багрянцем, переходящим в розовый цвет. Это зрелище не исчезало, пока красный карлик не поднялся окончательно, а бегущая ему навстречу «Гея» не оказалась над дневным полушарием планеты.

В двенадцать часов по планетному времени «Гея» легла в дрейф над местом, указанным Аметой, и выслала разведывательную группу тектонистов и планетохимиков. Внизу, затянутый полосами редкого тумана, неясно вырисовывался извилистый горный массив, в центре его возвышалась вершина, похожая на гигантский лунный кратер диаметром в четыреста километров. На северо-востоке в стене кратера зияло отверстие, словно много веков назад здесь ударил гигантский молот, вдребезги разбив скалы, обломки которых разметались далеко по пустыне, образовав длинные блесые полосы, лучами расходящиеся во все стороны. Вся эта местность с большой высоты была похожа на морскую звезду, приплюснутую к поверхности шара.

Когда уходящие вниз ракеты скрылись из глаз, мы взяли за бинокли. В поле зрения, по которому все время проплывали красноватые облака, появились серебристые искры, приближавшиеся к планете. Первая ракета нацелила на пустынную равнину атомные лучи, оставлявшие за собой раскаленную розовую полосу. Расплавленный песок превратился в стекловидную массу, своеобразную естественную дорожку, на которой могли приземлиться следующие ракеты. Исследователи должны были взять образцы скального грунта и определить места залегания пород с максимальным содержанием тяжелых элементов. Через три часа они по радио вызвали с аэродромов «Геи» грузовые ракеты с экскаваторами, дробилками и погрузчиками. Разведывательная группа

могла бы вернуться на корабль, но она продолжила исследования. Ближе к вечеру ученые попросили астрогаторов выслать в их распоряжение гусеничные тракторы. Пользуясь случаем, я присоединился к экипажу ракеты, которая везла на планету машины.

Эта ракета, куда более тяжелая, чем пассажирские, на которых пошли разведчики, не могла сесть на дорожке из искусственной стекловидной массы. Пилот Уль Вефа резко затормозил над песчаными холмами, но ракета не успела потерять скорость и врезалась в песок с такой силой, что несколько десятков секунд из-под ее носа поднимались косматые песчаные волны. Едва смолк гром торможения, как наступившую было тишину сменил шум вихря. За окнами проносились бурые облака.

Мы находились в самой нижней точке чашевидной впадины, окруженной со всех сторон скальным амфитеатром. Ракеты-разведчики стояли в километре от нас; вихри песка засыпали их со всех сторон — вокруг ракет уже намело полукруглые песчаные сугробы. Гусеничные тракторы сошли вниз по сходням. Вместе с другими астронавтами я влез на трактор, и мы двинулись к основной площадке.

Я думал, что горы чужой планеты напомнят мне пейзажи Земли. Там скальные вершины — застывшие, на расстоянии кажущиеся более доступными — и великое молчание, измеряемое лишь ударами пульса, рождали чувство бесконечности. Здесь тоже ощущалась бесконечность — но черная и необъятная, притаившаяся за тонкой оболочкой атмосферы; в ней не было земной голубизны. С машины, которая содрогалась от рывков мотора и подпрыгивала на ухабах, передо мной открывалось серое, словно засыпанное пеплом, пространство, персходящее в небо грядами тусклых холмов. Позади в клубах пыли мутно тлел красный карлик. Машина, задыхаясь и хрипя от усилий, взобралась на широкую стекловидную полосу, созданную ракетами, перебралась через нее, отчаянно размалывая ее гусеницами, и скатилась по другую сторону в летучий серовато-белый песок. С вершин окрестных холмов слетали песчаные смерчи, песок с шелестом рассыпался по стеклу шлема. Наконец гусеничный трактор остановился около ракеты-базы. Мы прыгнули. Пыль была выше колен; низовой ветер поднимал ее и загонял во все поры скафандров. До ракеты надо было пройти меньше ста метров, но я облился потом, пока преодолел это расстояние.

Ракета стояла на голом обломке скалы, возвышавшемся,

как остров, среди подвижных песков. Вокруг простиралась пустыня. Ничто не напоминало здесь очертаний морской звезды, столь ясно различимых с высоты. В просторной кабине ракеты десять астронавтов склонились над столом, покрытым картами, фотоснимками и осколками минералов, и что-то обсуждали. Оказывается, моих товарищей заинтересовали очертания горных массивов, и они собирались провести пробное зондирование почвы. Вскоре мы опять влезли в скафандры и пошли к ожидавшим нас гуссничным машинам.

Я взобрался на башенку, чтобы окинуть взглядом пространство; едва я это сделал, машина дернулась, затем дернулась сильнее и тронулась с места, вздымая гейзеры песка. Двигались медленно, переваливаясь и по временам увязая до середины бортов. Это колыхание и песчаные волны создавали впечатление, будто мы движемся по морю. Контуры гор, проступающие сквозь облака пыли, становились все темнее и выше. Когда расстояние до них достаточно сократилось, я увидел, что мы направляемся к пролому в скальном хребте.

На западе тянулись отвесные скальные стены, иссеченные расселинами, вглубь которых проникали языки осыпи. Эта картина естественной эрозии сменялась неопишуемым хаосом. Разрушенные склоны отваливались гигантскими ломтями; в обнажениях виднелись огромные грушевидные глыбы, словно в разломы некогда стекал расплавленный камень и застывал выпуклыми наростами. Отвесные обрывы были оплавлены и отливали фиолетовым блеском. Огромная часть горного массива в этом месте низвергалась до самого дна впадины тремя ужасными, смертельными бросками и вновь поднималась на прежнюю высоту в нескольких километрах отсюда, у рыжей черты горизонта.

Наш караван все чаще сворачивал то в одну, то в другую сторону, обходя полузасыпанные песком базальтовые глыбы; наконец мы остановились: впереди простиралось поле, усталое вцепившимися друг в друга остроугольными камнями, преодолеть их наши машины не могли. Дальше, во время пешего марша — вернее, восхождения, — я какое-то время сопровождал ученых, но их однообразная работа — зондирование скал ультразвуковыми аппаратами, исследование рентгеном горных пород, взятие проб — продвигалась так медленно, что я вернулся к машинам. Сидя в теплой кабине, беседовал с Уль Вефой, пока не заговорило радио: метеотехники «Геи» предупреждали нас о песчаной буре, надвигавшейся вместе с закатом. Надо было собрать изыскате-

лей, которые разбрелись далеко по всей округе. Вскоре мы вместе двинулись к базовой ракете. Красное солнце заходило. За несколько секунд облака над нами как бы уплотнились, небо приобрело однообразно-ржавую окраску, напоминавшую коптящее пламя лампы, если смотреть на него сквозь грязное стекло. Кровавый, негреющий диск красного карлика висел в щели между черными вершинами и тучами. Все вокруг тонуло в красноватой, сгущавшейся мгле; пурпурные тона переходили в багрово-фиолетовые. Тяжело качающиеся машины с людьми были похожи на чудовищ, вышедших из морских глубин. Когда багряный диск коснулся горизонта, в нем возникло углубление, словно раскаленный шар расплавил скалы. Но карлик опустился ниже, и эта картина, рожденная оптической иллюзией, исчезла. Еще мгновение багрянец боролся с темнотой, затем погас. И только в том месте, где карлик скрылся за горами, сверкали сго протуберанцы, как лениво извивающиеся ярко-красные змеи; наконец исчезли и они. Наступила крошечная тьма, в которой ничего не было видно, словно мы стояли зажмурившись. Момент заката настиг нас у самого входа в ракету. Мы еще были под впечатлением закатных картин, когда вдалеке послышался нарастающий вой: надвигалась ночь, а вместе с нею и песчаная буря.

Я допоздна прислушивался к спору ученых; они согласились на том, что расселину в горной цепи пробил большой метеорит, двигавшийся по траскторий, почти параллельной поверхности планеты, и проложивший себе проход в прсграждавшем ему путь массиве. Я прикорнул в уголке большой кабины и сам не знаю когда уснул.

За ночь я раз или два просыпался, видел ученых, склонившихся над картами, и вновь засыпал. Кажется, они так и не сомкнули глаз до рассвета. Утром наружная температура опустилась до минус 87 градусов. Все ракеты были доверху засыпаны песком; их пришлось откапывать вызванным по радио автоматам. Грузовые ракеты продолжали перевозить на «Гею» измельченный базальт, а изыскатели вновь двинулись «в поле», к месту космического катаклизма.

Я остался один и сквозь стеклянную переборку смотрел, как в другой, меньшей кабине два координатора руководили работой изыскателей. На больших экранах изображалась окружающая местность. Там, где находились люди, на экране светились точки. Десятки этих светлячков медленно ползли, останавливались, возвращались назад — это производило впечатление какой-то детской игры, а на самом деле те, кто

там работал, взбирались на почти неприступные скалы и спускались в глубокие ущелья. Вдруг я заметил, что все светящиеся точки начали двигаться в одном направлении; они образовали мелькающее кольцо, потом собрались в кучку и зашевелились, как пчелиный рой. Оба координатора оживились. Кроме них в кабине был планетолог Борсль, он поминутно вглядывался то в один, то в другой экран, говорил с координаторами, потом подошел к аппарату прямой связи с «Гессей» и начал какие-то длинные переговоры. Внезапно координаторы встали и склонились над экранами; на лицах отразилось такое возбуждение, что я хотел перейти в их кабину, но на боковом пульте загорелись три лампочки, две зеленые и одна белая, означающие, что с «Геи» прибывает пассажирская ракета (грузовые, курсировавшие непрерывно, были выключены из сети сигнализации). Минут через десять прилетел астрогатор Тер-Аконян. Я не мог совладать с любопытством и тоже вошел в кабину.

— Сейчас они будут здесь, — сказал Борсль Тер-Аконяну. — Мы все узнаем из первых рук.

Четверть часа мы сидели в молчании, пока не послышался отдаленный прерывистый гул моторов, работающих на высоких оборотах; он приближался, прервался как бы громким вздохом, и через минуту в кабину вошли люди. Они несли большой металлический ящик; поставили его на стол. Некоторые от усталости едва держались на ногах. Как были — в пропыленных, грязных скафандрах, лишь отбросив назад шлемы, — астронавты садились или, скорее, падали в кресла.

Слово взял один из тектонистов. Оказалось, что в поисках подтверждения одной из своих гипотез они случайно совершили важное открытие. Одна из гусеничных машин внезапно провалилась под почву; расширив отверстие, разведчики увидели что-то похожее на подземную галерею, круто идущую вниз.

— Галерея естественного происхождения? — спросил Тер-Аконян.

— Мы не вполне в этом уверены, — ответил тектонист. Он провел перчаткой по лицу, оставив темную полосу, но никто не обратил на это внимания. Подойдя к ящику, лежащему на столе, он сказал: — Мы раскопали часть галереи, но работа продвигается медленно — не хотелось применять слишком сильные средства. В галерее, приблизительно в ста пятидесяти метрах под землей, мы нашли вот это...

Он откинул металлическую крышку. На мягкой подстилке лежала темная, пористая, как бы запекавшаяся бесформенная масса величиной с человеческую голову.

— Органическая материя? — спросил в наступившей тишине Тер-Аконян.

— Следы, — ответил тектонист. — Малые количества углерода. Изотопный анализ определил возраст этой массы в пределах 1200 — 1400 лет. Структура в основном бесформенная. Это тело подверглось воздействию высокой температуры — вероятно, при падении метеорита.

— Что говорят биологи? — спросил Тер-Аконян.

— То же, что и мы: углерод органического происхождения, ничего больше сказать нельзя.

— А дальнейшие исследования?

— Мы прошли пятьсот метров галереи и больше не встретили ничего подобного. Дальше обрыв, и галерея кончается.

— Ваши предположения?

— На планете никогда не зарождались собственные формы жизни, значит, останки — внепланетного происхождения.

— На основании чего вы так полагаете?

— Во всех слоях, вплоть до вулканических скал, отсутствуют следы воды, нет осадочных пород. Жизнь, состоящая из белковых структур, не может возникнуть без воды; углерод этого органического происхождения, таким образом... — Он развел руками.

— Таким образом? — повторил за ним Тер-Аконян.

— Гипотезы... ничего, кроме гипотез, — неохотно проговорил тектонист. — Галерея может быть остатком горных разработок.

— А это, — астрогатор показал на черноватую массу, — останки живого существа?

— Да.

Глаза присутствующих не отрывались от темной массы. Было что-то потрясающее в этом мгновении. Мы преодолели миллиарды километров, пронеслись равнодушно мимо скоплений раскаленной и остывшей материи, мимо солнц и каменных глыб, летевших в межзвездном пространстве, и вот эта крупинка, случайно открытая на безымянной, мертвой планете, ускорила биение наших сердец. Я как никогда прежде чувствовал мощную связь, более древнюю, чем человеческий разум и чем сам человек, объединяющую все живое — великую тоску по созданиям, подобно нам борю-

щимся с равнодушной бесконечностью мира. Это она повела нам увидеть в черных останках свидетельство какой-то погибшей жизни, неизвестной, может быть, непонятной и в то же время такой близкой, словно в этом существе было нечто от нашей крови.

Поиски шли, несмотря на бурю, непрерывно в течение двух следующих дней, но не дали никаких результатов. На четвертый день к вечеру бункера «Геи» были наполнены, наступил час отлета. Изыскатели неохотно покидали места раскопок, но астрогаторы торопили их по радио. Буря усиливалась с каждой минутой. Ураган с воем и скрежетом хлестал по ракетам струями песка, словно сотнями стальных игл царапая броню: Стартовать в этих условиях было нелегко: приходилось с места развивать большую скорость. Базовая ракета, на палубе которой я находился, отправилась последней, поэтому мне довелось увидеть старт других ракет. В темноту, содрогаясь, вонзались столбы бурлящего голубоватого огня, окаймленного снизу молочно-белыми бурунами, — так плавился песок пустыни. Огненные колонны одна за другой уходили в небо, прорезали ночь, вырывая из мрака куски освещенного призрачным светом пейзажа: взвихренный песок, отвесные скалы и скопище теней, разлетающихся по пустыне, как стаи черных птиц. Огненные трассы шли выше и выше, совершенно отвесно, становились тонкими, как раскаленные добела иглы. Когда затих громовой гул раскаленных воздушных масс, на время перекрывший вой урагана, мы слышали шум аппаратов зажигания нашей ракеты; слышались предупредительные сигналы, я лег навзничь и перестал видеть то, что происходило за окнами.

В ту ночь «Гея» вышла из зоны притяжения красного карлика и, ускоряя движение, понеслась к большим солнцам Центавра.

ТОВАРИЩ ГООБАРА

Сотрудников Гообара я обычно видел в его обществе и, наверное, поэтому считал их не особенно интересными людьми. Однажды вечером я убедился, что был не прав.

Я пришел в лабораторию историков, когда там еще никого не было. Уселся в кресло в одном из первых рядов. Большие лампы под сводом были погашены; зал заполнял серый, рассеянный свет, какой предвещает наступление пасмурного дня. Но тот сумрак — всего лишь одна фаза на пе-

реходе от темноты к ясному свету, а здесь, в холодном большом зале с темными картинами, едва различимыми на стенах, сумрак задержался; в остановившемся времени здесь длился вечный предрассветный час — уже не ночь, но еще и не день.

Размышляя об этом, я коротал время в ожидании товарищей.

Большая часть экипажа проводила теперь вечера в лабораториях. Люди обрабатывали материалы, полученные на планете красного карлика, и составляли планы следующих экспедиций в системе Центавра. Интерес к истории временно угас. Вот и сегодня вместо лекции Молетича стихийно завязался общий разговор. Тембхара рассмешил нас рассказом о том, как оставленные в лаборатории автоматы, принадлежавшие двум ученым противоположных взглядов, проспорили целую ночь, пока наконец один из них не убедил другого, и, когда хозяин утром пришел на работу, его автомат из верного союзника превратился в заядлого оппонента.

В какой-то момент Молетич предложил посмотреть произведения древних художников. Мы согласились. Свет в зале выключили, и на экранах во всем богатстве красок возникли полотна древних голландских и итальянских мастеров. Через час лампы вновь загорелись, и мы пошли к выходу, обмениваясь впечатлениями.

— Знаете, что больше всего поражает меня в этих картинах? — сказал Руделик. — Одиночество их создателей. Оно проявляется под разными масками: сухого, холодного равнодушия, презрения, сочувствия, а иногда вырывается горьким криком, как у Гойи...

— Некогда в искусстве можно было достичь ненавистью столько же, сколько и любовью, — заметил я. — Теперь уже нет.

— И не только в искусстве, — бросил Молетич.

— Но эти люди на картинах, — продолжал Руделик, — они смеются и плачут, как мы... Да, если бы я не был биологом, стал бы художником.

— А талант? — спросил кто-то.

— Ну, Тембхара помог бы мне своими автоматами, — сказал со смехом Руделик.

Мы пошли к дверям, только ассистент Гообара Жмур одиноко сидел в пустой аудитории, положив руки на спинку стоявшего впереди кресла и уставившись в серую плоскость экрана. В дверях мы остановились: не хотелось оставлять

математика одного в полутемном зале. Вдруг он повернулся к нам и спросил:

— Ждете меня? Если не торопитесь, расскажу вам одну поучительную историю... Она связана с тем, что мы сегодня видели...

Мы вернулись. Он попросил еще больше убавить свет. Молетич выполнил его просьбу, и математик, лицо которого казалось серым пятном в полумраке, начал рассказывать.

Математические способности у него проявились уже в детстве. Получив образование, он приступил к самостоятельным научным исследованиям и вскоре опубликовал работы, принесшие ему известность. Он брался за самые сложные проблемы и темы, над которыми другие бились безуспешно долгие годы, и в несколько месяцев решал их. Он мог заниматься одновременно двумя и даже тремя проблемами. Наделенный огромной, острой, мгновенной интуицией, он начинал новую тему, привлекавшую его внимание, указывал направление, в котором надлежало идти, но едва вырисовывался первый контур решения, как оно переставало его интересовать, и Жмур предоставлял разработку проблемы автоматам. Все, за что он брался, казалось ему недостаточно трудным, не требующим больших усилий. Коллеги называли его «коллекционером твердых орешков» и обвиняли в чрезмерной самоуверенности. Задетые его высокомерием, они подсунули ему одну идею. Он поднял брошенную перчатку, признав, что эта задачка требует усилий.

До тех пор в его комнате не было ничего, кроме письменного стола, кресла, электромозга и подручных анализаторов. Единственным исключением в этой унылой обстановке был гиацинт, росший под окном в серебряном конусообразном горшке. Теперь комната Жмура засверкала красками. С трионовых экранов исчезли чертежи и математические формулы. В их холодной серебристой глубине стали появляться изумительные произведения искусства: фарфоровые блюда, на которых концентрические круги малиновых и золотых лепестков вращались — если к ним присмотреться — в разные стороны; хрусталь с гравированными прозрачными кострами, скачущими оленями и сомкнувшимися в поцелуе устами; древние шитые ткани с потрясающе яркими цветами, где серебряные тона чередовались то с кроваво-красными, то с огненно-желтыми, то с фиолетовыми; были здесь греческие вазы, грациозностью форм напоминавшие обнаженные бедра, и другие вазы — тяжелые, широко распах-

нутые, как бы алчущие темного вина, и фляги, разрисованные поющими пестухами; доисторические амфоры с поверхностью, потемневшей и изъеденной ржавчиной, по окружности которой бежал хоробод белых теней.

Каждый такой предмет Жмур относил к определенному классу символов. Потом проделывал детальные исследования. На вспомогательных пультах возникали проекции и разрезы предметов, гиперболоиды, взаимопроникающие конусы, многогранники, политопы, торы, подвергнутые деформациям высшего порядка...

Вытравленные на металле, стекле, кристаллах шеренги фигур, склонявшихся подобно колосьям, превращались в кривые линии и однообразные ряды сложнейших чертежей, связанных цепями цифр.

Потом наступила очередь картин.

Извлеченные из мрака, появлялись на трионовых экранах высокие небеса Гоббеми; кипящие линии Гойи; комнаты Вормеса, наполненные невесомым воздухом; полные жизни нагие фигуры Тициана; порожденные золотистым полумраком, застывшие в полувздохе люди Рембрандта. Сидя целыми ночами у экранов, со взглядом, устремленным на гибкие фигуры ангелов и людей, на фыркающих, облитых пеной коней, Жмур исследовал оптическими аппаратами сочетания фигур, оси перспективы, золотистые пятна охры и чернь эбенового дерева, киноварь и индиго, сепию и кармин; плоскости, покрытые венецианской и индийской красками; он анализировал функции углов, сочетания света и тьмы, границы отбрасываемой тени. Но чем дальше он шел в этом направлении, тем большее сопротивление приходилось ему преодолевать. Каждая картина обладала не одним математическим скелетом, а бесконечным их множеством. Границы образов, соотношение пятен, пропорции человеческих тел, разъятых на части и проанализированных с помощью совершенного аналитического аппарата, упорно хранили свои тайны. Он ошибался, открывал в бесценных полотнах случайные и незначительные взаимозависимые соединения. А ему нужно было произвести математический анализ основных факторов, создающих красоту, выразить их одной емкой формулой, которая объясняла бы искусство, как гравитационная формула материи охватывает структуру всей Вселенной.

Измучившись, он искал отдых в далеких прогулках. Часто, проходя по аллеям парка, он обнаруживал в изгибах черных стволов геометрические кривые и немедленно начи-

нал выводить их функциональные формулы — так пианист упражняет пальцы, играя гаммы. До поздней ночи он про-
сиживал у аппаратов, вслушиваясь в глухой, монотонный
гул, в шум циркулирующих с головокружительной быстро-
той токов; автоматы послушно выполняли тысячи заданий
по расчетам. Иногда его сознание сужалось, как сжимаемый
мраком круг, в котором волнуется хаос красок, линий и об-
разов, и он засыпал, положив голову на руки под большим
экраном, где все медленнее появлялись сверкавшие ледяным
блеском зеленоватые кривые.

И вот наступил час, когда он написал на белой карточке
формулу, выведенную после сотен бессонных ночей, — од-
нозначную и очевидную, как неизбежность.

Ее следовало проверить. Он подошел к автомату, дал ему
инструкции и формулы, а потом терпеливо стал слушать,
как в шорохе молниеносных исполнительных устройств рож-
дается первое произведение искусства, которое не будет со-
зданием человеческих рук. Наконец из автомата появился
плотный лист бумаги. Жмур медлил, оттягивая момент
встречи с совершенством — с красотой, воспроизведенной
точнейше по оригиналу, затем схватил лист и поднес к све-
ту. Лист был заполнен сложным, ритмически повторяющим-
ся рисунком. От бесконечного множества узоров рябило в
глазах; каждый из них распадался на сотни мельчайших де-
талей, и на этом фоне, созданном железной логикой фор-
мул, в самом центре листа располагался плод мертворожден-
ной композиции: пустой, идеально белый круг.

Не веря своим глазам, математик пересмотрел все сочле-
нения автомата, проверил правильность программы, после-
довательность выполнения операций, выборочно — разные
этапы проделанного анализа, вновь и вновь углублялся в ма-
тематические дебри, чтобы свести их воедино.

Ошибки не было.

Он погасил лампу и подошел к окну. Тяжелая бллая луна
висела высоко в небс. Кровь глухо билась в висках. Он сто-
ял, закрыв глаза, пытаясь остудить разгоряченный лоб хо-
лодным металлом рамы, а в его мозгу мслькали бесконечные
вереницы назойливых алгебраических знаков. Наконец он
обернулся, сделал шаг вперед и замер. В углу у стены све-
тился единственный нсотключенный трионовый экран. Там
стояла вызванная несколько дней назад скульптура — голо-
ва Нефертити. В его распоряжении были все методы топо-
логии — единственной области математики, исследующей
качество; великая теория групп; капканы расчетов, которые

он расставлял, стремясь свести искусство к формулам — так, как решетка кристалла сводится к пространственным связям. Законам математики, думал он, подчинена любая мельчайшая частица материи, камень и звезда, крыло птицы и плавник рыбы, пространство и время. Как могло что-нибудь устоять перед орудием столь мощным?

Однако на столе, заставленном аппаратами, заваленном таблицами логарифмов, спокойно стояла, словно гостья из другого мира, эта скульптура, сухая, точная, изящная; глаза ее были такие сосредоточенные, словно она была готова исполнять все надежды, какие Жмур когда-либо питал. Она вся была чистейшей математикой, воплощением всех формул, выражающих все возможные миры. Дуги, которыми ее шия переходила в плечи, были похожи на две внезапные паузы великой симфонии. Под тяжелым головным убором фараонов виднелось лицо со страстными, познавшими наслаждение губами, застывшими в молчании. И все это было лишь каменной глыбой, которую сорок пять веков назад обтесал египетский ремесленник.

Он подошел к письменному столу, включил лампу, затмившую лунный свет, и долго смотрел на Нефертити, затем выпрямился, взял в руки творение автомата, разорвал его, сложил, рвал еще и еще, пока белые клочки не разлетелись в воздухе, как опадающий цвет яблони. Он хотел было выйти, но в дверях остановился и повернул назад. Подошел к главному электромозгу, включил аннигилятор. Зажглись лампы, послышался мягкий гул электроники. Он стоял, внимательно слушая, как в шуме, похожем на шорох листьев, стирается с металлических барабанов памяти гигантская теория, созданная его многомесячным трудом, как мыслящий механизм по его приказу навсегда забывает об этом горьком опыте — о том, о чем сам математик не забудет никогда.

ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

За четыре месяца пути мы удалились от красного карлика на триста миллиардов километров, и звезда сияла теперь красной искрой за кормой. «Гейя» мчалась полным ходом, направляясь к двойной системе Центавра, и мы второй раз стали свидетелями неуловимо медленного превращения звезд в солнца.

В свободное время я продолжал заниматься палеобиоло-

гией — как показал недавний опыт, она могла оказаться необходимой. Однажды вечером, погуляв для разминки по парку, я зашел к Борелям, но дома был лишь их шестилетний сын.

— Папа не возвращался домой с самого утра? — повторил я его слова.

Мальчик уговаривал меня остаться и поиграть с ним, но я ушел: если Борель не пришел к обеду, это кое-что значило. Я отправился на верхний ярус. Украшенное колоннами фойе перед обсерваторией пустовало, верхнее освещение было выключено — как и всегда во время сеансов наблюдения: что-бы выходящих из обсерватории не ослеплял резкий свет.

В самой обсерватории было так темно, что я долго стоял на пороге, ничего не видя. Постепенно взгляд привык к темноте, и я различил экраны телетакторов, отсвечивавших серебряной, как бы собранной в огромных линзах, звездной пылью. Обычно здесь былолюдно, теперь у экранов не было никого. Астрофизики обступили огромный, темный аппарат, стоявший в углу комнаты. Стояла такая тишина, что я невольно пошел на цыпочках. Казалось, все вслушивались в какой-то неслышный мне звук. У пульта радиотелескопа стоял Трегуб; обеими руками он держал рычаги и медленно их поворачивал. Большой диск перед ним то угасал, то вспыхивал ярче, и тогда голова астрофизика проступала на фиолетовом фоне черной тенью. Я уже хотел шепотом спросить, почему все молчат, когда слух уловил очень слабый шелест, словно кто-то сыпал зернышки мака на натянутое полотно. Трегуб продолжал двигать рычаги радиотелескопа, и шорох перешел в частую, звонкую барабанную дробь. Когда звук достиг максимальной силы, профессор опустил руки и подошел к динамику. Люди наклонили головы, чтобы лучше слышать. Однообразные звуки в конце концов стали надоедать мне, и я шепотом спросил у стоявшего рядом, что это такое.

— Сигналы локатора, — так же тихо ответил он.

— Наши сигналы, отраженные? От чего именно?

— Нет, не наши.

— Значит, с Земли?

— Нет, не с Земли...

Измученный, думая, что он шутит, я пытался разглядеть в темноте его лицо. Оно оставалось серьезным.

— Но откуда эти сигналы? — спросил я, забыв, что нужно говорить тихо, — голос раздался как гром в глухой тишине.

— Оттуда, — ответил Трегуб и показал на главный экран.

На пересечении фосфоресцирующих линий чуть заметно мерцала точка, отдаленная на несколько дуговых минут от солнца А Центавра, сиявшего ярким пятном в левом верхнем квадранте экрана.

— Это сигналы со второй планеты А Центавра... — добавил мой сосед.

Снова все сосредоточенно замолчали, но теперь я мог размышлять вместе со всеми.

Вглядываясь в темный экран и слушая однообразный пульс локатора в динамиках, я попытался вспомнить все, что знал о системе Центавра. Планете, с которой поступали сигналы, в нашей Солнечной системе по расположению соответствовала Венера; это была белая планета, так заинтересовавшая астрономов своим необычным вращением. Еще ранним утром, выйдя на смотровую палубу, я заметил, что «Гея» предельно выполняет непонятный маневр: звезды медленно перемещались. Теперь я задумался над этим и спросил:

— Давно слышны эти сигналы?

— Первый раз услышали сегодня утром, — ответил Борель.

— Они имеют отношение к нам? — спросил я, и не успел палеонтолог ответить, как мое сердце замерло, потому что я угадал ответ.

— Да. Направленный пучок волн очень узок. Мы пытались, маневрируя, выйти из него, но он каждый раз достигал нас...

Значит, нас ждали на этом белом пятнышке, едва видимом среди искрящихся скоплений звезд. Предположение сменилось уверенностью, надежда становилась реальностью, и, как бы в ответ на тысячи вопросов, роящихся в моей голове, динамики издавали пронзительное тиканье, похожее на торопливые слова на неизвестном языке: «Так, так, так, так...»

Электромагнитные волны пробили во мраке узкий туннель длиной в несколько миллиардов километров, нашли «Гею» и возвращались туда, откуда их послали, неся отраженное изображение земного корабля.

Мы летели к белой планете шесть недель. Двойные солнца Центавра росли, затмевая ближайшие звезды, и в то же время отдалялись друг от друга. Солнце А уже обернулось огромным огненным шаром, по которому пробегали ясно ви-

димые в гелиографах пятна. Но наша цель по-прежнему оставалась искрой, сверкающей во мраке, хотя ее движение уже можно было обнаружить, наблюдая за ней несколько часов, — так быстро меняла она положение среди звезд.

Мы предпринимали попытки установить с ней радиосвязь; автоматы непрерывно, несколько дней подряд посылали последовательно повторявшиеся ритмические сигналы, но в ответ мы не получали ничего, кроме сигналов локаторов, идущих в прежнем ритме и усиливавшихся по мере нашего приближения к планете. А расстояние, разделявшее нас, сокращалось очень быстро: «Гея» мчалась со скоростью 30 000 километров в секунду — идти с такой скоростью в пространстве, где могли быть астероиды, было рискованно, но нас подгоняло нетерпение. Мертвый металл атомных двигателей словно поддавался общему возбуждению — за кормой росли и растягивались во мраке столбы ядерного пламени.

Наконец на сорок третьи сутки с того памятного дня, когда мы впервые перехватили сигналы локаторов, «Гея» оказалась над планетой.

Огромный, закрытый густыми тучами белый диск закрывал небо. Пронзительное тиканье локатора стало таким сильным, что простое электронное приспособление, присоединенное к внешней оболочке корабля, позволяло услышать его без помощи усилителя. Но кроме этого, никакие другие сигналы к нам не поступали.

Постепенно замедляя ход, корабль приближался к белой планете по суживающейся спирали. Люди, стоявшие в молчании на палубах, с бьющимися сердцами смотрели вниз и думали одно и то же: «Вот мы и у цели».

Плотный слой облаков закрывал видимость, словно планета хотела скрыть от нас свою тайну. Мы могли изменить метеорологические условия: разогнать тучи на большом пространстве или превратить их в дождь при помощи лучистой энергии, но астрогаторы не хотели прибегать к таким средствам. Мы ограничились тем, что через регулярные промежутки времени продолжали попытки завязать переговоры по радио. Когда это не принесло результатов, сбросили на парашютах модели различных аппаратов, машин и технических приспособлений. Тучи поглотили этих посланцев, сомкнулись над ними, но ничего не изменилось в монотонных сигналах локатора, свидетельствующих о том, что в нескольких сотнях километров внизу живые, разумные существа наблюдают за нами, однако по непонятной причине хранят молчание и не отвечают на наши позывные.

На последнем витке, когда «Гея» спустилась до границы атмосферы, в разрыве между тучами показалась поверхность планеты. Мы увидели равнину, покрытую голубоватыми пятнами, широко раскинувшиеся сооружения, похожие на огромных расплюснутых пауков, а дальше — необъятное пространство смолисто-черного цвета, отсвечивающее яркими бликами. По палубам пронесся возглас: «Море!» До самого горизонта, исчезая под нависшими тучами, двигались волны, отражавшие лучи солнца. «Гея» еще сбавила скорость, но мы мало что разглядели — внизу уже сомкнулись тучи, похожие на гряды заснеженных гор.

На третий день полета вокруг планеты астрогаторы решили направить туда оперативную разведывательную группу. Лететь решили на пилотируемых одноместных ракетах, которые могли приземляться на пересеченной местности, на малом пространстве и даже среди строений и жилых домов. Впереди ракет должен был идти большой корабль с дистанционным управлением, несущий телевизионную аппаратуру; мы называли его нашими «глазами». Пилоты должны были спуститься ниже туч, произвести предварительные наблюдения и, в зависимости от обстоятельств, приземлиться или вернуться на «Гею».

Днем в кабине рулевого управления собрались почти все обитатели «Геи». Мы стояли в полумраке, на стенах горели экраны, похожие на окна, распахнутые над планетой. В боковом экране было видно, как пилоты в серебристых доспехах спускаются на ракетодром, как надевают шлемы и, сгибаясь под тяжестью скафандров, наклоняют головы при входе в свои ракеты. Потом толкатели ввели металлические веретена в глубь стартовых колодцев, и наступила тишина. Тер-Аконян положил руку на пульт. Глухой вибрирующий звук разнесся по всему кораблю, как удар большого колокола. Первая — управляемая по радио — ракета вырвалась в пространство. Минуту стояла тишина, затем опять послышался глухой удар. Пять управляемых пилотами ракет, выпущенных одновременно через носовые стартовые колодцы, покинули «Гею». Их место заняли новые ракеты; разносившийся по всему кораблю звук, похожий на бой гигантских часов, повторялся, пока последняя пятерка ракет не покинула «Гею».

Теперь внимание сосредоточилось на центральном экране. На нем до самого горизонта простиралось волнистое море облаков. Тридцать одна ракета описала круг около корабля; они сверкнули на солнце серебристыми боками и начали

спускаться, образовав висящую в пространстве, медленно вращающуюся спиральную лестницу.

Три астрогатора стояли на небольшом возвышении и всматривались в главный экран. Позади них были шесть аппаратов двухсторонней связи. У стереоскопических экранов сидели техники с наушниками. Каждый контролировал движение пяти ракет; на экранах они изображались как светящиеся линзы — на каждой было обозначено имя пилота.

В микрофонах слышались отдельные слова. Полет проходил благополучно. Ракеты словно уменьшались, устремляясь вниз с трехсоткилометровой высоты. Похожие издали на черные иглы, они мчались над спокойной волнистой поверхностью, все быстрее приближаясь к собственным теням, которые то проваливались между облаками, то взмывали вверх.

Я пристально вглядывался в экран и спиной чувствовал близость стоявших неподвижно, как и я, товарищей. Посредине белого облачного моря, залитого солнечным светом, открылось более темное пространство. Первая пятерка ракет неслась к нему, впереди шла управляемая по радио большая ракета. У края открывшегося пространства возвышалось кучевое облако, на солнце сверкавшее жидким серебром, в тени окрашенное в цвет размытого водой сланца. Ракеты клином врезались в него, пробили туманную гору и вырвались с другой стороны. Они понеслись дальше, все ближе сходясь со своими тенями. Я взглянул вверх; безвоздушное небо было черно и усеяно звездами. Когда я снова взглянул вниз, ведущая большая ракета уже исчезла из поля зрения, а первая стайка одноместных ракет входила в тучи. Мгновение их металлические хребты темнели над белой пеной, словно рыбы спины в горном потоке, потом тень одной из них в последний раз пробежала по плоской туче, и они исчезли.

Влед за ними низвергалась вниз очередная пятерка. Вдруг ветвистая молния пронзила тучи; в кабине рулевого управления воздух содрогнулся от единого сдавленного вздоха. Первые пять ракет вспыхнули, как метеоры. Двигатели их еще работали, но на экранах уже начали темнеть имена пилотов: БОРЕЛЬ, СЕНТ, АНТОНИАДИ, ИНГВАР, УТЕ-НЕУТ. Надписи угасали, словно свечи, задуваемые ветром, а то, что секунду назад было стремительными ракетами, несущимися живых людей, осветило клубы туч блеском раскаленного металла, словно огненная рука начертила путь пяти падающих звезд.

С момента первой вспышки до конца катастрофы прошло

не более двух секунд. Мы стояли, как громом пораженные; тишину нарушало только доносившееся из динамиков тиканье радарного сигнала с планеты. А к ней уже приближалось следующее звено ракет. Техники-связисты послали им приказ немедленно повернуть обратно, но ракеты не могли уменьшить скорость за малую долю секунды. Мы знали: прежде чем пилоты сумеют затормозить, они войдут в смертоносную зону. У центрального пульта были два астрогатора — Гротриан и Пендергаст. Их руки одновременно потянулись к дезинтегратору.

Едва заметное движение, и «Гея» выбросит каскад антипротонов, равный по силе солнечному протуберанцу; мощная лавина лучевой энергии уничтожит неведомую силу, которая погубила наших товарищей, — безотносительно к тому, что она собой представляет. Молниеносный, движущийся со скоростью света удар опередит ракеты и расчистит им путь, оставив по курсу одну пустоту. Восемьсот триллионов эргов энергии пробьют, как лист бумаги, атмосферу планеты и обрушатся на ее поверхность. От этого удара ничто не сможет защитить. Все сущее будет превращено в пламя, а энергия распада расплавит кору планеты.

Гротриан и Пендергаст одновременно протянули руки к выключателю дезинтегратора. Обе руки на секунду повисли в воздухе — астрогаторы посмотрели друг другу в глаза и замерли.

Выключатель остался в нулевой позиции. Пилоты пяти следующих ракет включили тормоза, и по огромным клубам пламени видно было, какие отчаянные усилия они прилагают, чтобы уменьшить скорость. Но одна за другой ракеты попадали в смертоносную зону и вспыхивали. Гибели избежала лишь последняя ракета этой пятерки: ее пилот нечеловеческим усилием сорвал предохранители и взмыл отвесно вверх с такой страшной быстротой, что исчез из наших глаз.

В тучах пылали четыре факела, четыре новые звезды падали вниз, и в мрачной бездне уже рассеивался огненный след их полета.

«Гея» начала медленно разворачиваться, отводить нос от диска планеты; магниты втянули сквозь кормовые люки вернувшиеся ракеты. На экране был виден ангар ракетодома; длинные носы ракет показывались из стальной глотки, а на щите автомата-распорядителя вспыхивали цифры: 17... 18... 19... После двадцатой ракеты наступил долгий перерыв. Из люков ракет, подтянутых на запасные пути, выбирались пи-

лоты и, вместо того чтобы отправиться в верхние помещения, подходили к собравшимся на ракетодроме. На автомате вспыхнула цифра 21, и кран перетащил на освободившиеся пути большую ракету, из которой не вышел никто: это была управляемая по радио ракета, несущая телевизионные «глаза». Несколько минут стояла мертвая тишина. Рычаги подъемников лежали неподвижно в гнездах, потом диск сигнального щита как бы с трудом перевернулся еще раз, на нем показалась цифра 22, и появилась последняя уцелевшая ракета. Вход в нее оставался закрытым. Механоавтоматы ухватили своими клещами запорный механизм люка в тот самый момент, когда меня вырвал из созерцания сигнал, вызывающий всех врачей на их места.

Операционный зал был залит светом. Шестеро астронавтов внесли на руках тело, плотно затянутое в резиновый кокон, и положили его на обогреваемую фарфоровую плиту.

Резцы инструментов вонзились в толстую эластичную резину. В разрезах сверкнул скафандр. Хрустнули спирали арматуры. Спустя несколько секунд мы увидели лицо Аметы.

Когда он сорвал предохранители и на страшной скорости повернул ракету, кровь, ставшая тяжелой как свинец, разрывая ткани, прилила к внутренним органам и к ногам. Он представлял собой одну трепещущую рану: уцелели лишь голова и руки — белые, без кровинки. С первого взгляда я понял, что спасти его нельзя. Можно было либо сократить, либо продлить агонию.

Мы немедленно приступили к работе. Были включены искусственные легкие и сердце, перевязаны все доступные лопнувшие сосуды, пущены в ход аппараты для переливания крови. Мы отбрасывали залитые кровью инструменты и брали новые, обмениваясь лишь отрывистыми словами. Зона поражения расширялась, шок охватывал жизненно важные органы. Речь шла уже не о спасении — это было невозможно, — а о том, чтобы привести Амету в чувство хотя бы на одну минуту, за которую он мог бы выразить свою последнюю волю.

Поршни в прозрачных шприцах доходили до дна. Возбуждающая жидкость, нагнетаемая аппаратурой искусственного кровообращения, омывала трепещущее сердце. Дрожь пронизала тело Аметы, казалось, вот-вот он откроет глаза, но только глубже стали тени вокруг них, да громче заработал пульсометр — усиливалось кислородное голодание организма.

— Он в сознании, — сказал Шрей.

Низко склонившись над умирающим, мы затаили дыхание.

По неподвижному, как маска, лицу начали пробегать судороги. Губы раскрылись, обнажив исступленно сжатые, обведенные кровавой каймой зубы. Амета был в сознании; он напрягал все силы, сдерживая готовый вырваться крик боли.

Чтобы сказать хоть что-то, сил у него уже не хватало.

Последний укол. Стеклянная ампула с тонким звоном упала на пол и разбилась. Мы были уже не в состоянии ослабить его боль. Дальнейшее применение обезболивающих препаратов ускорило бы потерю сознания. Не отводя взгляда от умирающего, Шрей сделал шаг назад. Мы с Анной последовали его примеру и, опустив окровавленные руки, стояли неподвижно, как бы показывая, что все возможное сделано.

У стены стояли несколько десятков человек. Выделялись серебристые скафандры — пилоты примчались сюда прямо с ракетодома. Зорин, который не снял шлем со скафандра, а только откинул назад, словно странное крыло, вдруг отвернулся и выбежал. Минуты две мы стояли неподвижно, тишину нарушали только хриплое дыхание, вырывавшееся из груди Аметы, и чуть слышный звон искусственного сердца. Резко распахнулась дверь, и вошел Зорин, по-прежнему в скафандре. Он нес дугобразный штурвал, вынутый из ракеты Аметы. Подошел к операционному столу, поднял сначала одну бессильно свисавшую руку Аметы, затем другую и положил его пальцы на штурвал. Затем осторожно и легко приподнял Амету и вставил его подбородок в резиновую манжету на центре штурвала.

Веки Аметы дрогнули, розовая пена выступила изо рта, послышался булькающий хриплый шепот:

— Большие ракеты... дойдут... города... видел... вы дальше... на больших ракетах... телевизоры... на больших...

Он судорожно прижал штурвал к груди; руки, как бы пытаясь направить ракету вверх, вздрогнули и успокоились навсегда.

Люди, стоявшие вокруг, стали расходиться. Я смотрел на фарфоровый угол операционного стола с засохшими брызгами крови, пустой, разрезанный скафандр, брошенный на пол, судорожно сжавшееся, чужое лицо Шрея и освещенную боковым рефлектором Лену Беренс, которая все еще чего-то ждала.

Насос продолжал работать, нагнетая кровь в мертвое тело. Я хотел выключить его и шагнул вперед, но что-то преградило мне путь. Меня остановил взгляд Зорина, слепой от страшной боли.

ЦВЕТЫ ЗЕМЛИ

Целую ночь «Гея» удалялась от планеты. В восемь часов утра репродукторы передали, что совет астрогаторов созывает экипаж на собрание.

Минут через пятнадцать большой зал наполнился людьми. Стоял низкий, глухой гул. На трибуну у стены поднялся Гер-Аконян и сказал:

— Слово имеет профессор Гообар.

Гообар, слегка наклонившись, посмотрел на нас. Наступила тишина, и зазвучал его голос:

— Я изложу гипотезу, которая должна объяснить случившееся и определить наши дальнейшие шаги. Вчерашние трагические события на первый взгляд свидетельствуют о том, что обитатели белой планеты — кровожадные существа, руководствующиеся в своих поступках непонятными людям законами. По доходившим до меня разговорам я знаю, что именно так думают многие из вас. Этот взгляд я считаю ошибочным. Мы знаем очень мало об этих существах, но не подлежит сомнению одно: они разумны. Если основываться на ошибочных интерпретациях, их действия представляются бессмысленными. К планете приближается межзвездный корабль; ракеты, которые он посылает, подвергаются уничтожению. Почему? С какой целью? Вначале я считал, что у нас слишком мало данных, чтобы восстановить ход событий, то есть действия не только наши, но и действия другой стороны. Однако дело обстоит не так. — Он помолчал несколько мгновений. — Разберем последние события. В верхних слоях атмосферы силовое поле уничтожило девять ракет. Это происходило в два этапа. Сначала погибли пять ракет первого звена, потом — четыре из второго. Ракета, которая несла телевизоры и первой прошла зону уничтожения, уцелела. Почему? — Он снова помолчал. — Все, что происходило до и после этого — неустанный контроль за нашим движением, молчание в ответ на наши обращения, точно рассчитанный способ уничтожения наших ракет, — все это заставило меня отбросить мысль о том, что первая ракета уцелела случайно. С точки зрения неизвестных существ, де-

вать ракет заслуживали уничтожения, а одна — нет... Так вот, — продолжал Гообар в мертвой тишине, — первое, что приходит в голову, — уцелевшая ракета не имела на борту людей. Можно предположить, что неизвестные существа стремились уничтожить пилотов. — Он помолчал. — Откуда, однако, они могли знать, что на борту первой ракеты не было людей? Как я слышал, шли разговоры о каких-то способах просвечивания наших ракет на большом расстоянии. Это совершенно исключено. Ракеты покрыты оболочкой, непроницаемой для космических лучей; излучение, достаточно жесткое, чтобы проникнуть сквозь оболочку, одновременно уничтожило бы ракету. Таким образом, гипотезу просвечивания ракет и вытекающий из нее вывод о «кровожадности» неизвестных существ следует все-таки отвергнуть. Возвращаемся к исходному пункту. Какая разница между девятью уничтоженными и одной уцелевшей ракетой? По конструкции, по внешнему виду, по техническим деталям они схожи. Разница лишь одна: уцелевшая ракета почти в три раза больше уничтоженных. Следовательно, события развертывались так. К планете приближается группа ракет. У неизвестных существ возникает план: малые ракеты уничтожить, большую не атаковать. Почему? Этого я не мог понять. Что знают они о нас такого, что вынуждало бы их прибегать к подобным действиям? Что знают они о нас вообще? Они знают одно: к планете приближается корабль. Они узнали об этом шесть недель назад, когда их локатор обнаружил «Гею». Но тут я впервые задумался: почему локатор поймал «Гею» именно тогда? Конечно, это снова могло быть случайностью. Но о случайности можно говорить, только когда будут исключены все цепочки следствий и причин, связанных с рассматриваемым явлением, а в данном случае такой уверенности нет. Нащупавший нас конус лучей локатора был очень узок. Об этом уже говорилось. А что будет, подумал я, если прибегнуть к математике? И задал профессору Трегубу вопрос: как широк был этот конус, когда он нас нащупал? Оказалось, что мы оба — и он и я — думаем об одном и том же. Он не только ответил на мой вопрос, но добавил, что, достигнув красного карлика, этот конус расширился бы так, что охватил бы круг диаметром в восемьдесят миллионов километров. Теперь вам понятно?.. Этот пучок лучей послан не случайно. Те, кто направил его, знали, что какой-то корабль движется в этом районе. Почему они так думали? Не подали ли мы им какой-нибудь знак, что приближаемся, — настолько мощный, что они заметили

его за миллиард километров, настолько быстрый, что он перерезал «Гею», и одновременно такой незаметный, что мы сами этого не осознали? Такой знак, такой сигнал мы им действительно послали. Это был взрыв мертвого спутника атлантидов.

В зале воцарилась страшная, напряженная тишина; слова Гообара обрушивались на людей, словно раскаленные камни.

— Я провел простой расчет, — продолжал ученый. — Взрыв четырнадцати урановых бомб сопровождался вспышкой, затмившей на доли секунды солнечное сияние. Свет от вспышки спустя три месяца достиг белой планеты и был там замечен. Я задал себе вопрос: где должен был нас встретить локаторный импульс, если предположить, что он был отправлен с планеты немедленно после обнаружения вспышки? Подсчеты говорят: он должен был встретить «Гею» на расстоянии пятнадцати световых дней от планеты. Эти подсчеты с абсолютной точностью совпадают с тем, что произошло в действительности. Такое совпадение не может быть случайным. Стало быть, мы в своих рассуждениях находимся на правильном пути. Но почему они привели в действие свои локаторы, как только увидели вспышку? Ответ напрашивается сам собой: потому, что они знали, чем она вызвана. Они знали, что в системе красного карлика движется мертвый корабль с атомным грузом и что вспышка вызвана взрывом этого груза. Безусловно, существа, достигшие такой высокой степени технического развития, контролируют всю свою систему и некогда обнаружили искусственный спутник атлантидов. Если дело обстоит так, то именно они просветили астроном атомные снаряды и узнали, что их самовоспламенение невозможно. Вспышка дала им знать, что в их систему прибыл неизвестный корабль и это он произвел взрыв, уничтоживший спутник. Чтобы проверить это предположение, они послали пучок электромагнитных лучей и, обнаружив корабль, стали этим пучком следить за его движением. Вот что я могу сказать о том, как мы известили обитателей планеты о своем прибытии. Теперь разрешите перевернуть проблему и на место неизвестного, каким в данном случае являются существа, населяющие планету, поставить людей. Предположим, что на этом закрытом облаками шаре живут люди. В один прекрасный день они узнают от своих астрономов, что в их солнечную систему прибыл неизвестный корабль. Этот корабль идет из района неба, откуда однажды уже появился другой

корабль, с мертвыми людьми и грузом атомных снарядов. Далее. Новый корабль взорвал старый. Что это за существа, думают люди, которые на пути взрывают старую колымагу, тратят силы и время, чтобы превратить в ничто гроб с окаменевшим экипажем? Это неясно, это подозрительно. За этими существами надо внимательно следить. И они посылают с локатора конус лучей, достаточно широкий, чтобы охватить почти всю систему красного карлика. Прежде чем лучи,двигающиеся со скоростью света, достигают неизвестного корабля, проходит несколько недель. Когда отраженное кораблем эхо возвращается, люди узнают, что этот корабль с огромной скоростью несется к их планете. Тогда люди — ведь мы на место неизвестных существ поставили людей — решают ждать. Наконец корабль доходит до планеты и высылает тридцать малых ракет. Вы считаете, что люди, населяющие белую планету, никогда их не видели, не правда ли? Но вспомните фотографии, доставленные с мертвого спутника атлантидов. Как атлантиды намеревались метать атомные снаряды? При помощи небольших, 4 — 5-метровых ракет. И вот в небе белой планеты появляются тридцать малых ракет, которые ведет одна большая. Не следует ли предположить, что эта большая ракета — корабль с экипажем, который должен спуститься ниже туч, высмотреть цели и обрушить на них тридцать урановых снарядов? Как поступить, чтобы избежать губительного нападения? Надо обезвредить бомбы. Как? Обитатели планеты в свое время побывали на мертвом спутнике, просветили при помощи астрона бомбы и знают их конструкцию... Чтобы вызвать преждевременный взрыв бомбы, достаточно спровоцировать детонацию порохового заряда, а его проще всего поджечь посредством сильного разогрева. Для этого надо создать соответствующее энергетическое поле в верхних слоях атмосферы... «Но, — продолжают рассуждать люди, — поступим так только с бомбами. Большой корабль с экипажем атаковать не будем. Пусть неизвестные пришельцы видят, что мы не хотим ни сражаться с ними, ни уничтожать их». И этот план они проводят в жизнь... Как видите, здесь все сходится, и с поразительной точностью. Если на место неизвестных существ поставить людей, окажется, что люди станут действовать так же, как действуют неизвестные существа. Значит, эти существа должны быть поразительно похожи на людей. Значит, уже во время первой космической экспедиции, выбрав ее целью ближайшую к нам звезду, познакомившись лишь с одной из миллиона

планетных систем Галактики, мы сразу обнаружили существа, похожие на человека? Не предполагает ли это сходство снова случайности, к тому же столь неправдоподобной, что она обращает в прах все предыдущие рассуждения? Мой ответ таков: логика человеческой мысли ощущается в поступках неизвестных существ не потому, что эта логика наиболее совершенна, а потому, что она неизбежна. Чтобы властвовать над материальными силами Вселенной, человек на протяжении тысячелетий должен был выработать именно такие методы индуктивного и дедуктивного суждения, методы, вытекающие из простых рефлексов любой живой материи. Существа, которые стали бы воздавать звездам почести вместо того, чтобы исследовать их внутреннее строение, недалеко ушли бы вперед в своем развитии... Поэтому если обитатели белой планеты создали высокоразвитую цивилизацию — а в этом нет сомнений, — то их разум должен руководствоваться законами логики, подобной нашей. Подразумевает ли это внешнее подобие? Разумеется, нет. В основе своей условные рефлексy у обезьяны, дождевого червя и акулы подобны, но трудно назвать эти существа похожими. Но как могло случиться, что мы узнали все это только теперь, а не приняли мер предосторожности, ничего не предусмотрели и с поразительным легкомыслием допустили ошибку, приведшую к столь трагическим последствиям? Я отвечаю: причина заключается в нашей трусости. Встреча с мертвым спутником была делом случая, но то, что произошло потом, не имеет ничего общего со случайностью. Не случайно, что мы с такой поспешностью уничтожили его. В основе наших действий лежало предвзятое мнение, что акт уничтожения спутника — исключительно наше, человеческое, земное дело, что никто не должен обратить на это внимания, а раз не должен, то и не обратит. Такое фальшивое, алогичное рассуждение возникло из желания отмежеваться от этого окаменевшего памятника нашего прошлого. Нам так хотелось отречься от него... За отсутствие мужества, за поспешное уничтожение спутника атлантисов нам пришлось заплатить жизнью товарищей. Мы не хотели ничего знать о тех людях, — но ведь они все-таки были людьми! Прошлое нельзя фальсифицировать. Нельзя вычеркнуть из него даже то, что нам чуждо. Мы можем выбирать из его наследства то, что нам нужно, но надо иметь мужество помнить всю историю человечества как часть истории Вселенной. Этот страшный урок важен и для нас, и для будущих поколений. Необходимо знать, что

в человеке вместе с величию разума есть ничтожность жестокости — если не проявленная, то потенциальная, и в некоторых обстоятельствах она проявляется.

В заключение скажу несколько слов об общественном строе белой планеты. Мы мало знаем о нем, но то, что знаем, — самое существенное. Локаторный сигнал, следивший за нашим движением, не прерывался, хотя планета вращается; следовательно, его посылали передатчики единой системы, опоясывающей всю планету, и по мере того, как одни скрывались за горизонтом, они передавали свои функции следующим. Локационная защита у них общепланетного типа, работает на всю планету в целом; с технической точки зрения ее обитатели объединены так же, как и мы. Объединение на основе техники, естественно, предполагает общественное объединение. Таким образом, не имея ни намерения, ни права решать вопрос о дальнейших шагах, я хотел бы выразить убеждение, что мы должны попытаться установить контакт с жителями планеты. Приведет ли эта попытка сразу к успеху, неизвестно. Мы в течение многих столетий были защищены от неизвестности, от неведомого и грозного, от битв и поражений и забыли, что цивилизация никогда бы не возникла, если бы ради нее наши предки не были готовы на все. Теперь мы, в свою очередь, стоим на пороге новой эпохи. Наступил переломный момент. Он требует от нас многого, чего никогда не требовалось на Земле, и мы должны сделать все это. Таков закон истории. Человечество не может остановиться на своем пути. Этот великий шаг должен быть сделан, а внутреннее согласие с тем, что он нам несет, мы должны почерпнуть в понимании его необходимости, которая уже для следующих поколений будет новой, высшей свободой.

Едва Гообар закончил речь, на трибуну поднялся Тер-Аконян и, поднеся к глазам лист бумаги, начал читать:

— «Совет астрогаторов — экипажу корабля.

В ближайшие годы человечество начнет трансгалактические полеты. Будущие экспедиции должны иметь промежуточные космические станции на небесных телах вблизи Солнечной системы. Положение системы Центавра делает ее естественной базой таких станций для экспедиций в направлении южного полюса Галактики, а также Магеллановых Облаков. Учитывая это, совет астрогаторов постановил:

1. Продолжать попытки контакта с белой планетой.
2. Эти попытки могут закончиться гибелью корабля. В этом случае их продолжит следующая экспедиция, но кос-

мическая станция будет построена на четверть века позднее. Этого нельзя допустить. Прежде чем «Гей» попытается установить связь с белой планетой, мы выберем из планет созвездия Центавра наиболее подходящую для постройки промежуточной космической станции. Оставленные на ней машины начнут строительство под контролем одного человека. Совет астрогаторов решает оставить на этой планете пилота и специалиста по кибернетике Зорина, поскольку он имеет всестороннее образование и значительный опыт в строительстве звездоплавательных станций».

Когда астрогатор закончил читать и посмотрел на собравшихся, я заметил, что сидевшая внизу Анна встала и вышла в боковую дверь. На трибуну поднялся Зорин. Шум, поднявшийся в амфитеатре при последних словах Тер-Аконяна, замер. По законам межпланетных сообщений, человек не может остаться на звездоплавательной станции в одиночестве — с ним должен быть хотя бы один товарищ. По обычаю, Зорин должен был указать его сам. В зале воцарилась абсолютная, напряженная тишина, словно пилот, обводя глазами море голов, совершал свой выбор именно теперь, хотя мы знали, что он уже сделал выбор и лишь ищет того, кого предназначил себе в товарищи. Вдруг сердце мое забилося. Напрасно я говорил себе, что это невозможно, что это бессмыслица: кто я для Зорина? Один из членов экипажа, человек почти чужой... другое дело, если бы это был Амета...

Сидевшие в зале встречались взглядом с пилотом и опускали головы, когда он отводил глаза; напряженное ожидание перекатывалось по залу, как волна. Вдруг пилот посмотрел на меня; его взгляд был так напряжен, что, не отдавая себе в этом отчета, я встал.

— Ты согласен? — долетел до меня словно издали голос первого астрогатора.

— Согласен, — ответил я.

По залу прошел глухой шум.

Зорин и Гообар разговаривали с астрогаторами; люди окружали трибуну. Выйдя в пустой и тихий коридор, я не чувствовал ничего — ни подъема, ни гордости, ни радости. Шел долго, но внезапно остановился: ноги сами принесли меня в фойе филармонии. Я оказался перед скульптурой работы Соледад — белой фигурой юноши, шагающего по дороге. Позади было восемь лет — и каких лет! Время, которое отсчитывали часы, текло на «Гее» медленнее, чем время, от-

меряемое событиями. Насколько старше я стал теперь, чем в момент отлета! А этот белый юноша совсем не изменился: он по-прежнему всматривался в будущее. Я окинул взглядом скульптуру и подошел к ней, прощаясь. Сердце сжалось: я подумал об Анне. Куда она могла пойти? Я огляделся и ускорил шаг.

Ближайший лифт привез меня в парк. Анну я увидел издали: она сидела в траве, густо поросшей незабудками; их очень любил Амета. Он неохотно ставил цветы в вазы. «Если хочешь быть с цветами, — говорил он, — ступай к ним». В наклоне головы Анны было что-то, заставившее меня замедлить шаг. Она прикасалась к цветам ладонями, как незрячая. Я остановился позади нее.

— Это ты... — негромко проговорила она.

Я встал на колени рядом с ней. Издалека это, наверное, выглядело смешным: два взрослых человека стояли на коленях в траве, как дети.

Я хотел прервать молчание и не мог. Поцеловал ее маленькую ладонь, ощущая под пальцами небольшие мозоли в местах, которые часто соприкасались с инструментами.

— Ты был на собрании до конца? — спросила она.

— Да.

— Зорин?

— Да.

— И ты?

— Да...

Она умолкла.

— Ты это услышала дома? — спросил я.

— Нет.

— Как же ты узнала?

Она подняла голову.

— Я так думала... А ты не думал?

— Нет, — сказал я, удивленный.

Она улыбнулась.

— Ты всегда догадываешься последним...

С ее лицом творилось что-то неладное: я видел, что она старалась улыбнуться, потом вдруг отвернулась. А когда снова взглянула на меня, была уже совершенно спокойной. Больше мы не говорили ни о чем.

Ночью я проснулся и сразу все вспомнил. Светил синий ночник, и сквозь стекло абажура на подушку падало несколько мелких голубых пятен, похожих на лепестки незабудок. Анна лежала на спине, закинув голову; густые темные волосы оттеняли лицо. Сухими, немигающими глазами

она всматривалась в одну точку на потолке. Я закрыл глаза, но уже не мог заснуть. Вдруг она сказала:

— Ты вернешься?

Я приподнялся.

— Любимая...

Поцеловал ее и почувствовал, что она уже далека от меня.

— Вернусь, конечно же, вернусь — вообще-то, это не только я отдаляюсь от тебя... мы оба разлетаемся в разные стороны... А ты вернешься? — Я пытался улыбаться и говорить весело, но Анна осталась серьезной.

— Да, — ответила она, — конечно, вернусь.

— Вот и хорошо.

Она посмотрела на меня.

— Знаешь, я не могу поверить, что было такое время, когда я тебя не знала... Это чувство так велико, что у него нет начала... и я не могу себе представить, что может быть...

Она не договорила. Я не спрашивал ни о чем. Мои объятия становились все теснее. Она вздохнула и тихонько, в самое ухо, шепнула:

— И все же они были очень счастливые...

— Кто, любимая?

— Люди, жившие давно.

— Ты так думаешь?

— Да. Они верили в вечность...

Три месяца «Гей» двигалась в системе Центавра. Подплывающие к нам планеты сначала походили на искры, потом вырастали в светила и заслоняли собой небо. Пилоты цепочкой серебряных фигур спускались с галереи и исчезали в люках ракет.

Сколько раз повторялись эти сцены расставания и возвращения — крепкие рукопожатия, грохот включенных двигателей, удар невидимого колокола стартовой катапульты, тишина после отлета, когда оставшимся трудно смотреть в глаза друг другу, губы, которые шевелятся беззвучно, пересчитывая вернувшиеся из полета ракеты — почерневшие от жара, охватывавшего их при столкновении с густой атмосферой встречных планет.

С Зориным я виделся в те дни редко. Он вместе с другими конструкторами работал над проектом космической станции; первоначальный набросок проекта был сделан год назад, и теперь весь коллектив Тембхары корпел над детальной технической разработкой. Зная, как опасно для ума

безделье, и желая быть не только товарищем, но и помощником Зорина, я целыми днями штудировал работы по радиотехнике и восстанавливал знания по кибернетике, полученные еще в юношеские годы. Я не отрывался от трионов, даже когда мы описывали круг около очередной планеты, ни разу не спускался на них, но друзья Аметы не забывали обо мне. Уль Вефа первый принес и молча высыпал на мой стол груды искрящихся разноцветным огнем вулканических минералов с планеты, которую ему выдалось посетить. Теупане привез осколок лавы с окаменевшим трехпалым оттиском. Экспонатов этой единственной в мире коллекции набиралось все больше — знак успеха нашего путешествия.

Мы не послали ракеты на две планеты: одна была совершенно пустынной, высокая температура другой не позволяла людям даже на короткое время задержаться на ее поверхности. Однако снимки, полученные сквозь слои горячих облаков, обнаружили на ней непонятное движение. Из высланных в разведку огнеупорных автоматов вернулось меньше половины. Их сообщения были неясны: нельзя было понять, являлись ли большие членистоногие создания, ползавшие по остывающим вулканическим скалам, машинами, уцелевшими после какой-то катастрофы, или небелковыми формами жизни. Напрасно астробиологи настаивали на точных исследованиях — все было отложено на будущее время, и «Гея» направилась дальше.

Мимо очередной планеты мы прошли ночью, на небольшом расстоянии. Корабль наполнился тонким, проникающим в самые дальние уголки свистом холодильных установок, в которых циркулировал жидкий гелий. В черном звездном небе, подобно бурой прорехе, зиял серп планеты. Телескопы показывали поверхность, покрытую областями трещин, похожих на черных пауков; планета переживала период горообразования, сквозь огромные разломы ее коры вырывались реки тускло пылающей лавы.

Систему солнца А замыкали остывшие планеты типа Нептуна. Удалившись на миллиард километров от их орбит, мы попали в сферу солнца Б. Зона его притяжения была свободна от планет. Разбросанные на огромном пространстве, здесь кружили только большие и малые астероиды — остатки планеты, распавшейся тысячи веков назад. По решению совета астрогаторов промежуточную трансгалактическую станцию собирались создать на одном из этих лишенных атмосферы каменных осколков. В пространстве носились сотни таких тел, поэтому возможность выбора была большой. Но

избранный планетоид должен был отвечать многим требованиям. Его орбита должна была как можно больше приближаться к кругу, чтобы он не слишком далеко удалялся от солнца и не слишком близко подходил к нему. Она не должна была пересекать орбиты других тел, чтобы не подвергаться опасности серьезных столкновений; должна проходить вдали от больших метеоритных потоков, встречающихся на периферии «мусорной свалки двойной системы».

Поиски места для трансгалактической станции продолжались месяц. Обсерватории работали день и ночь. Телетакторы и радароскопы неустанно обследовали пространство. В результате этой «охоты» выбор астрогаторов пал на астероид диаметром около четырехсот километров, обладающий вследствие этого силой тяготения — хотя и незначительной, но достаточной для того, чтобы человек мог передвигаться по нему без опасения улететь в пространство.

По мере того как мы приближались к астероиду, этот осколок, казалось, начинал подмигивать нам острым, кошачьим глазом: он или очень быстро вращался вокруг оси, или был очень неправильной формы. Свсими вытянутыми очертаниями он напоминал скорее висящий во мраке горный хребет, чем планету. «Гея» летала вокруг него две недели. Тектонисты подтвердили, что плотность скалы достаточна и обеспечивает ее устойчивость на ближайшие тысячелетия; тогда без промедления началась переброска на поверхность астероида машин, строительных материалов и запасов продовольствия.

Автоматы-строители быстро вгрызлись в скалу и вырыли в ней два круглых котлована. В одном поместилась сферическая бронекамера, снабженная резервуарами для воздуха, в другом — атомный агрегат, который должен был снабжать нас электроэнергией и теплом.

День за днем грузовые ракеты перевозили на астероид сырье и части сборной конструкции, из нее предстояло построить передатчик и локаторную установку будущей станции; груз складывали прямо между скалами.

Мы коротко и просто попрощались с товарищами и сказали близким слова, которые говорят перед недолгой разлукой. Когда мы с Зориным, одетые в скафандры с откинутыми назад шлемами, спускались на первый путь, где стояла готовая к старту ракета, из-за колонны выбежала девочка и, держа в обеих руках огромный букет белой сирени, остановилась перед нами. Мы остолбенели, а девочка — маленькая, лет четырех, с косичкой, похожей на мышиный хво-

стик, и густым румянцем на щеках с трудом подняла букет и вручила его Зорину.

— На, — сказала она, — а когда вернешься, будешь опять рассказывать сказки?

— Конечно, буду, — ответил Зорин. — Тебя как зовут

— Магда.

— Кто дал тебе эти цветы?

— Никто, я сама взяла!

Она облегченно вздохнула, довольная, что все так хорошо удалось, и со всех ног пустилась бежать, заметив приближающихся астрогаторов.

Тер-Аконян, Пендергаст и Ирьола, уже не говоря ни слова, пожали нам руки. Зорин первым протиснулся в узкое входное отверстие ракеты и протянул руку; я осторожно подал ему букет и тоже опустил ноги в отверстие люка. Забравшись туда по пояс, я увидел женщину, стоявшую на балконе второго яруса. Это была Калларла. И тогда я на мгновение замер, догадавшись о том, чего никто до сих пор не знал: Калларла ждала ребенка. Ее фигура сохраняла девичьи очертания, но я угадал это по какому-то ее жесту по глазам, по выражению лица — она словно прислушивалась не к тому, что окружало ее, а к собственному телу, внутри которого ощущались первые движения нового человека.

МАГЕЛЛАНОВЫ ОБЛАКА

Букет сирени стоял на окне в стеклянной колбе. Сидя за столом, я видел, как автоматы бурили в скале десятки отверстий, образующих концентрические круги. Потом они закладывали взрывные заряды и удалялись. Взрыва не было слышно. Скала, рассекаемая огнем, вставала дыбом, выбрасывая ввысь дым и камни. В безвоздушном пространстве дым оседал как металлические опилки. Почва дрожала, ветки сирени роняли мелкие крестообразные цветы. Автоматы выбирались из-за укрытий, спускались в воронку, укладывали слоями металлические бруссы. Затем в поле зрения появлялся еще один автомат. Он выдвигал головку на длинном рычаге и вращал ею, до смешного похожий на металлического жирафа, который вертит головой в поисках листьев. Вспыхивал сине-стальной свет. Расплавленный атомным излучением, металл равномерно растекался по поверхности воронки и застывал. Одни автоматы ходили по его шероховатой поверхности и полировали ее, пока она не начинала

сверкать живым серебром. Другие закладывали в стороне новые заряды, рыли котлованы под мачту антенны. Почва чуть заметно дрожала. Все больше белых цветов опадало с веток.

На пятый день Зорин сказал:

— Жаль, что у нас нет печи... такой, как были когда-то, в которой горел обыкновенный огонь, понимаешь? Мы сожгли бы ветки. Ты помнишь запах дыма от очага?

— Помню.

Когда в полдень, надев скафандр, он выходил во второй раз, чтобы проверить, как продвигается работа, то взял ветки с собой. Через час он вернулся. Ветки были заткнуты за пояс. Я это заметил, но ничего не сказал.

Он перехватил мой взгляд.

— Я не мог их оставить, — объяснил он. — Тут сплошной камень. Если бы было хоть немного земли...

— Хорошо, что ты принес их, — сказал я. — У сирени такая мягкая сердцевина, она легко строгаются; в детстве я часто этим развлекался.

Ветки вернулись в пустой сосуд и остались в нем. До конца.

Автоматы работали круглые сутки. День или ночь — для них было все равно. А для нас — нет. Трудно было привыкнуть к новому чередованию периодов сна и бодрствования. Астероид вращался так быстро, что через каждые три часа подставлял нашу скалистую равнину под яркие лучи солнца. В течение трех часов ночи обычно светило солнце А, находившееся в двадцати пяти астрономических единицах от астероида и сиявшее гораздо ярче, чем Луна в полнолуние. Днем скалы становились похожи на глыбы раскаленного металла, ночью флуоресцировали сильным, холодным как лед блеском. Скорость вращения астероида была так велика, что, глядя в окно, можно было заметить, как удлиняются и растут черные, всепоглощающие тени. Когда тень покрывала часть какого-нибудь автомата, казалось, будто его перерубили пополам: детали, оказавшиеся в тени, будто переставали существовать.

Каждый вечер в миниатюрном мезонине нашего «дома» мы садились за приемники и внимательно прислушивались к глухому шуму в динамиках. Вдруг в хаосе звуков, похожих на темные волны, появлялись веселые звуки позывных «Геи». Установив мачты передатчика, мы ежевечерне держали телевизионную связь с кораблем. Мы видели товарищей, обменивались информацией, рассказывали, как про-

двигается работа; иногда Зорин просил помочь ему в расчетах.

«Гея» летела прямо к белой планете; от цели корабль отделили еще две недели пути. За это время мы хотели закончить основные работы по закладке фундамента большого атомного агрегата — взамен нашего временного.

Едва на астероиде рассветало, мы вставали, обходили места работ, разбросанные на площади в несколько квадратных километров, а потом, не заходя в бронекамеру (мы говорили «домой»), отправлялись на прогулку, ежедневно меняя маршрут; так мы ознакомились с окружающей местностью в радиусе десятков километров.

Приютившая нас скала была скорее карикатурой на планету, чем планетой в миниатюре. У нее были уродливые очертания: я вспомнил, что издали она напоминала плавающий в межзвездном пространстве выветрившийся горный хребет. Во время прогулок горизонт перед нами то расширялся на несколько километров, то внезапно сужался. На северо-востоке, в тридцати километрах от «дома», плоская равнина заканчивалась обрывом, за которым до самого горизонта тянулась странная чаща — застывший каменный лес. Это не было творением естественной эрозии — воздействия воды, ветра и силы тяжести. Это просто был какой-то паноптикум чудовищных, невообразимых форм — окаменевшие булавы и огромные зубчатые осколки, скопища вертикальных каменных столбов, ожидающих лишь неосторожного движения, чтобы медленно и лениво, как в ночном кошмаре, начать валиться вбок. С выступа, возвышавшегося над окружающей местностью, нашим взорам предстали бесчисленные острые остовы — целый лес, простиравшийся под звездным небом и контрастировавший с ним неожиданным белым блеском. Над этим мертвым пейзажем всегда одинаково двигалось солнце. В зависимости от того, находились ли мы в зоне, освещенной солнцем, где почва нагревалась до ста градусов, или попадали в тень, автоматические климатизаторы скафандра неустанно переключались из одного крайнего положения в другое.

Зорин несколько напоминал своим поведением климат астероида: он то часами молчал, то произносил длинные монологи. Постороннему наша совместная жизнь могла показаться не очень приятной, но это была бы ошибка. Зорин был любезен и разговорчив только с чужими; со мной он вел себя точно так, как раньше с Аметой. Его манера внезапно замолкать и задумываться, как бы впадая в летаргический сон, что-то проворчать в ответ, бросив полслова, радовала

меня. Хотя мы никогда не говорили об Амете, даже не проносили его имени, он удивительным образом ощутимо был с нами; когда на прогулке мы открывали местечко, еще более фантастическое, чем другие, мне часто хотелось оглянуться, чтобы посмотреть, разделяет ли маленький пилот наши ощущения.

Дней через десять после прибытия на астероид мы сидели на скалистой вершине. Одно солнце, окруженное яркими космами протуберанцев, висело на западе; второе — солнце А — приближалось к нему, как маленький ослепительный диск. Мы вышли наружу, потому что хотели увидеть вычитанное заранее затмение одного солнца другим. Когда маленький диск почти прикоснулся к большому, оба выбросили друг к другу огненные щупальца, которые сразу слились воедино; образовалось странное грушевидное тело, испускающее яркий стальной блеск; потом меньшая, продолговатая часть груши — солнце А — начала медленно скрываться за большой. Сила света не менялась.

Мы долго сидели молча, наконец я попросил Зорина:

— Расскажи какую-нибудь сказку.

Мне показалось, что он не расслышал. Но, промолчав довольно долго, ответил:

— Я расскажу тебе не сказку, а о сказках. Слышал ты когда-нибудь о серных гигантах?

— Что-то не припоминаю.

— Ты не мог не слышать. Лет двести назад начали строить первые автоматические ракеты. Они были очень велики — масса до сорока тысяч тонн. В расчетах была какая-то ошибка, и эти уроды роковым образом нагревались до нескольких сот градусов. Их перестали строить, а несколько десятков готовых ракет направили на линию Титан — Земля. Они должны были перевозить серу. Уже во время первого рейса несколько ракет взорвались. Прессованная сера превращалась в газ и разрывала ракету, как детский шарик. Эти ракеты доставили много хлопот: возвращать их на Землю было рискованно, посылать к ним людей — нельзя, автоматы тоже было жаль — такая дрянь каждую минуту может взорваться. В конце концов повернули всю эскадру по радио в противоположную сторону: пусть себе летят за пределы нашей системы, всю Вселенную серой не загадят. Прошел год, ракеты перестали отвечать на радиосигналы, и работники звездоплавательных станций вздохнули спокойно. Но через тридцать лет — бах! — первая катастрофа, связанная с серным загрязнением, за ней вторая.

Оказалось, что эти проклятые ракеты вовсе не улетели от Земли навсегда. Они попали в сферу притяжения Юпитера, который, конечно, раскрутил их по-своему, заставив летать по каким-то кометным орбитам. С того времени они обращаются так: на несколько лет удаляются от Солнца, болтаются в афелии и опять возвращаются. Когда они залегают далеко от Солнца, сера на холоде остается твердой. Когда возвращаются, уже где-то около орбиты Марса начинают нагреваться, а на траверсе Земли лопаются, как мыльные пузыри. Представляешь себе? Двадцать тысяч тонн серы превращаются в сжатый газ. Ракета взрывается, возникает газовая туча диаметром около ста тысяч километров, которая рассеивается через несколько недель. Но если недалеко проходит какой-нибудь астероид, он увлекает такую тучу и тянет ее за собой целыми месяцами.

Возникает сферическая масса серного тумана или, вернее, пыли, потому что газ в пустоте кристаллизуется: снаружи что-то похожее на пушистую оболочку, а внутри — твердое каменное ядро. Туман этот обнаружить в пространстве крайне трудно: летишь и, когда его заметишь, уже сидишь у него в середине, как в кастрюле. Свет не проходит, луч локатора увязает, как в тесте, ничего не видно — ни звезд, ни сигналов, — никакой ориентировки, того и гляди врежешься в астероид, ставший ядром. Надо сразу выключать двигатели и при помощи гравиметров искать астероид, поворачивать прочь от него, врубать максимальное ускорение и удирать. Это, конечно, легко сказать, а когда влезешь в такой суп, невольно теряешь голову. Хуже всего, однако, с автоматами: подумай сам, на планетах нет и не может быть естественных «серных атмосфер», так что ни один пилот-автомат не приспособлен к таким чудесам.

Короче говоря, с Марса на Землю возвращались из экскурсии тридцать детей. Их ракета попала в такой вот серный туман, окружающий астероид, который, впрочем — и это очень важно, — был невелик: диаметром не больше двадцати километров. Пилот-автомат сначала попытался маневрировать, а под конец предпринял единственно правильный шаг: выключил двигатели. Этим он избежал катастрофы; притягиваемая астероидом ракета начала снижаться, но, понятно, крайне медленно — такое «падение» может длиться целые недели. Дети отправились с Марса одни: учительница должна была присоединиться к ним на первой звездоплавательной станции.

— Как, а предупредительные сигналы? — спросил я.

— Не знаю, как это произошло. Предупредительные сигналы, вероятно, были, но не очень четкие. Такое случается — теперь реже, чем раньше, но бывает. Это был как раз такой случай — «один на сто тысяч». Так вот, когда локаторная связь стала барахлить, пилот-автомат выключил двигатели. Трудно описать, что происходило в это время. Тревога подняла на ноги все Северное полушарие; спасательные ракеты устремились к месту возможной аварии с Луны, Марса, Земли — около шестисот ракет. Достаточно сказать, что впервые за тридцать лет во второй зоне Марса на несколько часов прекратилось все грузовое движение.

Но прежде чем спасательные ракеты прибыли на место, там уже оказался один человек. Это был пилот Института скоростных полетов, он испытывал ракету, рассчитанную на очень высокие скорости. Горючее у него было на исходе, и он уже возвращался на базу, как вдруг услышал радиосигнал. Пилот изменил курс, а так как его ракета развивала громадную скорость, то уже через четверть часа она оказалась в тумане. Некоторое время он кружил, пока наконец не услышал детский плач. Конечно, по радио из ракеты. Радио работало на очень длинных волнах, и он не мог с точностью определить направление, зато мог разговаривать с детьми. Он немедленно выключил двигатели и, в свою очередь, начал снижаться к астероиду.

— А почему он не стал искать ракету?

— Гм! А ты не пробовал искать в океане утонувшую иглу? Туман охватывал пространство в двести миллиардов кубических километров, он мог бы искать всю жизнь и не найти. А снижаясь, он приблизился бы к ней на пятнадцать — двадцать километров, потому что, повторяю, астероид был маленький. Так он снижался с выключенными двигателями и разговаривал с детьми. У них было всего вдоволь: продовольствия, воздуха, воды, но они боялись, и он до самой ночи рассказывал им сказки. Когда они уснули, он остался бодрствовать, а рано утром снова начал рассказывать. Испытательный полет продолжается обычно часа два. У пилота было с собой лишь несколько укрепляющих таблеток и немного кофе, которым он время от времени смачивал горло, чтобы не потерять голос. Представляешь себе? Это была не обычная ракета, а машина Института скоростных полетов; пилот лежал в пневматическом гамаке, весь с головы до ног запертый специальными бинтами, в темноте, с микрофоном, прижатым к шее, и рассказывал сказки. Первые спасательные ракеты прилетели только на следующий

день, но прошло еще несколько часов, пока они нашли его и детей.

— Этот пилот был ты?

— Нет, Амета.

— Амета?

— Да.

— И он тебе рассказывал про это? — недоверчиво спросил я; это было так не похоже на Амету.

— Нет.

— А откуда ты знаешь все подробности?

— Пора идти, солнце заходит. Надо еще пройтись по шестому участку. Откуда я знаю эту историю? Да я сам был одним из этих детей...

Когда мы проверили, как подвигается работа, и возвращались в наш бронированный «дом», над горизонтом возвышался лишь краешек солнечного диска, похожий на гребешок извивающихся лучей. Все пространство покрыл беспросветный, непроницаемый мрак, и мы шли, погрузившись в него сначала по колено, потом по пояс и, наконец, по шею... Только самые высокие вершины скал сияли над морем тьмы, которая гасила их одну за другой. Зорин, молчавший всю дорогу, остановился у входа и неожиданно сказал:

— Нашлись люди, которые говорили, что он поступил безрассудно и неосторожно. Он им ответил: «В океане в известковых раковинах живут крохотные создания — радиоярии; за семьсот миллионов лет они совершенно не изменились. Это — самые осторожные создания на свете».

Подсчеты, необходимые при строительстве, для нас делал электронный мозг. Вечером Зорин садился за стол и начинал с ним разговаривать. Электронный мозг был небольшой, узко специализированный и, естественно, не мог равняться с мощными главными автоматами «Геи». Зорину часто приходилось дожидаться, пока автомат выполнит задание, и он прозвал машину «Дурнем». Эта кличка со временем приобрела ласкательный оттенок. Несколько вечеров подряд Зорин, занятый контролем над строительными работами, не проверял данных астролокаторной разведки, сообщавшей обо всем, что происходит вокруг осколка скалы, на котором мы летели в пустоте. Когда он наконец взялся за них, то сразу помрачнел и передал Дурню ряд цифр. Тот, как обычно, затянул анализ, и, не дождавшись ответа, мы ушли спать. Ночью Зорин встал и подошел к автомату. Вернулся и принялся свистеть; это было знаком очень плохого настро-

ения. Я не спрашивал ничего, помня, что у него каждая мысль должна улежаться.

— Знаешь, — сказал он наконец, — кажется, мы попадем в кашу.

На языке пилотов «каша» означает метеоритный поток. Это сообщение меня не очень взволновало.

— Ну и что ж? — возразил я. — Ведь и наш дом, и атомный агрегат, и ангар автоматов рассчитаны с достаточным запасом прочности; как-нибудь переживем несколько часов. Но странно, неужели астрогаторы ошиблись?..

Зорин ничего не ответил и только перед самым уходом (это было уже на рассвете) обронил:

— Это не обычные метеориты, понимаешь? Они из другой системы...

Зорин пошел к автоматам, работавшим на отдаленных участках, и у меня оставался добрый час, чтобы поразмыслить над тем, что он сказал. Как известно, метеориты, падающие на планеты, бывают двух типов: одни возникают в той же системе, движутся по замкнутым кривым, и скорость их по отношению к нашей маленькой планете не может превысить нескольких километров в секунду. «Чужие» же метеориты, рои каменных и железных скал, мчащихся по параболам, могут по отношению к телам другой системы развивать огромные скорости, доходящие до ста километров в секунду. Кажется, наш локатор уловил отражение именно такого потока.

Два дня мы не вспоминали об этом, только Зорин по ночам все позже засиживался над пленками радароскопов и все чаще поглаживал волосы — с таким усердием, будто хотел снять с себя скальп. Мы предприняли некоторые меры предосторожности: автоматы оборудовали дополнительными щитами наше помещение и крышу атомного агрегата, который находился в полукилометре от «дома» и представлял собой металлический цилиндр, на три четверти углубленный в скалу.

Предположение Зорина превращалось в уверенность. Фотопластинки уловили на одном участке неба крохотное туманное пятнышко, будто кто-то запачкал снимок; там двигалась туча тел, ее составные элементы нельзя было различить, и она казалась единым целым. Но сквозь нее просвечивали звезды; значит, это было не единое тело, а рой мелких обломков.

— Может, это пылевая туча? — сказал Зорин, когда мы обсуждали, сообщить ли на «Гею» о наших опасениях.

Мы решили, что сообщать не стоит, поскольку товарищи помочь нам не смогут, только будут без толку волноваться. Весь следующий день работа шла как обычно; закладка котлована под второй агрегат приближалась к концу, ангар автоматов был прикрыт дополнительной броней. Мы не могли защитить лишь мачту радиостанции, которая поднималась на 45 метров над уровнем равнины и удерживалась системой стальных канатов, растянутых якорями.

Ночью меня разбудил гром, такой сильный, словно над головой ударили в набат. Оглушенный, я еще мгновение лежал, прислушиваясь к затихающему пронзительному звуку. Кровать дергалась, словно ее трясли. Я сел, опустил ноги и босыми ступнями ощутил мелкую дрожь в полу. Спросонок у меня мелькнула мысль, что наш астероид — пробудившееся живое чудовище, что его каменная кожа начинает шевелиться. Почва заколыхалась еще сильнее. Я проснулся окончательно.

— Слышишь? — спросил я в темноту.

Ответа не было, но я знал, что Зорин не спит.

Через четверть часа взошло солнце и ярко осветило окрестность. Сколько хватал глаз, было видно, как скалистая равнина взрывается одновременно в десятках мест. Не было слышно ни звука, только белые каменные брызги взлетали то ближе, то дальше, да время от времени почва колебалась, словно палуба корабля, сражающегося с бурей. Метеориты, невидимые во время полета, иногда отскакивали от скал, демонстрируя в головокружительном вращении свои бока. Мы молчали, а за окнами по-прежнему падал каменный дождь. Скалы дымились, песчаные фонтаны взлетали и опадали, иногда отзывались тонким звоном осколки, ударявшиеся о наши стены; и вновь наступала тишина, которую внезапно прерывал металлический грохот, будто взрывался и валился на голову потолок: шальной камень попадал в верхнее покрытие бронекамеры.

Через три часа солнце зашло. Метеориты продолжали падать, однако реже и слабее, поскольку теперь сама планета прикрывала нас от главного потока.

Мы еще не знали направления этого потока и как далеко он простирается. Приходилось ждать. Наступил день, и почва опять заколебалась. Нам пришлось вновь испытать мощные удары, блиндаж отражал их, издавая тяжкий звук; казалось, стальные стены прогибаются и пружинят под этими бесчисленными ужасными ударами. На следующую ночь каменный град хотя и ослабел, но сделался таким частым, что

нечего было и думать, чтобы выйти из бронекамеры, — и это было только еще начало.

День за днем и ночь за ночью в кошмарном сиянии раскаленных солнцем скал и в ледовом мраке ночи, расцвеченной далекими звездами, бушевал камнепад. Под его ударами почва дрожала, как живое существо, стены тряслись, лихорадочная дрожь расплзалась по предметам, пронизывала наши тела; в глухой тишине, время от времени взрываемой протяжным грохотом, уплывали часы. Мы были в заключении. Небо извергало из своей черной пасти целые лавины каменных обломков и колотило ими по поверхности астероида.

Связь с атомным складом и ангаром автоматов пока не была нарушена. Когда на следующую ночь бомбардировка ослабела, мы вызвали автоматы и приказали приступить к работе. Они вышли, но приблизительно через час один из них рухнул, разбитый прямым попаданием; его панцирь разлетелся, как стеклянный. Другие заколебались, прервали работу и вернулись в ангар: начали действовать предохранительные устройства. Утром мы увидели разбитый автомат: он лежал на расстоянии трехсот с лишним метров от бронекамеры, вдавленный в песок черной каменной глыбой.

Мы рассчитывали, что астероид вот-вот выйдет из потока и адский обстрел прекратится, поэтому ни о чем не сообщили нашим товарищам.

Радиостанция размещалась на верхнем этаже бронекамеры, и сквозь иллюминатор в центре купола обычно было видно черное небо. Теперь автоматическое устройство закрыло его стальной крышкой. Здесь, наверху, мы беседовали с товарищами. Связь держали ночью, когда метеоритов было меньше; прямых попаданий в камеру в это время не случилось, и нам удавалось скрыть от «Геи» происходящее. Мы молчали главным образом потому, что «Гее» оставалось всего пять дней пути до белой планеты и внимание товарищей сосредоточилось на подготовке к контакту с ее обитателями. Разговаривая с друзьями, спрашивая о ближайших планах экспедиции, мы слышали легкий, ни на мгновение не прекращавшийся шорох — космическая пыль сползала с покато́й поверхности крыши и все более толстым слоем обкладывала стены; наш бронированный «дом» был наполовину засыпан этим звездным песком.

На следующий вечер радиоприем сильно ухудшился. После беседы с «Геей» мы обнаружили, что главный рефлектор антенны сбит с места и в нескольких местах продырявлен.

— Работа стоит уже три дня, — заметил я, — а теперь нам грозит потеря связи.

— Автоматы починят антснну.

— Ты уверен, что они пойдут?

— Да.

Зорин подошел к пульту управления и по радио вызвал автоматы. Стояла ночь, метеориты падали режс. Он послушал и выключил микрофон.

— Идут? — спросил я.

Он стоял посреди кабины, широко расставив ноги, прищурившись, как борсц, наблюдающий за противником, и молчал.

— Что будем делать? — спросил я наконец.

— Будем думать. А пока — споем.

Мы псли почти час. То он, то я вспоминали новые песни. Мимоходом он заметил:

— Предохранительное устройство можно выключить, понимаешь?

— Да, только не на расстоянии, — возразил я.

Мы снова запсли. По врсменам Зорин прислушивался. Наконец встал и огляделся в поисках скафандра.

— Ты хочешь идти туда?

Он молча кивнул и стал нятягивать серебристый скафандр. Подтянул его кверху за воротник и проворчал:

— Хорошо, что в нас нет предохранителей...

— Подождем немного... — начал я, понимая, что не в силах помешать сму.

— Нет. Работа могла бы подождать, но надо починить антенну. — Он говорил тихо, но за этим спокойствием скрывалось волнение. Проверил застешки на плечах, поднял с пола шлем, взял его под мышку и направился к двери.

«А я словно бы и не существую», — пронсслось у меня в голове. Ощущение растерянности и беспомощности исчезло. Меня охватило холоднос бешенство. «Я, пожалуй, малость похож на него», — подумал я, торопливо надевая скафандр. Когда я, застегивая рсмни, вышел в шлюз, он стоял у двери. Услышал мои шаги и обсрнулся, не снимая руки с затвора. Я сделал вид, что не замечаю этого, плотно закрыл внутреннюю дверь и подошел к нему вплотную.

Так мы и стояли в слабом свете лампы — две серебристые фигуры на фоне темных стен.

— Что это значит? — спросил он наконец.

— Я иду с тобой.

— Это бессмысленно.

— Я так не считаю.

— Послушай, что ты делаешь?

— А что ты делаешь?

Он постоял, не шевелясь, и вдруг рассмеялся по-своему, почти беззвучно. Взял меня за руку; я упирался, предчувствуя, что он начнет меня разубеждать.

— Послушай. — Он понизил голос. — Ты помнишь, зачем нас высадили здесь?

— Помню.

— «Гей» может и не вернуться.

— Я знаю.

— Кто-то должен остаться и построить станцию.

— Согласен, но почему идти должен ты, а не я?

— Потому что я лучше тебя справлюсь с этим делом.

На это я не мог ничего возразить. Он снова повернулся ко мне.

— Ты пойдешь, — сказал он, — если мне не удастся. Хорошо?

— Хорошо, — ответил я, пораженный простотой этого разговора, и добавил: — Я буду держать с тобой связь.

Он молча повернул рычаги. Раздалось шипение воздуха, всасываемого внутрь камеры; стрелка манометра лениво приблизилась к крайней черте, несколько раз качнулась около нее и остановилась у края шкалы. Зорин толкнул большие рычаги выходной двери. Она не открылась. Он буркнул что-то и нажал сильнее. Я помог ему. Дверь медленно поддалась. Через щель к нашим ногам хлынул сыпучий песок. Струя все увеличивалась. Наконец дверь открылась. У выхода образовалась глубокая воронка. Бронекамеру окружали высокие песчаные холмы. Равнина, залитая холодным светом далекого солнца А Центавра, была мертва и тиха; она была похожа на потрескавшуюся мозаику, выложенную из угля и серебра. Зорин слегка приподнял правую руку, сказал «пока» и исчез из глаз так быстро, что я не успел рассмотреть, в каком направлении он двинулся. Я выглянул в открытую дверь и только теперь увидел его: он был уже в нескольких десятках метров; шел, утопая в песке почти до колен, и при каждом шаге сыпучий песок как бы окатывал его ноги. Я огляделся, пытаюсь увидеть вдали сводчатую крышу атомного агрегата, рядом с которым помещался ангар автоматов, и вздрогнул. В темноте сверкнула короткая вспышка, за ней — послабее — другая, третья, четвертая. Метеориты. Энергия удара воспламеняла их. Я стоял неподвижно, горизонт сверкал. Зорин был уже таким

маленьким, что я мог бы закрыть его фигуру вытянутым пальцем.

— Как ты там? — спросил я в микрофон, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Как в сиропе, — сейчас же ответил он.

Я умолк. Вспышки появлялись то здесь, то там, — казалось, какие-то невидимые существа подают друг другу световые сигналы. Вдруг я сообразил, что стою под открытым небом. Это было бессмысленно: если уж подвергаться опасности, надо было идти с Зориным. Я вошел в шлюз и потерял его из виду. Подняв руку, оперся о притолоку: так можно было следить за циферблатом и смотреть на горизонт через полуоткрытую дверь. Вспышки продолжались. Секундная стрелка передвигалась по циферблату, как обессилившее насекомое. Я ждал. «Еще три минуты», — подсчитал я в уме и громко спросил:

— Идешь?

— Иду.

Эти вопросы и ответы повторялись. Вдруг я увидел вдали две вспышки и услышал слабый стон.

— Зорин!

— Ничего, ничего, — ответил он сдавленным голосом.

Я вздохнул облегченно: метеорит не попал в него, иначе он погиб бы на месте. «Идешь?» — хотел спросить я, но дыхание перехватило. В наушниках слышался страшный треск.

— Пусты же... — невнятно бормотал Зорин, — зачем ты держишь? Ну...

— С кем ты говоришь? — спросил я, чувствуя, что волосы у меня поднимаются дыбом.

Он не отвечал. Было слышно его срывающееся дыхание, будто он силился поднять что-то. Одним прыжком я выскочил наружу. Равнина, залитая холодным светом, была мертва и пуста. Я сообразил, что Зорин находится где-то в трехстах пятидесяти — четырехстах метрах, но видел только зубчатые скалы, холмы, длинные тени... больше ничего.

— Зорин! — закричал я так, что у меня зазвенело в ушах.

— Иду, иду, — ответил он тем же сдавленным голосом.

Вдруг песок в одном месте вздрогнул, зашевелился, серебристая фигура вынырнула из него, выпрямилась и медленно двинулась вперед. «Он упал, — подумал я. — С кем он говорил?»

Решив задать этот вопрос после, я вернулся внутрь шлюза. Вдруг в наушниках послышался голос Зорина:

— Я дошел.

Он бормотал что-то, видимо копаясь в песке, засыпавшем вход в ангар.

— Начинаю действовать, — минуту спустя сказал он.

Работа затянулась дольше, чем я предполагал: полчаса по секундомеру, а если судить по напряжению моих нервов — целую вечность. Наконец он сказал:

— Кончено. Теперь они будут послушны, как кролики. Возвращаюсь.

Мне показалось, что вспышки участились, — впрочем, может быть, только показалось. Несколько раз под ногами вздрогнула почва. Эта дрожь, на которую мы в камере уже не обращали внимания, заставила мое сердце учащенно забиться. Зорин возвращался удивительно медленно, но в наушниках слышалось тяжелое дыхание, словно он бежал. Терпя терпение, я несколько раз в волнении выходил за дверь. Белый диск солнца А Центавра приближался к скалистому горизонту. Ночь подходила к концу. Вскоре метеоритный дождь должен был усилиться.

— Что ты медлишь? — закричал я наконец.

Он ничего не ответил, но дышал по-прежнему тяжело. Я не мог понять почему — ходьба не могла так измотать его.

Вдруг он появился в двери и поспешно, но как-то неуверенно вошел в шлюз. Закрыв за собой дверь, сказал:

— Войди внутрь.

— Я подожду... — начал я.

Он резко оборвал меня:

— Войди внутрь! Я сейчас приду.

Я подчинился. Сняв скафандр в шлюзе, он через минуту вошел в кабину. Медленно подошел к столу, над которым висела лампа, поднял руки к глазам, растопырил пальцы и что-то пробормотал. Его широкая спина была как-то неестественно согнута.

— Что с тобой?.. — прошептал я.

Он оперся о ручку кресла и глухо ответил:

— Плохо вижу.

— Почему? Метеорит?

— Нет. Я упал.

— И что?

— Споткнулся о тот разбитый автомат...

— Говори же!

— Кажется, у него контейнер... понимаешь... атомное сердце было расплющено.

— И ты упал на него? — в ужасе закричал я.

Он кивнул.

— Присоски, понимаешь... магнитные присоски сапог приросли к металлу, я никак не мог освободиться...

Ко мне возвращалось спокойствие. Ум был охвачен страшным холодом, но в голове стало яснее. Я знал: надо действовать немедленно.

Метеорит ударил в автомат с такой точностью, что разбил его атомное сердце, и Зорин, споткнувшись, упал всем телом на обломки, излучающие мощную радиацию.

— Что ты чувствуешь? — Я шагнул к нему.

— Не подходи... — сказал он, отступив на шаг.

— Зорин!

— Я могу убить тебя. Надень защитный панцирь.

Я бросился во вторую кабину и надел тяжелый металлический костюм. Застегнуть его на груди не смог: тряслись руки. Когда я вернулся, Зорин полулежал в кресле.

— Что ты чувствуешь? — повторил я.

— Собственно, ничего... — Он говорил, как крайне усталый человек, делая небольшие паузы. — Когда я упал, сразу... увидел фиолетовый туман, пульсирующее облако... помутилось в глазах... Там, у автоматов, я действовал почти вслепую...

— А меня ты видишь? — спросил я, приближаясь к нему.

— Как в тумане...

Я понимал, что это значит. Жидкость, наполняющая глазные яблоки, под влиянием радиации стала флюоресцировать. На столе, в двух метрах лежал индикатор излучения; он предостерегающе вспыхивал: все тело Зорина было радиоактивным. Он получил страшную дозу облучения.

— У тебя что-нибудь болит?

— Нет, только слабость... и тошнота...

Я взял его за плечи.

— Иди ложись.

Он тяжело оперся на меня и двинулся к кровати. Уложив его и накрыв одеялом, я стал рыться в наборе лекарств. Вдруг он пробормотал:

— Глупо...

Когда немного погодя я подошел к нему, он начал говорить о каких-то сигналах, автоматах и о «Гее»; я пощупал пульс — у него была высокая температура. Я, глупец, подумал, что он бредит, и не обратил внимания на его слова. Вскоре он совсем потерял сознание. Я потратил несколько часов, тщательно исследуя его. Анализы показали, что пораженный костный мозг перестал вырабатывать красные

кровавые шарики. У меня было шесть ампул консервированной крови, я сделал ему переливание, но это было каплей в море.

Поглощенный мыслями о том, как спасти товарища, я совсем забыл о разговоре с «Геей». Я рылся в учебниках, ища спасения от лучевой болезни. Чем больше я читал, тем яснее становилось, что Зорин обречен. Перед самым рассветом, склонившись перед трионовым экраном, я забылся.

Проснулся от невыносимого железного грохота: метеориты рвались на крыше бронекамеры. Было совсем светло. Зорин лежал без сознания. Я сидел около него до вечера. Затем отправился наверх. Прием был так плох, что я улавливал только бессвязные обрывки голосов. «Ничего, — подумал я, — вызову автоматы, они придут и починят антенну».

Подойдя к пульту управления, я понял, что автоматы не придут: их можно было вызвать лишь по радио, а оно не действовало. Надо было вызвать их накануне, как только вернулся Зорин; тогда еще передатчик с грехом пополам работал. В суматохе я забыл обо всем. В первое мгновение у меня подкосились ноги, но, овладев собой, я направился в шлюз. Когда проходил через комнату, Зорин окликнул меня: он пришел в сознание.

— Поговорил?.. — спросил он. — Какие новости?

Я не мог сказать ему правду. В конце концов, завтра радио будет налажено. По уловленным обрывкам, восполняя пробелы догадками, я рассказал ему, что услышал. Зорин сразу уснул, и я тихо проскользнул в шлюз.

Я уже надел скафандр, опустил шлем и положил руку на запор, как вдруг меня поразила мысль: а что будет, если я погибну? Зорин останется один, беспомощный, недвижимый и слепой.

Я постоял с минуту как вкопанный, потом тихо снял скафандр и вернулся в кабину. На следующий день тоже никуда не пошел. А на третий радио умолкло совсем, и мне пришлось целиком выдумать разговор с «Геей».

Это продолжалось с тех пор каждый вечер. Я вынужден был так поступать потому, что он засыпал лишь после разговора со мной. Когда я спросил, почему он не вернулся сразу, как только это произошло, он ответил:

— А ты бы вернулся? — и посмотрел так, что я понял все.

Он знал с первого мгновения, что надежды нет, и сказал себе: «Дважды не умирают». И, ничего не видя, ошупью выключил предохранители автоматов. Он не хотел, чтобы я да-

вал ему свою кровь, но я тайком брал ее у себя и говорил, что привез запас крови. Четыре дня я переливал ему кровь и наконец сам стал едва держаться на ногах. Я боялся упасть в обморок, принимал без меры всякие возбуждающие средства, которые были под рукой, и минутами ловил себя на том, что, впадая от усталости и бессонницы в полубессознательное состояние, умолял свой костный мозг быстрее вырабатывать кровь...

Каждый раз, поднимаясь от него, я думал, что не смогу больше обманывать умирающего. Это невыносимо, думал я, сегодня скажу ему, что антенна разрушена, и, однако, внизу, видя, как он поворачивает невидящие глаза, прислушиваясь к моим шагам, как страстно ждет моего прихода, как дрожит его недавно такое сильное и ловкое тело, не мог решиться сказать правду и к прежней лжи прибавлял новую.

Восемь вечеров подряд я рассказывал ему, как «Гея» приближается к планете, как навстречу ей вылетели большие корабли странной формы, как неизвестныс существа договорились с нашими товарищами благодаря автоматам-переводчикам. Я рассказывал это, а метеоритный поток усиливался, словно бездна обрушила на нас все скрытые в Космосе мертвые реки железа и камня. Стены, все предметы и наши тела пронизывала дрожь. А я под это содрогание рассказывал Зорину о высокой культуре неизвестных существ, о том, какое потрясение они испытали, когда, исследовав обломки уничтоженных ракет «Геи», поняли свою ошибку.

Зорина теперь не лихорадило — его организм был слишком ослаблен. Я знал, что спасти его невозможно. Он должен был умереть спустя два дня после случившегося с ним, но продолжал жить, и я не знаю, что больше поддерживало его — моя кровь или моя ложь. Пожалуй, последнее: он так менялся, когда я брал его за руку и начинал рассказывать. Я чувствовал, как наполняется и крепнет его пульс, как вздрагивают мускулы большого тела и как с последним моим словом они вновь коченеют.

На седьмой вечер Зорин мог лишь пить. Я готовил на плитке питательный бульон. Вдруг меня поразила мысль: после того как он умрет, я смогу выйти и починить антенну...

Я вздрогнул, словно человек, лежавший за моей спиной, мог видеть меня насквозь и прочесть эту мысль. Неимоверным усилием воли попытался загнать ее во мрак, из которого она выползла, но, несмотря на все усилия, она непрестанно шевелилась во мне, что бы я ни делал.

Я подал Зорину приготовленный бульон. Он спросил, по-

чему я задерживаюсь около него; тогда я отправился наверх и склонился над мертвой аппаратурой, время от времени проверяя, плотно ли закрыта дверь. Просидев двадцать страшных минут, сошел вниз и начал рассказывать очередную историю о неизвестных существах, об их великолепной культуре, о том, что в будущем не наша маленькая станция, а мощный локатор белой планеты будет вести ракеты в трансгалактических перелетах с Земли к Магеллановым Облакам.

Вечером восьмых суток почва стала содрогаться реже. Мы выходили из потока метеоритов. Через час после захода солнца наступила полная тишина. Несмотря на это, я не мог выйти из камеры, так тяжело было состояние Зорина. Он лежал с закрытыми глазами и каменным лицом и больше ни о чем не спрашивал. Время от времени я осторожно брал его за руку. Его большое сердце все еще боролось. Поздно ночью он вдруг сказал:

— Сказки... помнишь?

— Помню.

— Дети не хотели... печальных, и я приделывал к ним веселые... концы...

Я вздрогнул и замер. Что он хотел сказать?

Дыхание неправильными толчками поднимало его широкую, мощную грудь.

Вдруг он прошептал:

— Лодки... такие лодки...

— Ты что говоришь? — Я наклонился к нему.

— Из бересты... Я вырезал... когда был маленьким... дай... я вырежу...

— Тут... тут нет бересты.

— Да... но ветки... сирень... дай...

Я бросился к столу. Там в стеклянной колбе стоял пучок сухих веток. Когда я вернулся, Зорин был мертв.

Я накрыл его лицо, вышел в шлюз, надел скафандр, взял инструменты и пошел к ангару автоматов. Вместе с ними три часа закладывал новые сегменты в рефлектор антенны, выпрямлял мачту, сваривал ее, натягивал канаты. Все это делалось словно в каком-то странном сне. Это был сон — слишком реальный, пронзительно реальный, но все-таки сон, потому что в глубине сознания я был убежден, что, если очень сильно захотеть, я проснусь.

Вернувшись, я пошел наверх, на радиостанцию, и включил ток. В динамиках послышался глухой шум.

Вдруг небольшую кабину наполнила громкая речь — сильный, чистый голос:

— ...и передадим четырежды координаты. Завтра утром в шесть часов по корабельному времени «Гея» берет курс к вам и прибудет к астероиду через двенадцать дней. Мы очень обеспокоены вашим молчанием. Будем вызывать вас круглые сутки. Говорит Ирьюла с борта «Геи» на шестой день после установления связи с белой планетой. А сейчас будет говорить Анна Руис.

Я слышал только слова, предшествующие последней фразе, — они взбудоражили мою кровь. Динамик щелкнул и на мгновение умолк. Я вскочил, рванул дверь и сбежал вниз с отчаянным криком:

— Я не лгал, Зорин! Я не лгал! Это все правда! Это правда!

Сжал огромное тело и стал трясти его. Светлые волосы Зорина метались по подушке...

Я опустил бездыханное тело, упал ничком и зарыдал. Что-то стучалось в мое сознание, звало, просило, умоляло... Я очнулся. Это была Анна. Голос Анны.

Я хотел бежать наверх, но не смел оставить Зорина одного. Медленно пятился к лестнице, продолжая смотреть в его застывшее лицо. Лишь когда Анна назвала меня по имени, я отвернулся от него. Ее голос был все ближе. Поднимаясь по лестнице, я взглянул вверх и в открытом иллюминаторе увидел Южный Крест, а дальше — бледное пятно: там сияли холодным ровным светом Магеллановы Облака.

Роман «МАГЕЛЛАНОВО ОБЛАКО» впервые опубликован в журнале «Przekrój» (1953—1954). Отдельное издание: Lem S. *Obłok Magellana*. Warszawa: Iskry.

Первая публикация на русском языке (отрывок, под загл.: «Облако Магеллана. Год 3016») в журнале «Польша», 1958, № 2. Отдельное издание в сокр. переводе Л.Яковлева: М.: Детгиз, 1960 (Библиотека приключений и научной фантастики).

В настоящем издании впервые печатается полностью.

К.Д.

СОДЕРЖАНИЕ

МАГЕЛЛАНОВО ОБЛАКО. <i>Роман.</i> <i>Перевод Л.И.Яковлева, Т.П.Агапкиной</i>	5
Библиографическая справка. <i>К.Д.</i>	348

Лем С.

Л44 Магелланово облако: Роман. Собр. соч. Т.11
(дополнительный). — М.: Текст, 1995. — 349 с.

ISBN 5-7516-0039-8

Л 4703010100-042 95 подп.

84.4П

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Т. 11 (дополнительный)

Редактор *В.В.Петров*
Художественный редактор *В.С.Любаров*
Технический редактор *А.Р.Кашафутдинова*
Корректоры *Т.В.Калинина, Н.М.Пущина*

Лицензия № 063402 от 26.05.94
Подписано в печать 17.10.95. Формат 84x108/32.
Усл.печ.л. 18,48. Уч.-изд.л. 19,76.
Тираж 20 000 экз. Изд. № 168.
Заказ № 6386.

Издательство «Текст»
125190, Москва, А-190, а/я 89

Книжная фабрика № 1 Комитета РФ по печати.
144003, г. Электросталь Московской обл.,
ул. Тевосяна, 25

STANISLAW LEM

